

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

5 '89





М. РОЙТЕР. Весна. Акварель.

Смотрите третью страницу нашей обложки.

ЮНОСТЬ

5 (408)

'89



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Анатолий АЛЕКСИН

Владимир АМЛИНСКИЙ

Борис ВАСИЛЬЕВ

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ

Натан ЗЛОТНИКОВ

Фазиль ИСКАНДЕР

Римма КАЗАКОВА

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Виктор ЛИПАТОВ

(заместитель главного редактора)

Игорь ОБРОСОВ

Мария ОЗЕРОВА

Юрий ПОЛЯКОВ

Виктор РОЗОВ

Юрий САДОВНИКОВ

(ответственный секретарь)

Александр СЕРЕБРОВ

Евгений СИДОРОВ

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

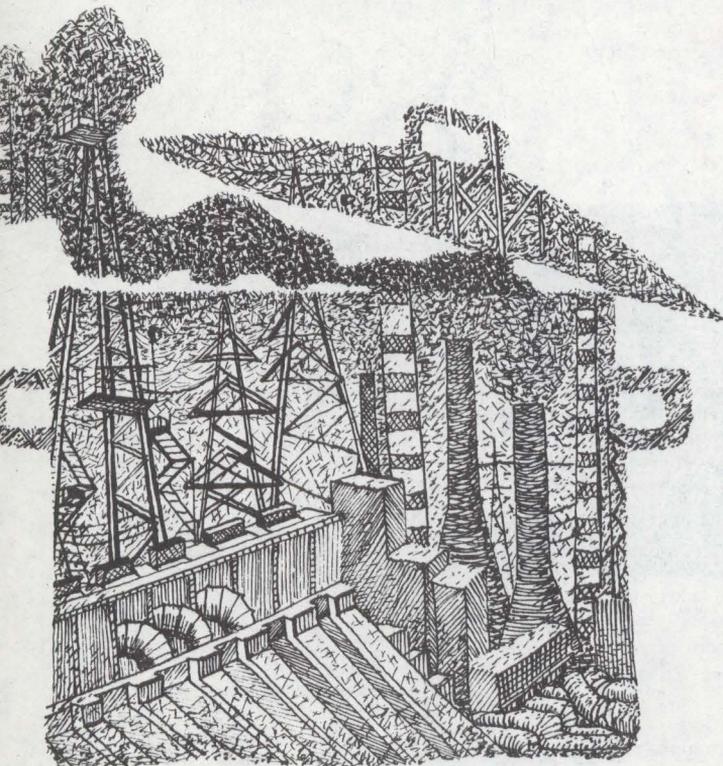
Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва

Иван КУНИЦЫН,
Алексей НИКОЛАЕВ

ВО СЛАВУ ЧЕГО ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ?

«Глупому не страшно и с ума сойти».

В. Даль. Пословицы русского народа



Всесоюзная независимая экологическая комплексная экспедиция «Юности» завершила свою работу в Красноярском крае. В этом регионе ее участниками были:

Виктор АСТАФЬЕВ — писатель;

Юрий БЕНДЕРСКИЙ — заведующий отделом Института экономики СО АН СССР, кандидат экономических наук;

Александр БОЛСУНОВСКИЙ — председатель Совета молодых ученых Красноярского крайкома ВЛКСМ, кандидат физико-математических наук;

Дмитрий ВЛАДЫШЕВСКИЙ — ведущий научный сотрудник Института леса и древесины СО АН СССР, доктор биологических наук, профессор;

Сергей ЗАДЕРЕЕВ — ответственный секретарь альманаха «Енисей» Красноярской писательской организации;

Виталий ЗНАМЕНСКИЙ — научный консультант Енисейского бассейнового территориального управления по регулированию, использованию и охране вод, заслуженный мелиоратор РСФСР;

Алитет НЕМТУШКИН — писатель;

Владимир КУЗНЕЦОВ — режиссер Красноярского творческого объединения Свердловской киностудии;

Сергей КУРКАТОВ — главный санитарный врач Красноярского края;

Всеволод МАРЬЯН — редактор отдела науки журнала «Юность», руководитель экспедиции;

Отец Сергей ТИМОНОВ — благочинный церковью Красноярского края, протоиерей;

Отец Геннадий ФАСТ — настоятель Успенской церкви г. Енисейска, протоиерей.

— Ну что же, если вам так хочется испортить себе настроение, тогда поехали, — сказал нам завбюро пропаганды художественной литературы Красноярской писательской организации Павел Полуян. Он без особого желания согласился сопровождать нас в поездке по наиболее экологически неблагополучным районам города. — Только Нахаловку оставим под конец. Меня предупредили, что туда на черной «Волге» лучше не соваться. Пока успеете объяснить, что вы журналисты из Москвы, уже может конфликт произойти. Там чуть не на каждый квадратный метр прописано по человеку. А хибарки-то лепились из чего попало еще во время войны. Скученность, антисанитария, грязь на улицах. А вокруг заводы дымят. И так — всю жизнь, никаких перспектив. Как не озлобиться? Их детей в школы других районов не хотят принимать. Говорят: больные и хулиганы, зачем они нам?

В справедливости его слов нам еще предстояло убедиться. А пока решили начать с другого поселка, носящего не очень-то жилое название — Индустриальный.

Насчет настроения Павел оказался прав. «Обычным» красноярским воздухом, который в этот безветренный день можно было, казалось, нарезать сизыми кусками и распахивать по карманам, мы надышались уже в жилом районе «Зеленая роща». Миновали его по проспекту, широкому, прямому и длинному, но не просматривающемуся и на несколько сот метров вперед. Однообразные серые блочные дома, и, кроме названия, ничего зеленого. На проспект этот, как в полноводную реку, стекались из притоков-улочек разнообразных, но отнюдь не по-парфюмерному пахнущие выбросы близлежащих заводов. Вспомнились слова главного санитарного врача одного небольшого, но очень промышленного города. Он не без профессиональной гордости, но как-то грустно делился своими секретами: «Я утром открою форточку, потяну носом и по запахам уже определяю, какой завод сегодня больше других «шалит», во сколько раз превысил предельно допустимые концентрации вредных веществ».

Третья часть жителей Красноярска живет в так называемых защитных зонах предприятий, то есть в местах, где по всем санитарным нормам селить людей недопустимо. Однако «Зеленую рощу» можно все-таки отнести к относительно благополучному месту обитания по сравнению с тем, что ждало нас впереди.

Как муравей в только что отбушевавшем пожаре лесу, ползла в дыму наша машина вдоль Красноярского алюминиевого завода (КРАЗа). Лес угарно чадающих труб.

— Сколько же их здесь?! — сказал наш водитель, кивнув на серо-буро-желтоватые лениво колышущиеся султаны. И угрюмо пошутил: — Десятка три, по-моему, даже лишних.

Показалось, что через жерла множества разнокалиберных труб какая-то безумная сила, как через мясорубку, выдавливала в небо протухший фарш. Запах фтора мы теперь ни с чем не спутаем. Бледное пятно в мгlistой вышине подсказывало, что за пределами города сегодня солнечный день.

Заводской воздух просачивался через щели закрытых окон и дверей внутрь автомобиля и сгущался в ядовитую атмосферу.

— И что наши кинематографисты тратят столько средств на создание природы для фантастических фильмов? Сюда их надо. Хочешь — конец света снимай, хочешь — «зону» для «Сталкера» или газовую камеру...

Рисунок Ирины Шитовской

— Поставь вон там пару чучел динозавров и древовидный хвощ, птеродактиля и подвешивать не надо, просто положи на воздух, и пожалуйста — Земля в парниковый период...

— А сейчас за угол последнего цеха свернем, — обещает Павел, — и увидите декорацию поселка в прифронтальной зоне: дым, воронки, пустота, потрескавшиеся дома, склеенные стекла...

Вот он, в пятистах метрах от последнего цеха КРАЗа, укрытый всеми дымами завода поселок Индустриальный. В этих «военных декорациях» живут люди. 1039 семей, около четырех тысяч человек.

Прохожих мало. Но, увидев в наших руках блокноты, люди подходят сами.

Иван Матвеевич Орехов живет в поселке со времени его основания в 1955 году. Сначала здесь строились только бараки, с 1962 года — двухэтажные дома. Было обещано, что люди проживут тут только 10 лет, пока не будет построен и пущен на полную мощность завод. КРАЗ уже изнашивается, а во «временном» Индустриальном все еще живут.

— Все разваливается... Зимой надо спать под двумя-тремя одеялами. Трубы лопаются. В квартире бывает до 20 градусов холода. Дети болеют. Всего один магазин. Нет бани. Голова и грудь болят постоянно...

— Помогите нам выбраться отсюда! — Валентина Павловна Иконникова, тоже старожил поселка, волнуется так, что с трудом говорит, берет то одного, то другого из нас за руки, смотрит с мольбой и надеждой. — Мы задыхаемся! Все, кто тут живет хоть несколько лет, тяжело больны. Моему мужу сорок лет, а ему уже отказывают ноги, работать не может. Полиартрит! И у меня, и у детей. В соседних деревнях Коркино и Песчанка вы не увидите скота. Коровы падали и уже не могли подняться на подломившиеся ноги. Это фтор! Он накапливается в организме. Посмотрите на наши окна и на стекла в цехах. Ставят прозрачные, а через два года они уже коричневые, свет не проникает, потом они вдруг трескаются и осыпаются. Дети больны постоянно. Один наш парень в 18 лет ушел в армию, так у него не было ни одного зуба: все выпали. У некоторых детей зубы никак не могут вырасти — появляются и крошатся. А сколько раковых и кожных заболеваний...

— Вокруг нас колхозные поля, — Людмила Борисовна Большакова обводит рукой сизую мглу за домами. — Представляете, что там вырастает? Бросает капусту в щи, а она желтеет, есть невозможно: тянется. А какая вода у нас? Ржавая, песок из крана сыплется. В прошлом году закрыли детский сад. Обнаружили дизентерийную палочку. Санэпидстанция открывать его запрещала. Таскали детей с собой на работу. Так ведь такая же вода и в домах. За детьми разве уследишь? Пили сырую воду. В поселке сейчас 700 детей. Разве они могут вырасти здоровыми?

Женщины принесли пухлую папку, где лежали их запросы, ответы им, отписки и невыполненные обещания, а точнее — равнодушие и обман. Дважды ходки уже были в Москве. Удалось выяснить, что КРАЗу с 1970 по 1984 год Минцветметом было выделено 24,5 миллиона рублей на переселение Индустриального. Куда делись эти деньги, если смогли дать жильё только тем, кто промучился десятки лет в деревянных бараках? Гигантский завод разрастается, а жители Индустриального, которым «посчастливилось» в свое время поселиться в кирпичные двухэтажки, так, видимо, и задохнутся на своих квадратных метрах: очередников и в других районах много. Кстати, в этой папке есть документы, подтверждающие, что даже из тех немногочисленных квартир, которые выделены были жителям поселка в новых домах города, некоторые ушли «налево» неизвестно кому.

Люди из Индустриального борются за выживание в буквальном смысле (49 лет — средняя продолжительность жизни мужчин, разве это не экологический и социальный коллапс?). Но почему в одиночку? Или густые испарения КРАЗа навечно уже скрыли эту язву от глаз городского и краевого начальства?

Скрипит, перенапрягается, пробуксовывает, но никак не может сбавить обороты изношенный механизм нашей устаревшей, больной экономики. Цель производства — тонны, кубометры, единицы с множеством нулей. Нули ради нулей... К ним обращены взоры наших министерств, а не к человеческим жизням и судьбам, которые затягиваются в эти победные показатели, как в «черные дыры», и исчезают в них, не нарушая их стройного ряда.

Сергей Куркатов — главный санитарный врач Красноярского края. В отличие от некоторых своих коллег из других регионов, где проводила работу экспедиция «Юности», он не

пытается убедить нас в том, что «несмотря на отдельные недостатки, в целом положение нормальное».

Проблем — очень тяжелых — множество. Не хватает научных разработок, методик, штатов, оборудования, а главное — реальных прав. Не существует еще в нашей стране эффективного механизма, противостоящего промышленному тоталитаризму, способного ошутимо образумить хозяйственников, губящих природу и людей. Да что там говорить — даже санитарного законодательства до сих пор нет.

Корр.: Сергей, часто ли возникает, по мнению СЭС, необходимость остановить какое-либо крупное грязное и опасное для здоровья людей производство?

Куркатов: Конечно.

Корр.: А удавалось?

Куркатов: Нет, крупных заводов, насколько помню, мы не останавливали.

Корр.: Вот в прошлом году на КРАЗ и еще ряд заводов в прокуратуре края заводились следственные дела, связанные с нарушением природоохранных и санитарных норм. Чем это кончилось?

Куркатов: Ну чем обычно эти дела заканчиваются? Посылают в адрес СЭС извещение о том, что министерству или заводу сделано официальное предупреждение о недопустимости подобных действий.

Корр.: И все?

Куркатов: Можем еще оштрафовать директора.

Корр.: На 10 рублей?

Куркатов: По последнему постановлению — на 20...

Кого можно вразумить таким штрафом? Нелепость подобного воздействия на совесть руководителей предприятий санитарные врачи нередко разнообразят юмором — выписывают штраф в... 1—3 рубля. Просто чтобы позлить нерадивого, а чаще в общем-то и невиноватого (из-за полной зависимости от вынуждающего его к нарушениям министерства) хозяйственника: тебе на штраф наплевать, но ты изволь все-таки сходить в бухгалтерию, распишись, получи квитанцию на рубль и вышли ее нам. И ведь из таких крох ежегодно по краю собирается и передается в бюджет до 6 тысяч рублей. Это сколько же раз надо «принять меры», чтобы получилась столь «значительная» сумма? Одни штрафуют, другие платят, а результат от этих игр только один: ситуация становится все более критической.

— Я считаю, — без особого оптимизма говорит Сергей, — что нужно не только усиливать контроль, но в первую очередь добиваться реализации существующих предложений и запланированных мероприятий по охране природы и здоровья населения. В прошлой пятилетке был достигнут «прогресс» в этом деле. Планы таких мероприятий выполнены аж на 43—50 процентов, а они ведь переключаются из одного плана в другой, устаревают, теряют эффективность. Невыполнение природоохранных мер становится привычным и безопасным для руководителей. Даже те отнюдь не достаточные средства, которые выделяются предприятиям на эти цели, осваиваются в нашем крае на 60—70 процентов, а часто и меньше.

И это при том, что концентрации вредных веществ в стоках только алюминиевого и металлургического заводов превышают допустимые нормы в **150 раз!** Степень очистки воздушных выбросов в Красноярске всего 18 процентов! По краю из 16 тысяч источников загрязнения воздуха улавливающими установками (отнюдь не эффективными) оснащены лишь 9 тысяч! Из почти миллиарда кубометров промышленных и ливневых стоков, «даруемых» ежегодно Енисею, только одну пятую часть можно признать чистой!

Стоит ли удивляться, что в крае неуклонно растет заболеваемость верхних дыхательных путей, бронхиальной астмой, аллергиями, нарушениями сердечно-сосудистой системы! Цирроз печени обнаруживается даже у таежных животных. Сток воды из водохранилищ суперГЭС приводит зимой к образованию гигантских — до 130 километров — незамерзающих полыней. Красноярск стоит на такой полынье, всю зиму укутанный влажными испарениями, с обледеневшими мостами и прибрежными зданиями. А летом сбросная вода, наоборот, не прогревается. Все это «подарило» населению так называемые климатозависимые болезни. Десятикратные превышения в воде и в воздухе допустимых концентраций страшного канцерогена — бензопирена уже на треть, по сравнению с общесоюзным уровнем, увеличили количество раковых заболеваний.

— Влияние канцерогенов здесь еще не изучено, — разво-

дит руками главный санитарный врач края.— Практически СЭС с ними не работает. В этом году обещали разработать и прислать методику выявления последствий поражения ими воды, воздуха и человеческого организма. Но пока мало уверенности, что мы сможем запустить лабораторию по исследованию канцерогенов. Для этого необходимо специфическое оборудование, которого у нас нет, такие работы очень трудоемки.

Итак, научная мысль всех развитых стран мира бьется над снижением количества случаев онкологических заболеваний, коль скоро нет еще надежных методов лечения рака. А в крас, на фоне полной безоружности по части оборудования и научных разработок, идет безнаказанное накачивание природной среды и организмов канцерогенами.

Что значит «предельно допустимая концентрация» (ПДК) — объяснить современному читателю, надеюсь, не надо. Можно спорить, насколько реалистично ведомства определяют предельное количество тех или иных вредных веществ в стоках и выбросах, но ясно одно: за установленной гранью — болезни и смерть.

А теперь обратимся к исследованию, проведенному в Красноярском крае НИИ онкологии Томского научного центра АМН СССР.

Кратность превышения ПДК бензопирена: в стоках машиностроительного завода Красноярск — 22 раза; Бородинского угольного разреза в г. Ирша — 20 раз; Назаровского угольного разреза — 13 раз; пруда-отстойника КРАЗа и металлургического завода — 150 раз; шинного завода — 18 раз; в воде р. Енисей ниже Красноярск — 30 раз... Несколько страниц таких страшных цифр! А что стоит, например, за этими данными: «Стоки электростанции машиностроительного завода с содержанием бензопирена на уровне 21 ПДК сбрасываются в Енисей в том месте, где осуществляется водозабор для... водоснабжения города». Красноярцы пьют водичку с 10 ПДК посланцев рака, а жители Сосновоборска — с 30 ПДК.

И еще: «Наличие канцерогенов требует использования нестандартных методов очистки путем озонирования воды». А вот на это, простите, денег нет. Многомиллиардные «проекты века» финансировать можем, а раскошелиться на здоровье — жалковато, как на пустяковое дело.

Мир напуган планетарным разгулом СПИДа, передающегося половым путем. Но почему же мы до сих пор стыдливо умалчиваем о промышленном СПИДе, поразившем в нашей стране не несколько десятков человек, а миллионы?

Куркатов: Мы читали о публикациях (думаем, это не оговорка.— Ред.) исследований по снижению иммунного статуса людей в результате промышленных загрязнений. Но в Красноярском крае подобные работы еще не проводились. Недавно только мы получили методику из Минздрава...

От себя сообщим читателям, что даже небольшое исследование влияния на людей смога в перенасыщенных предприятиями городах установило, что он отнимает до 60 процентов необходимых для жизнедеятельности организма ультрафиолетовых солнечных лучей. Один такой фактор уже наносит сокрушительный удар по иммунитету. Но смог — это всего лишь «крышка», накрывающая город, как кастрюлю. Надеюсь, что из объективных исследований скоро узнаем, в чем же мы на самом деле под ней варимся.

Пока же по-прежнему остается уповать на то, что фундаментальная наука наконец повернется лицом к человеку, выдаст разработки принципиально новых технологий, охранит наше здоровье или хотя бы научит лечиться. Что ведомственная наука начнет служить истине, а не начальству, откажется от обоснования заведомо гибельных решений, будет, наконец, проводить экспертизы не утвержденных уже, оплаченных и реализуемых проектов, а идеи. Лишь после всеобъемлющей научной экспертизы именно идеи должна наступать стадия проектирования. Только в том случае, если наука докажет не сиюминутную выгоду того или иного замысла, а его высокую долгосрочную эффективность при полной безопасности для природы и для нас с вами. В данном случае от перестановки мест слагаемых — сначала не проект, а экспертиза идеи — сумма изменится в корне: она перестанет быть со знаком минус.

Но все это пока прогнозы и надежды на будущее. А реальность — вот она, в пугающей близости. Из «Предложений по неотложным мероприятиям...» начальника штаба гражданской обороны Красноярского края: «В крае имеется более пятидесяти химически опасных объектов, где используется в производстве и хранится 60 тысяч тонн сильнодействующих

ядовитых веществ... Из-за отсутствия базисных складов 872 тонны хлора сосредоточено на водозаборных и очистных сооружениях, что во много раз превышает потребность в нем... Имели место производственные аварии на химических опасных объектах с выбросами ядовитых веществ. Основной причиной этому являются устаревшие технологические процессы и изношенное оборудование... В зонах возможного поражения сильнодействующими ядовитыми веществами проживает 1,8 миллиона человек, или 51 процент населения края».

Такая вот информация для красноярцев и для всех нас. Вот только как узнать, в какие проценты каждый из нас попадает: возможно поразимых или нет?

А что же контролирующие органы, как и чем они-то сегодня озабочены?

Енисейское Бассейновое территориальное управление по регулированию, использованию и охране вод имеет большой опыт борьбы с предприятиями промышленных министерств. Кроме одного, которому подчиняется,— Минводхоза, печально известного лидера авантюрного, разрушительного расточительства.

Контроль Енисейского управления оснащен, может быть, лучше, чем какого-либо другого подобного по стране. Здесь энтузиастами создана автоматизированная система, кстати, до сих пор не получившая признания в Минводхозе, несмотря на то, что была награждена двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями на ВДНХ.

Автор ее больше двадцати лет проработал в Бассейновом управлении, был его начальником. Много «шишек» получил от своего министерства Виталий Александрович Знаменский, но так и остался борцом за чистоту Енисея и его притоков.

Знаменский: С помощью нашей автоматизированной системы контроля удалось высчитать реальный ущерб, наносимый предприятиями края водным ресурсам. Получилось 250 миллионов рублей в год. (По подсчетам красноярских ученых общий ущерб от всех видов загрязнений составляет в городе по меньшей мере 900 миллионов рублей ежегодно.) Эта цифра дает возможность оценить размеры капиталовложений, необходимых для того, чтобы довести сбросы вредных веществ в воду до установленных норм. Примерно миллиард рублей. Учитывая, что за пятилетку для реализации мероприятий по охране вод удастся осваивать лишь 250 миллионов, значит, для того, чтобы привести все эти загрязнения в соответствие с требованиями, понадобится двадцать лет.

Корр.: Но ведь мы не можем ждать столько. Кроме того, надо учитывать износ оборудования, что увеличивает количество вредных сбросов, да и строительство новых запланированных мощностей, которые добавят загрязнений.

Знаменский: Правильно. Значит, речь должна идти об ориентации не на очистку сточных вод, а на то, чтобы стоков вообще не образовывалось. И все расчеты показывают, что переход на ресурсосберегающие технологии оказывается значительно дешевле, чем строительство очистных. Но по старинке предпочитают вкладывать деньги в очистные сооружения, затягивать их строительство, заранее предусматривать в сметах отчисления на возмещение ущерба. Все это тормозит развитие прогрессивных технологий.

Корр.: То есть по-прежнему министерствам и предприятиям проще платить штрафы, перекладывая таким образом деньги из одного государственного кармана в другой, чем сохранять природную среду?

Знаменский: Конечно, ведь они платят не за счет сокращения собственных потребностей, а за счет общества.

Корр.: Что же необходимо сделать, чтобы стало невыгодно губить природу?

Знаменский: Единственное рациональное решение — увеличить плату за ресурсы. Сейчас все предприятия края, осуществляющие забор воды, платят за нее около 6 миллионов рублей (при 250 миллионах наносимого ущерба). Мизерная доля. Значит, надо ввести плату в таком размере, чтобы неоправданное, расточительное потребление стало невыгодным. Кроме того, как известно, предприятия сбрасывают такие сверхвысокие концентрации отравляющих веществ, что на их разбавление до приемлемого уровня требуется подчас весь запас реки. Эти миллионы кубометров воды, ушедшие на разбавление стоков, также должны быть оплачены предприятиями, как использованные. Только в таком случае перерасходовать воду и отравлять ее станет невыгодно.

Появился у нас в Красноярске первый положительный пример разумного водопользования — объединение «Химво-

локну». Раньше оно было одним из основных загрязнителей. Сколько мы с ним боролись... А потом руководство смогло добиться в общем-то элементарного: соблюдения технологии и производственной дисциплины.

Сброс у них стал минимальным и чистым, объединение вышло на первое место в стране по наименьшему расходу сырья на единицу продукции. И ведь это им не стоило ни копейки. Вот какая экономия от правильной организации труда и стимулирования соблюдения технологии!

Утверждаю, что треть отравляющих веществ, поступающих в реки края от 200 предприятий-загрязнителей, — результат нашей расхлябанности и безнаказанности, неумения и нежелания работать. А что такое треть? Это 80 миллионов рублей ежегодно причиняемого ущерба.

Корр.: Часто ли министерствам удается ввести в эксплуатацию объекты без очистных сооружений, несмотря на отказ Бассейнового управления ставить подпись под актом приемки?

Знаменский: Бывает и такое. Маргаринский завод, золотвал в Абакане, аэропорт в Красноярске... — Виталий Александрович вздыхает и приглашает свои седые волосы. — Они ведь умуздываются и через нашу голову действовать, давят, обманывают, ставят перед свершившимся фактом. Любуй ценой... Умеют демагогию применять — все план, план, сроки... Как правило, местные Советы очень редко настаивают на вводе в строй незаконченных объектов, потому что им же потом их эксплуатировать. Другое дело партийные органы: им отчитываться. Отчаянную борьбу приходится иногда выдерживать...

Бывал ли кто-нибудь из наших читателей на Ниагарском водопаде? Членам экспедиции «Юности», к сожалению, не довелось. Зато нам представилась возможность посмотреть на два Ниагарских водопада, соединенных вместе, но... рукотворных. Примерно такие эпитеты использовали в свое время газеты, журналы, радио и телевидение, рекламируя масштабы Красноярской ГЭС.

Только ведь Природа играючи сотворила исполинские преграды на некоторых своих реках, ничуть не повредив себе. Такие водопады оглушают, потрясают, заставляют почувствовать нашу мизерность и беззащитность перед невиданной мощью Матери-Природы, но и одаривают удивительной красотой, рождают ощущение гармонии. Сталкиваются в грохоте природные начала: вода, земля, небо, растительность, а будто ласкают друг друга. Красота не бывает бесполезной.

Работник Красноярской ГЭС, сопровождавший по плотине, стремясь вдохновить нас ощущением необузданной мощи человеческой цивилизации, с привычным восторгом возведя руки к бетонному чудовищу, убеждал: «Красота-то какая...» Что ж, о вкусах не спорим. Но вот о том, что эта, как и другие гигантские ГЭС, не только бесполезна, но и крайне вредна для природы и для нас с вами, поспорить беремся.

Красноярский край располагает самыми крупными в стране энергетическими ресурсами. Думала ли природа, щедро наделяя эту территорию водными и иными богатствами, что подписывает ей приговор? Вот уж где гигантоманы из Минэнерго порезвились вдоволь. Все здесь самое большое, самое мощное, самое высокое... И самое удручающее. Конвейер по возведению плотин трудился тут без устали. Налепили столько ГЭС, что их удельный вес в энергопроизводстве Сибири достиг 57 процентов. Специалисты знают, что это недопустимо большая доля по отношению к тепловым станциям. Энергосистему залихорадило. И каждый ее спазм — это миллионы, а то и миллиарды убытков. В неэкономичном режиме работы оказались и ГЭС, и ТЭС. В летнее время, при высоком паводке, все тепловые станции работают на техническом минимуме: нагрузку несут ГЭС. Это означает, что основные производственные фонды ТЭС используются в это время неэффективно, станции выдают ничтожную часть своего потенциала, а персонал получает зарплату сполна. Но главный парадокс заключается в том, что суммарная мощность ГЭС используется только наполовину и зимой, и летом!

И тем не менее Минэнерго обещает нам к 2005 году построить еще около сотни гидростанций. Из них: гигантские — Богучанскую и Средне-Енисейскую, а также самую крупную в мире (!) Туруханскую ГЭС — опять же в Красноярском крае.

К чему же хотят привести нас «мечтатели» из Минэнерго? Вот только некоторые пагубные последствия разнузданного гидростроительства: в зацветшую воду водохранилищ канули

уже 165 городов и 2600 сел. Безвозвратно утерян целый континент отечественной истории, ведь российская цивилизация вытеснялась в основном вдоль рек. Мы отняли у себя самые плодородные пойменные земли, по площади почти равняющиеся территориим Франции. А сколько подтопили и тем самым тоже вычеркнули из оборота? Стоит ли удивляться, что импорт зерна за последние 20 лет возрос в 320 раз и обходит стране в 5 миллиардов рублей ежегодно? Польша, Болгария, Венгрия, Югославия кормят и не могут нас прокормить овощами и фруктами, которые мы раньше с избытком получали из пойм своих рек. Выключенные из народного хозяйства, эти земли приносят стране убыток 60 миллиардов рублей ежегодно!

И вдруг оказывается, что разница между потенциальными мощностями энергообъектов и реально потребляемым количеством энергии составляет у нас 35 миллионов кВт. Чтобы была понятна величина этой потери, представьте, что на Волге и Каме действует не по одному каскаду электростанций, как сейчас, а по три с половиной, и все — вхолостую.

Пятая часть производимой в стране электроэнергии теряется из-за несовершенства технологии и техники передачи на большие расстояния. Значит, десяток станций, равных Саяно-Шушенской, не дают ни одного киловатта. Убыток — 2 миллиарда рублей ежегодно.

Сколько красноярские писатели не создали художественных произведений, тратя время на борьбу против гидроэнергетиков и «испытателей» природы? В какую статью ущерба отнести еще и эти потери? Обо всем этом мы беседовали с ответственным секретарем альманаха «Енисей» Сергеем Задеревым. Он автор сценария фильма «Плотина», первой, до боли искренней ленты, в которой Сергей и режиссер фильма Владимир Кузнецов за цифрами материальных потерь заставили увидеть бездонные нравственные провалы, образовавшиеся в нашей общей совести в результате бездумного надругательства над историей и культурой народа, окружающей нас природой.

Задерев: «Одичали мы, что ли?» — говорят в народе, глядя на все творимое над природой. И как бы ни противилось в нас все естество человеческое, невольно думаешь: деградация природы не есть ли следствие деградации души нашей? Как не согласиться с философом И. Фроловым, сказавшим: «Мы умираем по крайней мере отчасти потому, что наше дальнейшее существование для природы не имеет смысла».

Практика и история развития мировой энергетики, — продолжает Сергей, — показали, что ее рациональная деятельность должна держаться на пяти китах: соблюдение экологической безопасности при создании, эксплуатации установок, максимальное приближение источников энергии к потребителю, постоянное снижение затрат на единицу вырабатываемой продукции и недопущение разрыва между потенциальными мощностями действующих станций и реальным выходом энергии. Все эти пять принципов у нас не соблюдаются. Они заменены одним — затратным: как можно больше установок огромной единичной мощности, а сколько при этом убивается продуктивной земли — это мало кого интересует, она ведь у нас, считается, ничего не стоит. Одно сравнение: авария в Чернобыле, учившая 30-километровую зону, вывела из строя 3 тысячи квадратных километров земель. Красноярская ГЭС, которую энергетики с пафосом называют одной из самых экономичных и экологически чистых, вывела из строя примерно такую же площадь, а со склонами гор — большую. И вывела не на какое-то определенное время, а навсегда...

В случае разрушения плотин Красноярской, Саяно-Шушенской и Братской ГЭС в зоне затопления окажется около десятка городов, около двухсот населенных пунктов. Здесь проживает 1 миллион 325 тысяч человек, или 30 процентов населения края. Однако в ходе строительства ГЭС не созданы системы централизованного оповещения населения об угрозе катастрофического затопления. Не разработаны градостроительные мероприятия по уменьшению ущерба от такого затопления и для организованного выхода населения города Красноярска на незаатапливаемые территории.

Еще одна «услуга» гидростроителей: Красноярская ГЭС стоит вблизи города... **выше по течению.** За сколько же минут жители смогут «организованно выйти на незаатапливаемые территории», когда пойдет стена воды? Или в наш ненадежный век гидростанции являются единственно без-

опасными творениями рук человеческих, не подверженными катаклизмам, войнам и непредвиденным обстоятельствам?

И вот над природой края нависла новая беда: разработан проект строительства супергигантской Туруханской ГЭС в устье реки Нижняя Тунгуска, на территории Эвенкии. С плотиной небывалой в мире высоты — 200 метров! По различным оценкам, водохранилище будет от 500 до 1200 километров длиной. Стоимость строительства, с учетом сроков и повышения цен — до 11 миллиардов рублей. И это — под Полярным кругом, где экологические системы особенно ранимы. Но гидроэнергетики подготовились к затяжному бою за реализацию своего проекта, убеждая нас, что без Туруханской ГЭС ну никак не обойтись нашей державе. Планируется энергию станции подавать на Урал, то есть за тысячу километров от затопленной Эвенкии. Это при наших-то потерях во время передачи энергии на большие расстояния. При том, что к строительной площадке нет подъездных дорог, что придется свернуть все другие строительства в крае из-за недостатка мощностей, при том, что непредсказуемо начнет меняться климат и природная среда огромного региона. Следующий свой фильм уже упомянутый нами режиссер Красноярского творческого объединения Свердловской киностудии Владимир Кузнецов будет снимать о Туруханской ГЭС, о борьбе, которая ведется за и против нее.

Корр.: Что, после всех трудностей во время съемок и «пробования» к зрителям фильма «Плотина», побуждает вас вновь обратиться к теме разрушительной деятельности гидроэнергетиков?

Кузнецов: «Пробования» — это мягко сказано. У нас ведь до сих пор существует система, по которой фильм, направленный против какого-либо ведомства, должен быть представлен на утверждение именно ему. Нетрудно догадаться, какое заключение дали Минэнерго и «Гидропроект». Спасло только вмешательство Академии наук СССР. Но и после выпуска фильма в журнал «Коммунист», например, поступило письмо с 909 подписями сотрудников «Гидропроекта» против «Плотины».

И все-таки победа нашего фильма не в международных премиях и широком прокате. А в том, что после него отказались от строительства ГЭС на Даугаве, не будет существовать чудовищный Ржевский гидроузел. В принятии таких решений есть и капля нашего содействия.

Однако судьба Туруханской ГЭС до сих пор туманна. После научной экспертизы технико-экономического обоснования (ТЭО) ее проекта, чтобы успокоить взбудораженное общественное мнение, заявили, что строительство законсервировано. Ничего подобного! Просто рассматривается вариант снижения высоты плотины с 200 до 140 метров. Но такое решение в принципе ничего не изменит. Людей ввели в заблуждение и потихоньку продолжают свое дело.

Я убежден, что выход из подобных ситуаций только один: все экологические и экономические аспекты крупных проектов должны обсуждаться с общественностью. Но в случае с Туруханской станцией даже не эти аспекты, по-моему, главные. Ведь, образно говоря, под воду уйдет целый народ, Эвенкия практически будет затоплена. Голос протеста эвенков должен быть услышан.

В работе экспедиции «Юности» эвенкийский народ представлял писатель Алитет Немтушкин. Своей озабоченностью за судьбу родного народа, последовательной позицией в борьбе за его выживание он вызвал резкое недовольство руководящих работников... Эвенкии. Вот такой в общем-то не удивляющий парадокс.

Немтушкин: В проекте абсолютно не была учтена национальная сторона вопроса. Жизненная основа эвенка — олень. Уйдет под воду земля, не станет оленя, не станет и эвенка. Мы, как и другие малые народы, — дети природы. Пересели эвенка в другое место: чем он займется? Уже были примеры переселения эвенков. Оленей расстреляли, людей — в поселки. Но у охотников-то руки неумелые к другой работе, только на подхвате могут помочь в деле. И вот все они оказались с протянутой рукой возле магазина, где льется огненная вода. С 70-х по 80-е годы у нас на Севере не было естественных смертей, только по ЧП. Все льготы, привилегии деформировались в уродливые формы, пряник оказался хуже кнута.

Веками кочевал мой народ по долине Нижней Тунгуски, охотился, занимался пушным промыслом. И никогда среди эвенков вы не встретите браконьеров. Потому что мы всегда

жили за счет природы и лишнего, про запас, никогда не добывали. Сегодня, когда экологический кризис берет за горло человеческую цивилизацию, необходимо внимательно присмотреться к малым народам, поучиться у них жить в согласии с природой. Да одной прибылью от пушнины и даров тайги, намеченной под затопление, можно многократно перекрыть стоимость Туруханской ГЭС.

Добавим к сказанному В. Кузнецовым и А. Немтушкиным, что в прошлом году были опубликованы такие данные: на территории Эвенкии открыто и разведано свыше двух десятков нефтяных и газовых месторождений. Использование их с лихвой покроет скромные потребности этой территории в электроэнергии. Или все-таки проще такие богатства тоже похоронить под водой?

Обратимся к мнению специалиста. Ю. Бендерский, как компетентный работник Института экономики СО АН СССР, принимал участие в научной экспертизе технико-экономического обоснования строительства станции. В результате анализа ТЭО было признано непригодным. Но вопрос о строительстве по-прежнему не снят.

Бендерский: Правительство поручило АН СССР (а она в свою очередь — Сибирскому отделению) провести эту экспертизу. Было выделено 400 тысяч рублей, чтобы эксперты морально и материально не зависели от отраслевиков. Большой сдвиг: раньше ведь такие работы оплачивали сами ведомства, нанимали тех, кто им выгоден.

Была экспедиция, проводилось много совещаний, настоящие схватки с представителями заинтересованных ведомств. И все-таки ТЭО мы отклонили. В проекте выделены четыре основных недостатка. Во-первых, не убеждают обоснования необходимости этого строительства. Не представлены альтернативные решения. Вложить десяток миллиардов рублей в станцию, которая даст энергию лишь через 20—25 лет? Но, позвольте, наука не стоит на месте: к тому времени могут быть уже совсем другие источники энергии. Не разумнее ли вложить эти средства в создание энергосберегающих технологий? Второе возражение — край не справится с таким объектом. Потребности в строительстве огромные, мы задыхаемся без необходимых мощностей, но все придется законсервировать, а технику с материалами бросить под Полярный круг. (Напомним читателям про поселки Индустриальный и Нахаловку, про крайнюю острую жилищную проблему в Красноярске и регионе.) Все министерства хотят внедриться в богатую сырьем Сибирь, даже если продукция их предприятий не найдет потом спроса. Но сегодня эта экспансия все более затрудняется: Иркутская область и даже Дальний Восток, еще недавно связывавший свою социальную судьбу с индустриальным развитием, отказываются от строительства ненужных и опасных объектов. Пора одуматься и в Красноярском крае.

Третий важный аспект — отсутствие прогнозирования последствий для природной среды. Нет гарантий, что новая станция не обернется еще одной экологической катастрофой.

И последнее — в проекте совершенно не учтены социальные аспекты, не решены национальные проблемы. Давайте, прежде чем строить, разберемся все-таки в принципиальных вопросах: нужны ли нам новые энергетические мощности, и если нужны, то сколько? И сравним затраты на них со средствами, необходимыми для развития энергосбережения.

Разговор наш с Виктором Петровичем Астафьевым начался трудно. Стоило произнести слово «природа», и, показалось, ковырнули мы засохшую и неизлечимую рану в душе писателя. Сколько сил, здоровья и времени отобрано у творчества, чтобы донести до людей вечную, но забытую в светливой неустрашенности истину: губя природу, человек убивает душу свою.

— Устал. Махнул я на все это рукой, — и Виктор Петрович, зажуривав раненный на войне глаз, и впрямь махнул своей полной еще сил рукой куда-то в угол кухни. — Налегайте вот на соленые грибочки. Хоть они еще в тайге родятся. — Покрошил лук в грибы. Улыбнулся. — Разных дискуссий я уже много пережил. А ничего путного в общем-то не произошло после них. Никакого оптимизма насчет будущего природы нашей не приобрел. Не очень я надеюсь на слова наши. Только действие, совместное действие может приостановить нашествие безобразников, врагов наших. Ибо то, что я видел на Урале и в Сибири, могли сделать только страшные враги нашей Родины. Надо нам всем подумать: каким

образом объединить свои усилия? Не для эмоциональных разгрузок, а для дела. Чтобы защитить край, пока еще не поздно.

И из рассказов за «круглым столом» по проблемам экологии в редакции альманаха «Енисей» видно, что писатель не собирается опускать руки. Человек, постоянно чувствующий не выдуманную, а живую боль, никогда к ней не притерпится, не смирится.

— После войны почти двадцать пять лет прожил на Урале. Приехал, когда природа была еще почти нетронутая, великолепная, совершенно потрясающая по красоте. И вот на моих глазах она была уничтожена. И все время ее защищали, все защищали... Я сам в защиту леса, кедра выступил еще в 1953 году. Наступление на уральские леса шло страшное. Заканчивали в одной области — все силы перебрасывали в другую. Сейчас там леса остались только на севере Пермской области. Дальше — тундра.

Положение, по моим наблюдениям, в Красноярском крае сегодня примерно такое, как было на Урале в пятидесятых годах. Там теперь спасать нечего, но здесь-то еще многое можно сделать, чтобы уберечь природу. Посчастливилось мне побывать в Эвенкии. И когда поднимался там на вертолете, я видел огромный, еще не потревоженный край. Смотрел я на эти чистые реки, на этот реденький, не очень сильный, но нетронутый лес, невольно вспоминал великого Чехова, который восклицал: какая бурная жизнь расцветет на этих берегах! И вдруг подумал: хоть бы сюда-то, в Эвенкию, эта жизнь не доходила! Хоть бы этот край сохранился для наших детей и внуков...

Плыл я как-то по реке Абакан и увидел невероятное количество островов. Вдруг из одного, как пушки дымные после боя, торчат стволы недогорелых кедров. Острова-то, оказывается, из деревьев сложились, при сплаве брошенных. На них наталкивает река камни, мусор, начинает тальник расти. Потом узнал: каждое второе из срубленных деревьев в крас не используется никак. А пока мы здесь с вами разговариваем, на притоках Абакана трелюют лес прямо по руслам рек мощными тракторами. Идет такой мастодонт по малой речке — и все губит. Еще в конце шестидесятых объявили, что решено прекратить молевой сплав по рекам. А посмотрите на берега Енисея: просвета нет, выброшенные бревна лежат. Красавица-река Мана гнет. Дно ее в несколько рядов устелено утопленным лесом.

Енисей и Ангару губят при всех нас. При нашем глухом невнятном молчании или личном участии. Признаюсь, и я был одним из тех юных идиотов, к несчастью, умеющих писать в газету, кто сочинил в свое время несколько «ударных» репортажей о строительстве самой мощной в мире Красноярской ГЭС. За высотой плотины, наглухо перегордившей Енисей, не видели мы высоту рожденных ею проблем. Я увидел их позже. Рыба буром перла на бетонную плотину, билась об нее, ей надо было в верховья, на нерест. Часть островов и тайменей, сигов и стерлядок погибала. У других икра после тщетных попыток пробиться вверх, перерождалась в жир, и рыба напрочь теряла способность к размножению. И резко оскудел рыбный стол красноярцев после сотворения первой на Енисее суперГЭС. А браконьеры ликовали. Обманывая и подкупая сотрудников рыбоохраны, они центнерами вычерпывали беспомощных, беззащитных рыб из-под носа плотины. Настоящие рыбаки плакали — по всему Енисею.

Возвращаясь к проблемам сибирского леса, затронутым Виктором Астафьевым, приведем и такие факты, собранные нашей экспедицией: по результатам аэрофотосъемки водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС установлено, что около 12 квадратных километров его площади покрыто плавающими брошенными бревнами, то есть нашими с вами деньгами, ибо количество этой древесины — более миллиона кубометров. И это только в одном водохранилище. Повсеместное истребление кедровых лесов, которые являются главным распределителем влаги в водостоках рек, приводит к опустошительным наводнениям, как только наступает жара в горах. Огромные валы ничем не сдерживаемой воды устремляются вниз, сметая на своем пути нижние склады леспромпхозов, совхозные фермы, постройки, лодки, зазевавшихся животных. Ущерб от наводнений исчисляется миллионами рублей и значительно превышает стоимость заготовленной в горах древесины.

Такие наводнения, а также сбросы ГЭС в половодье смыывают с берегов и выносят в Карское море огромное количе-

ство древесины, где ее бойко и заботливо вылавливают специальные суда иностранных фирм. Видимо, долго еще они не останутся без работы. Потом этот лес вернется к нам в виде бумаги, целлюлозы, мебели. За валюту, конечно. Хоть какая-то компенсация за уничтоженную нашу тайгу.

Профессор Д. Владышевский, ведущий научный сотрудник Института леса и древесины СО АН СССР, ознакомил нас с таким научным прогнозом.

Владышевский: Если не изменить методы эксплуатации лесных запасов Красноярского края, то древесины здесь хватит всего на 35 лет. Но уж тогда не будет ничего — ни дерева. Ресурсы истощатся. Если так пойдет и дальше... Хотя, знаете, у меня нет оснований верить, что в ближайшем будущем что-либо изменится, потому что я не вижу пока, откуда взять средства, чтобы залатать в одночасье все дыры нашей экономики и социальной сферы. Как сказала Индира Ганди, среда не может быть улучшена в условиях нищеты. Мы недодаем средства для нормального медицинского обслуживания, народного образования, социального обеспечения, перекачивая их в промышленность. Но нынешние принципы ее деятельности делают нас лишь еще беднее.

Корр.: Какой выход из сложившейся экологической ситуации вы видите?

Владышевский: Я вижу только два направления: по одному пытаются сейчас идти некоторые регионы, другое кажется пока утопией, но оно единственное, не ведущее в тупик. Под первым я подразумеваю локально-эгоистический вариант. Это — кричать как можно громче, чтобы из скудного госбюджета выделили именно, например, нашему краю средства на улучшение экологической обстановки. Но в государственном масштабе это на самом деле не выход из положения, потому что тут же в другом месте появится зияющая дыра, раздастся такой же громкий крик. В конце концов такое «перетягивание одеяла» — это новые удары по экономике, развал системы. Реальный выход — в экологизации сознания всего населения. Наука уже начинает бить тревогу, но пока это, к сожалению, не доходит до сознания людей. Наш народ так часто обманывался наукой, что ей перестали верить, тем более, что людям свойственно не замечать плохое, если оно непосредственно их не затрагивает. Но мы без тормозов катимся в пропасть катастрофы, и это, как ни странно, ускорит прозрение, лишь бы не было слишком поздно. Ведь бурные процессы экологизации мышления, которые мы наблюдаем в развитых странах, тоже брали начало в кризисных экологических ситуациях. Но нам, к сожалению, свойственно все кризисы доводить до предела, до абсурда... Так вот, видимо, нам суждено пережить такую паническую общественную тревогу, после которой в сознании людей станет позорной любая форма небрежения к природным ресурсам, к здоровью, воде, воздуху. Так что недалеко тот час, когда станет постыдным ехать в машине со шлейфом дыма. Такую машину могут остановить: вытащить и, возможно, отлупцевать водителя. Вот когда такое произойдет в первый раз, это будет радостное событие, хотя, может быть, и звучит странно. Пока же не произойдут такие сдвиги в сознании людей, мы не вправе уповать ни на руководителей любого звена, ни на совесть рабочих, которые открывают вентили и заслонки, выбрасывая в природу отравляющие вещества.

Ну что же, мнение Д. Владышевского близко и нам. Но, видимо, не испило еще до конца население края свою экологическую чашу. Не о всех богатствах Красноярья, обернувшихся для людей бедой, мы еще рассказали.

В регионе обнаружены огромные запасы бурого угля — 600 миллиардов тонн. Если даже представить невероятное, что будут добывать здесь по миллиарду тонн в год, то его хватит на шесть столетий. И потянулись к лакомому куску министерства и ведомства. Возник КАТЭК — Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс. И вновь — раздулись плечи — решили здесь строить восемь мощнейших в мире (иначе не умест!) ГРЭС. Уже гонят в небо окислы серы и азота, углекислый газ и другие химические элементы Назаровская и Березовская ГРЭС, сооружают рядом Березовскую ГРЭС-2, готовятся строить еще одну.

Только вот ведь незадача: гидробогатства края распределены по территории очень неравномерно, и именно в районе КАТЭКа воды крайне мало. ГРЭС, работая без очистки, уже отравили реки Чулым, Ужур, Серез; из-за деятельности угольных разрезов из древесных колодцев кое-где ушла

вода, питьевую воду в некоторые районы завозят в цистернах. Критическое состояние водоемов региона КАТЭКа уже ставит под сомнение обещанное энергетическими ведомствами их зарыбление. А в некогда кристально чистом Чульме не то что чистолобного хариуса, но и сорной рыбы теперь не наловишь. Однако проектировщики из Росгипродхоза, разработав «Схему комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Чульм», как водится, не запланировали никаких мероприятий по очистке и сбережению местной воды, а настаивают... на переброске в район КАТЭКа части стока реки Енисей. Как видим, опять им показалось проще зарыть под могучими трубопроводами и насосными станциями десятки миллионов народных денег, чем на серьезной научной основе разработать мероприятия по сбережению природных богатств. Хотя такая переброска не только не улучшит положение с качеством воды на КАТЭКе, но и отразится на качестве воды в районе города Красноярска: Енисей там едва справляется с разбавлением промышленных стоков.

Кандидат физико-математических наук А. Болсуновский, руководитель эконоцентра в Красноярске, председатель Совета молодых ученых при крайкоме ВЛКСМ, реально оценивает ситуацию в зоне энергокомплекса.

Болсуновский: Создание КАТЭКа породило ряд тяжелых проблем. Прежде всего это вывод из сельхозоборота огромных земельных площадей: добыча угля ведется открытым способом. Воздух всей зоны перенасыщен пылью, не говоря уже о продуктах работы ГРЭС. Специалисты азиатских государств сделали расчеты возможных экологических последствий этого комплекса, и оказалось, что и по воздуху, и по воде загрязнение обрушатся и на них. Понятно, что они в тревоге.

Воды уже сейчас не хватает, и она очень грязная. Только на охлаждение котлов требуется огромное ее количество. Нам обещают, что вода перейдет на замкнутый цикл. Но тогда она будет нагреваться в водоемах-охладителях до 40 градусов, начнется повышенное испарение. Но несмотря на то, что недостаток водных ресурсов является лимитирующим фактором развития комплекса, не смогли сберечь и то, что было. Дело в том, что район перенасыщен торфом. Прежде чем строить водоемы, его надо было убрать, вывезти. Но прислушались к «умному» заключению, что торф не всплывет, а экономия выйдет большая. Но торф всплыл и продолжает всплывать. А он перенасыщен органикой, она оседает на котлах. Вода стала непригодной. Наняли катера и бригады рабочих, которые растаскивают этот торф от водозаборов. Но он всплывает неравномерно. В одной части водоема его оказалось поменьше. Тогда решили отсечь дамбой более чистый участок и обратились к ученым с заданием выдать прогноз качества воды. Мы дали заключение, что дамбу строить не надо — она обойдется в миллионы рублей, а вода все равно будет некачественной. И тут узнаем, что ведомства «с торфом все решили»: будут строить дамбу! Она положения не спасет, зато видом деятельности можно успокоить общественность, ведь на строительство уйдет несколько лет. А там, мол, видно будет...

Я считаю, что ученые должны прежде всего вооружить народ знаниями. Только тогда он сможет эффективно воздействовать на власти. Как-то после моего выступления в одном из районов КАТЭКа ко мне прибежали из райкома партии и говорят: «Что вы делаете, они ведь теперь разнесут все двери...» Руководители привыкли к безответственности и не понимают, что, если двери устоят сегодня, завтра взрыв будет уже непредсказуемым.

Благочинный церковью Красноярского края протоиерей отец Сергей встретил нас в храме. Честно признаться, мы не ожидали, что самое высокое положение в религиозной жизни края занимает такой молодой еще человек. В предшествовавших встречах телефонных разговорах отец Сергей сразу проявил готовность к беседе: «Состояние природы и здоровья людей очень тревожит церковь...»

Отец Сергей: Мы внимательно читаем ваш журнал. Рад, что «Юность» обратилась к столь важной проблеме и решила узнать наше мнение о ней.

Отец Сергей пригласил пройти в свой кабинет. Минувя церковный двор, он дал кому-то несколько хозяйственных распоряжений. Обращения «матушка», «батюшка», несуетное общение уважающих друг друга людей, объединенных

общей верой, делом... Какой же издерганной, хлопотной и крикливой показалась отсюда жизнь дымного, пораженного проблемами города, окружающего кольцом церковный холм.

В кабинете нас ожидали настоятели некоторых из немногочисленных церковей края. Тоже люди отнюдь не пожилые. Бросилось в глаза обилие бумаг на письменном столе и книги, книги. В сосредоточенной тишине начался наш разговор о вещах столь тревожных.

Отец Сергей: Не Богом было сказано: человек, бери от природы все, что можешь. Глядя на то, что сотворили люди с природой, как не напоминать без устали: мы не творцы, а создания ее. Библейское учение обращает нас к тому, что природа страдает и жаждет того момента, когда сможет вернуться в то уравновешенное состояние, в котором была создана. И пришел страх за содеянное. Большинство людей в Красноярске живут в страхе перед валом воды, который может обрушиться через плотину. И не только в Красноярске. Вот отец Геннадий, по образованию физик, настоятель самого северного нашего прихода в городе Енисейске, может сказать, бояться ли его прихожане, что массы воды, которые, не дай Бог, прорвутся через плотины Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, дойдут до них и затопят тринадцатый город-музей у нас в стране.

Отец Геннадий: В этом году был повышенный сброс воды через плотины, и в Енисейске это было очень заметно, несмотря на большую его удаленность. Но мне кажется, что разговор наш об экологии может быть развит в двух направлениях. Одно — более реальное, однако, на наш взгляд, совершенно бесперспективное. Другое — с великими перспективами, но недостаточно еще людьми осознанное.

По первому направлению мы пытаемся лечить природу, как смертельно больного человека: не в состоянии остановить процессы разрушения, мы даем лекарства, чтобы больной забылся. Каждый раз решаем какую-то конкретную проблему, не ведая состояния организма в целом.

Природа — творение Божие, и по Божественному замыслу человек должен быть в ней владыкой. Но как? Воздействие было определено по треугольнику: человек — Бог — природа. Опосредованно. Как только человек стал действовать на природу напрямую, минуя Бога, цивилизация стала врагом всего живого, в принципе. Вот укротитель действует непосредственно — он укрощает зверя. А Серафим Саровский не укрощал медведя, с которым мирно жил. Или св. Франциск — волка. Их действия были благодатными, потому что в них была любовь, — от Бога, через Бога. А разве нынешний ученый любит тот электрон, который изучает? Он вовсе не питает любви к объекту, на который воздействует. Решает одну проблему, тут же порождая этим еще более сложную.

Святые шли ко всему именно через любовь, она просветляла их разум, вела к познанию мира. А сегодняшняя наша цивилизация — это, по-библейски, Вавилонская башня, которую человечество строит во славу свою. И чем она выше, тем больше страдает природа. Я не призываю вернуться к сохе, процесс развития необратим. Но только когда ученые начнут решать свои отношения через любовь, только тогда энергия будет извлекаться без вреда всему существу. Вот по этому пути, на котором крестьянин был просто не в состоянии губить природу из-за любви к ней, мы и должны идти.

В этом материале не представлена важнейшая, пожалуй, сила, способная в корне изменить экологическую ситуацию как в Красноярском крае, так и в стране, — общественность. Мы сочли целесообразным подготовить отдельную статью, в которой будут проанализированы состояние уже действующих самостоятельных общественных экологических организаций, их проблемы, направления и достижения в регионах, где проводилась экспедиция «Юности». Такие объединения испытывают неослабевающее, порой драматичное давление со стороны бюрократического аппарата, но именно в них вызревают процессы, которые будут определять общее оздоровление и отдаление от экологической пропасти.

Но прежде чем конкретными решениями и делами ответить на вопрос: «что делать?», надо все-таки определить — «кто виноват?».

Красноярский край

Попечители экспедиции: московские кооперативы «Саят-Новая», «Фархад», «Белка».



ЕВГЕНИЙ
БЛАЗЖЕВСКИЙ

☆☆☆

Памяти мамы

Сознание распалось на куски:
По черепку, по камню, по осколку...
Беспамятство мое страшной тоски,
Которую приписывают волку.
Сквозь этот голый нищенский пейзаж,
Сквозь строй венков, поставленных у входа,
Мерещится какой-то странный пляж,
И с ветром, набирающим форсаж,
Ревет над крематорием свобода!..
И к сердцу подступает пустота,
Большая и ритмичная, как море.
И, словно рыба, судорогой рта,
Хватая воздух, выдыхаю горе...
А блёклый день ползет за парাপет,
И надо мной плывет моя утрата
В осенний мир, где растворился свет,
И некому уже послать привет,
И не найти другого адресата...

☆☆☆

Первая любовь всегда безмерна
И всегда, увы, обречена,
Ибо не при помощи безмена,
Пьяным сердцем взвешена она.
Но затих в крови тяжелый топот,
Затянуло временем ожог,
И житейский пресловутый опыт
Позабить любимую помог,
Позабить счастливые денечки...
Слякотно и пусто за окном.
Кажется, прочитана до точки
Повесть бытия, и ты знаком
С этой беспощадною игрою,
С этим одиночеством души...
Но судьба решается второю
И восьмой блондинкой, не спешу.
Не спешу, в твоём удельном списке
Будет много маленьких побед:
Поэтессы и канцеляристки,
Розы ПГУ и полусвет...
Но когда заглохнет пламя жажды,
То в ночи приснится старику,
Как с тобою встретился однажды,
Лишь однажды на своём веку...

Телефонный разговор

— Алло, любимая, какая нынче ночь!
— Ты сумасшедший...
— И летят снежинки.
— Мне надо спать.
— Родная, не сорочь,
Я жду тебя в квартире на «Дзержинке»!
— Я не могу.
— Сейчас беру такси!..

— Я не могу, ты что, на самом деле!
— Любимая, и снег по всей Руси,
И город пуст, а ты лежишь в постели?!
— Ты пьян?..— Конечно — голосом твоим...
Вокруг Москва застыла в лунном свете...
— Мы завтра обо всем поговорим,
Да и к тому же у тебя соседи...
— Любимая, я от любви ослеп...
— Чего-чего?..— Не предавайся лени!
Нужны мне, словно воздух, словно хлеб,
Твои глаза, и губы, и колени.
— Ты пьян, и у тебя, наверно, сдвиг.
— Любимая, ты отвечаешь резко,
Но разреши приехать, хоть на миг,
Моя зеленоглазая Франческа!
— Я голая, мне холодно стоять.
Давай договоримся на неделе...
— Любимая, вели четвертовать,
Но не могу...— Да что ты в самом деле!..
Я вешаю. Мне трудно говорить
И слушать эти шутки-прибаутки.
— Алло... Алло... Кому же мне звонить
Из этой темной телефонной будки?

Эксперимент

Когда я верить в чудо перестал,
Когда освободился пьедестал,
Когда фигур божественных не стало,
Я, наконец-то, разгадал секрет,—
Что красота не там, где Поликлет,
А в пустоте пустого пьедестала.
Потом я взял обычный циферблат,
Который равнодушен и усат,
И проявляет к нам бесчеловечность,
Не продлевая жалкие часы,
И оторвал железные усы,
Чтоб в пустоте лица увидеть вечность.
Потом я поглядел на этот мир,
На этот неугодный Богу пир,
На алчущее скопище народу
И, не найдя в гримах суеты
Присутствия высокой пустоты,
Обрел свою спокойную свободу.

☆☆☆

Любитель ножа и перца,
Даритель тюремных благ,
Несет в груди вместо сердца
Рыжий слепой кулак.
За ним, вдоль ночных становищ,
Идут в толпе старожилы
Угодливый Каганович,
Подвыпивший Ворошилов.
Сейчас начнется охота,
Опричники выловят план...
В тумане кровавого пота
Залег ночной котлован.
Хозяин молчит надменно
И, прежде чем сделать знак,
Капризной ноздрей нацмена
Занюхивает табак.
Так вот она — русская прерия!..
В просторы ее босые
Ягода, Ежов и Берия
Скулят, словно псы борзые.
Волнение сводит челюсти,
За ними ползет во мраке
Когорта сталинской нечисти
И прочие вурдалаки.
И словно примером жить с кого,
Чтобы не стать у стенки,
Мерещится рожа Вышинского
И хмурая харя Лысенки.
Сейчас начнется охота
И, к счастью, прервется сон...
От страшного поворота
Я временем отнесен.
И что мне имбирные башни,
И мускус испанской печали,
Упавшему в русские пашни,
Глядшему в русские дали...

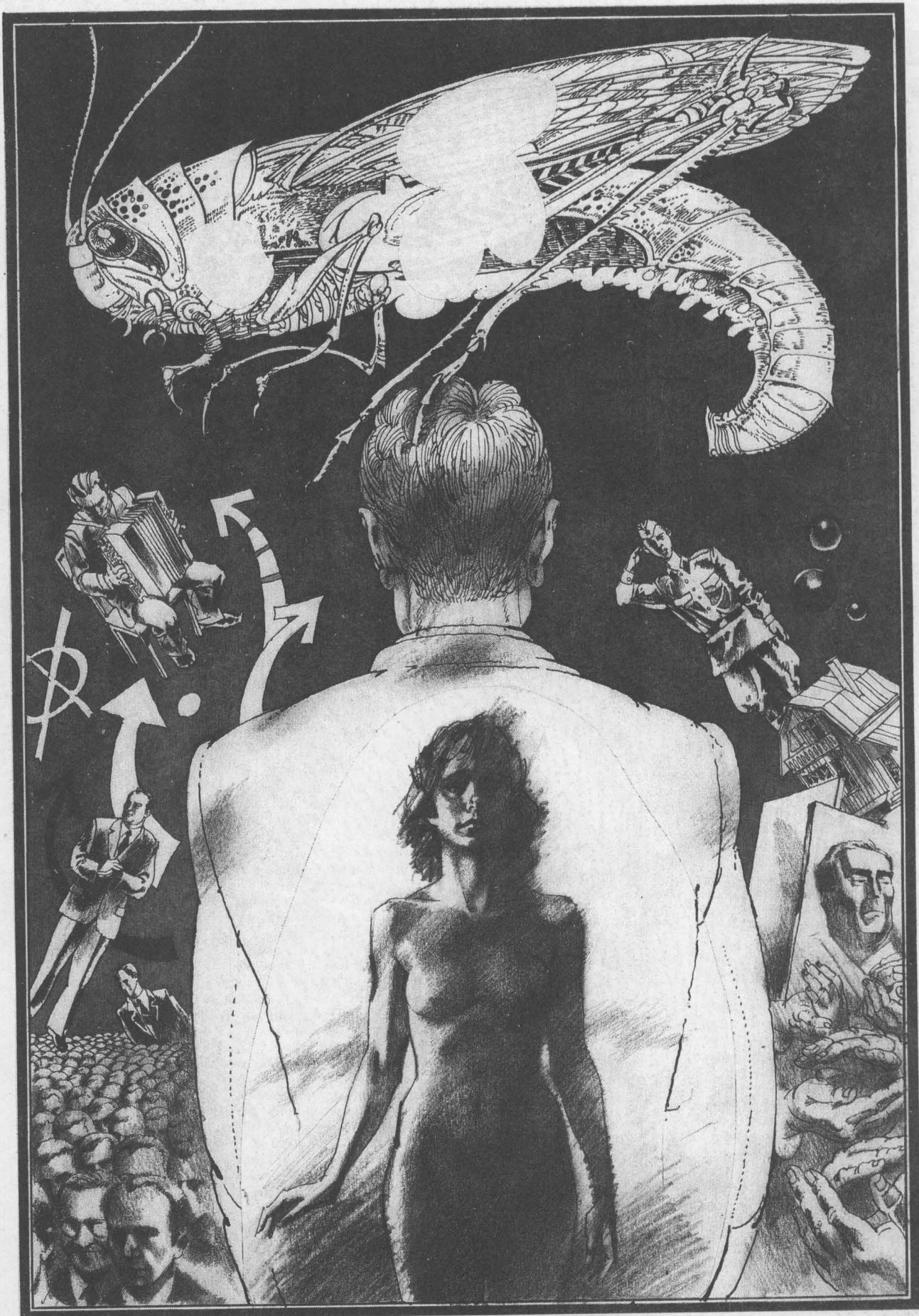


Рисунок Виктора Скрябова

Юрий
ПОЛЯКОВ

«АПОФЕГЕЙ»

Повесть

Источник твой да будет благословен,— и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною: груди ея да упоют тебя во всякое время, любовью ея услаждайся постоянно...

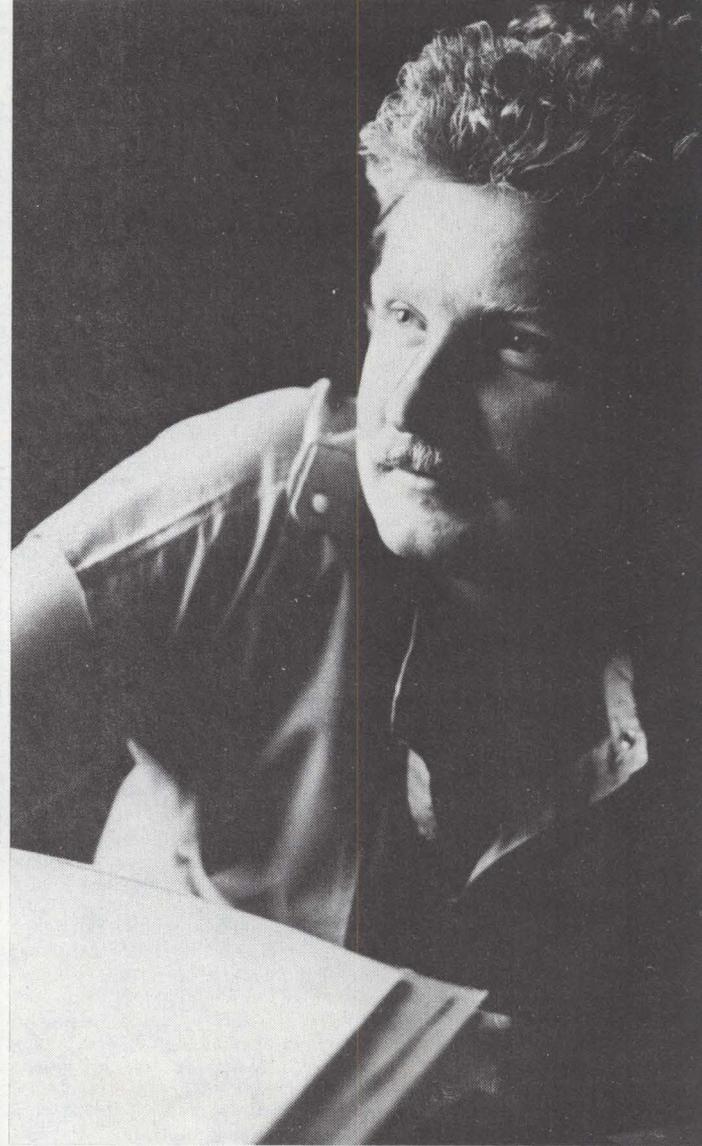
Книга притчей Соломоновых

...Когда, сурово улыбнувшись, БМП закончил свое вступительное слово и, переждав аплодисменты, предложил считать научно-практическую конференцию открытой, в этот самый момент откуда-то из глубины переполненного зала вынырнула записка и поплыла в сторону президиума.

К сведению: Бусыгин Михаил Петрович, прозванный БМП за неуклонность, стал первым секретарем Краснопролетарского райкома партии полгода назад, сменив на этом посту бывшего лидера Владимира Сергеевича Ковалевского, как известно, катапультированного на пенсию вследствие невыполнения правительственного постановления об улучшении снабжения населения растительным маслом. Воцарение БМП, показавшееся кое-кому случайным, в действительности было глубоко закономерным, ибо некогда выпало Бусыгину учиться в Высшей партийной школе одновременно с нынешним городским руководством, которое, сколачивая собственную команду, вспомнило-таки про давнего однокашника и вытащило его из медвежьего подмосковного угла в столичный райком.

...Когда БМП со значением пригласил на трибуну основного докладчика — секретаря парткома пединститута профессора Желябьева, а равнодушный официант принес стакан теплого чая, записка, мелькая, словно чайка на волнах, достигла середины зала.

Между прочим, научно-практическая конференция (в афишах почему-то значилось «научно-теоретическая») «Возрастание духовных запросов советских людей и задачи коммунистов района в деле повышения уровня культурно-массовой работы среди населения» проводилась в канун важнейшего отчета, с которым БМП готовился выступить через два дня на бюро горкома партии. По задумке Бусыгина, конференция должна была продемонстрировать небывалое единение краснопролетарского лидера с широкими народными массами. На оперативном совещании секретарей первичек



Бусыгин пообещал ответить на любые, даже непарламентские вопросы участников конференции, слух об этом прокатился по району, и обычно пустой до гулкости ДК «Знамя» заполнился настолько, что сидели даже в проходах.

...Когда телевизионщики, вдруг слетевшиеся на заурядное районное мероприятие, вырубили «юпитеры», приберегая пленку для обещанных ответов на вопросы, а сам БМП вернулся в президиум и, кривовато усмехаясь, стал одним ухом слушать одобрительный шепот заведующего отделом горкома Юрия Семеновича Иванушкина, а другим — просторный, как песня ашуга, основной доклад профессора Желябьева, записку, наконец, прибило к празднично оформленной сцене. Инструктор Голованов, за тем и посаженный в первый ряд, принял вчетверо сложенную тетрадную страничку, оглядел ее и с вдумчивой деловитостью, хорошо заметной из президиума, опустил бумажку в специальный полированный ящичек, стоявший между двумя сооружениями из цветов, которые, между прочим, воздвигла знаменитая икебанщица. Она всерьез уверяла, что ее композиция в художественной совокупности символизирует свежий ветер обновления и поистине революционные преобразования, случившиеся за последнее время в стране в целом и в районе в частности.

Увидав поступившую записку, Бусыгин и Иванушкин значительно переглянулись: мол, конференция еще, считай, началась, а контакт с аудиторией уже установлен, что, несомненно, свидетельствует о возросшей политической зрелости и гражданской заинтересованности районного актива. А ведь еще совсем недавно на подобные массовые отсидки людей просто-напросто загоняли или же заманивали, суля в перерывах торговлю съестными и книжными дефицитами. В том, как они глянули друг на друга, был и еще один, особенный, оттенок: дескать, что ни говори, а от первого лица мно-огое зависит!

Пока Бусьгин и Иванушкин переглядывались, из-за кулис, где помещался столик стенографисток, заманчивой походкой манекенщицы вышла сотрудница сектора учета райкома партии Аллочка Ашукина, которую неизменно отомблизывали для работы с записками на сцене, и еще безвременно ушедший на пенсию Ковалевский, проводя планерку перед очередным массовым мероприятием, задумчиво говаривал: «А записочки пусть носит эта... хорошенькая». И грустно улыбался, вспоминая, наверное, о том, что, кроме сводок по плану, жилищной проблемы, выше- и нижестоящих товарищей, есть, оказывается, еще и молодые, цветущие женщины с тонкими, как у песочных часов, талиями. Ковалевский был руководителем старой закваски, скромным, неприязненным человеком, беззаветно преданным партии за ту безграничную власть над людьми, каковую она дает своим избранникам. Если б ему вдруг предложили: Владимир Сергеевич, выбирай — черная машина у подъезда, чудесная квартира в центре Москвы, еженедельная неподъемная «авоська», спецдача, спецмедобслуживание, спецзагранкомандировки, с одной стороны, или обыкновенный, цвета слоновой кости телефон с маленьким золотеньким гербом державы на диске. — он, Ковалевский, сказал бы, не задумываясь: «Телефон!»

БМП, с маху поменявший в райкоме почти все, что пахло духом предшественника, поменявший так твердо и жестоко, что один из вышвырнутых аппаратчиков застрелился у себя на даче, — Ашукину почему-то оставил при исполнении привычных для нее обязанностей... И вот Аллочка обольстительно подошла к полированному ящичку, изящно наклонилась, так что из низкого выреза блузки выскользнул и закачался на цепочке кулон-сердечко, потом плавно распрямилась и понесла записку прямо в президиум, а не на сортировку в секретариат, как бывало раньше. Не подымая тщательного подведенных глаз, она положила ее перед Бусьгиным, который уже не раз заявлял, что между руководителем и массой не должно быть посредников.

Отметим: как только Ашукина начала свое движение к столу президиума, Юрий Семенович Иванушкин внезапно озоботился, оглянулся назад и стал призывно озирать кулисы. Буквально тут же к нему подошел инструктор горкома. Иванушкин, взяв его за луговицу, начал давать какие-то срочные поручения и давал их до тех самых пор, пока Аллочка не вернулась к столику стенографисток. Лет десять назад, когда Ашукина работала еще в секторе учета райкома комсомола, а Юрий Семенович трудился инструктором райкома партии, у них была некая история, чуть не стоившая Иванушкину карьеры. Кстати, фамилия его и внешность необычайно соответствовали друг другу: русые кудри, конопушки и добрые синие, чуть грустные глаза. В молодости, будучи аспирантом кафедры фольклористики пединститута, он получил забавное прозвище «Убивец»... Но об этом позже.

Пока Иванушкин общался со своим инструктором, Бусьгин взял записку, повертел в руках и прочитал: «Тов. Чистякову В. П. (лично)». БМП удивленно поднял правую бровь, сложил тонкие губы в трубочку и, подавшись вперед, глянул на притулившегося с краю президиумного стола секретаря райкома партии по идеологии Валерия Павловича Чистякова, который как раз наливал себе минеральной воды, с трудом сохраняя выражение профессиональной доброжелательности на уставом лице. Во взгляде Бусьгина не было ни ехидства, ни раздражения, а только некое недоброе любопытство, отчего Чистяков, один из последних людей Ковалевского оставшийся в аппарате и даже, как поговаривали, его любимец и несостоявшийся преемник, похолодел, отставил стакан с минеральной водой и принялся делать неотложные пометки в еженедельнике.

Записка по рукам двинулась к Валерию Павловичу, и каждый, кто брал ее и передавал дальше, старался в меру своих способностей воспроизвести на физиономии то самое выражение, какое мелькнуло только что у первого секретаря. Получив сложенный листочек, Чистяков не стал его разворачивать, а небрежно бросил перед собой и как бы сразу забыл о нем, увлеченный докладом профессора Желябьева, метавшего политически выверенные молнии в рок-музыку, которая, словно раковая опухоль, разъедает внутренний мир советской молодежи, сбивая ее с активной жизненной позиции на кривую дорожку социальной апатии...

Рядышком с Чистяковым сидел зампред райисполкома Василий Иванович Мушковец — тоже один из обломков мощной команды Ковалевского, рассеянной порывом номенклатурной бури. В президиумах Мушковец обычно подремывал,

заснонвившись от мира привезенными из Италии дымчатыми очками с нарисованными на стеклах широко раскрытыми вдумчивыми глазами, или же многоцветной японской авторучкой рисовал исключительно кузнечиков, которые получались у него настолько правдоподобно, что, казалось, вот-вот какая-нибудь из тварей шелкнет с листа и защекочет за шиворотом.

Василий Иванович состоял другом дома и даже дальним родственником Чистякова по линии жены, в зампредах сидел давно, лет пятнадцать, и в районе у него, как сам он любил выражаться, все было схвачено и задумано. До прихода БМП, разумеется. Валерий Павлович и Василий Иванович много лет вместе ездили рыбачить на потаенный водоем, который чудом обошло всеобщее рыбное оскудение, посещали по субботам четвертое автохозяйство с его замечательной баней, о существовании которой шоферы и не ведали, а иногда, в редкое свободное воскресенье, они сходились семьями и расписывали «пульку». До недавнего времени и в президиумах родственники садились рядом, перешептывались, шилентничали, решали мелкие проблемки. Но вот однажды Бусьгин приподнял правую бровь и совершенно серьезно пошутил насчет «неразлучной парочки заговорщиков». С тех пор они зареклись появляться вместе, и только сегодня, задержавшись на заседании жилищной комиссии, Мушковец вынужден был сесть на единственный свободный стул рядом с Чистяковым.

Василий Иванович задумчиво дорисовал у очередного кузнечика длинные усики и, чуть наклонившись к Валерию Павловичу, тихо спросил:

— От кого?

— Не знаю, — отозвался Чистяков, лениво взял записку, развернул и прочитал:

Уважаемый Валерий Павлович!

Прошу простить за беспокойство, но мне необходимо с Вами поговорить по вопросу исключительной важности. Прошу Вас во время перерыва подойти к стенду «Досуг в районе». Буду ждать.

Н. А. Печерникова

Все это было написано четким и ровным учительским почерком, без помарок, и только в слове «Вами» строчная буква «в» была аккуратно исправлена на прописную.

— Печерникова... — встревожился Мушковец, ознакомившись с запиской через плечо секретаря райкома. — Печерникова... Кто это?

— Не знаю, — пожал плечами Чистяков и провел ладонью по своему раню и красиво поседевшим волосам.

— Только не надо из меня барбоса делать! — тихо возмутился Василий Иванович. — Не надо мне свистеть, что это очередная жертва перестройки к тебе, Валера, за правдой прорывается! Чего она хочет? Сейчас все опасно! Ты посмотри на БМП, это же не человек, это машина для отрывания голов...

Мушковец шептал страстно, но замерев лицом и не разжимая губ, точно чревоушатель, а Чистяков в ответ размеренно кивал головой, будто бы речь шла о чем-то идеологически важном и непосредственно связанном с сегодняшней конференцией.

— Печерникова... Печерникова... — тужился вспомнить Мушковец. — По жилью она у меня не проходит. Кто такая?

— Понятия не имею, — спокойно ответил Валерий Павлович и положил записку в карман.

* * *

Двадцать лет назад Надя Печерникова и Валера Чистяков чуть-чуть не поженились. Он в ту пору был аспирантом кафедры истории СССР, собирал материалы для диссертации об аграрной политике социалистов-революционеров, жил в общежитии в одной комнате с Юркой Иванушкиным, последними словами костерил администраторов и пустолобов от науки, тормовивших утверждение темы, и если бы кто-нибудь в ту пору нагадал ему судьбу удачливого партийного кадра, то Чистяков только бы рассмеялся и посоветовал предсказателю никогда больше не похмеляться техническими спиртовыми растворами.

Надя Печерникова поступила в аспирантуру годом позже. Она, как и Валера, сначала поработала учителем старших классов и школьную программу по истории называла не иначе, как «Сказки тетюшки КПСС», с чем будущий секре-

тарь райкома партии по идеологии был полностью согласен. Надя собиралась писать о реформах Столыпина, имела о знаменитом премьер-министре и его заслугах перед Отечеством свое собственное, отличное от общепринятого, мнение, менять его не собиралась, на компромиссы идти не желала, из-за чего, собственно, и не задалась впоследствии ее научная карьера. О таких людях, как Печерникова, Василий Иванович Мушковец говорил: «По белой нитке ходит!»

До сих пор Чистяков отлично помнил первое появление Нади. Осенью 76-го, после каникул, собрали заседание кафедры, совершенно уникальное по занудству и тягостности, где обсуждали проект плана работы на новый учебный год, скучно спорили по каждому пункту, и Желябьев, тогда еще доцент и секретарь партийного бюро факультета, в сердцах даже надерзил заведующему кафедрой профессору Заславскому, хотя, впрочем, все отлично понимали: как только план утвердят, сначала про него на несколько месяцев просто забудут, а потом приторможенная лаборантка Люся потеряет все до единого экземпляры.

Надя вошла в комнату в тот самый момент, когда доцент Желябьев хорошо поставленным лекторским голосом доказывал, что неумение планировать исследования — бич советской науки. Все оглянулись на застывшую в дверях девушку, одетую в тугие вельветовые джинсы и свободную кофточку, волосы у нее были перехвачены обычной аптекарской резинкой, а через плечо болталась замшевая сумка с какой-то совершенно индейской бахромой. Доцент капризно сморщил ухоженное личико и по-кошачьи махнул лапкой: мол, закройте, милочка, дверь с той стороны...

Однако бравый профессор Заславский неожиданно вскочил со своего председательского места, галантно приблизился к девушке, взял ее за руку и вывел на середину комнаты, как в театре выводят на авансцену якобы засмущавшуюся приму.

«Это наша новая аспирантка Надежда Александровна Печерникова!» — представил он. «Извините... Я очень долго ждала троллейбуса...» — смущенно проговорила Надя.

Кафедральные старички тут же со знанием дела оглядели и оценили гостью. О старая профессорско-преподавательская гвардия! В тридцатые — пятидесятые они не пропустили мимо ни одной смазливой аспиранточки, влюблялись с размахом и безоглядно, щедро оставляя бывшим женам квартиры на улице Горького со всем антикварным хламом, унося в новую жизнь только маленькие чемоданчики с белым да связочки любимых книг. Это они, они воздвигли в столице первые кооперативные квартиры! Теперь таких застройщиков давно уже нет, так как профессорского жалования с трудом хватает и на одну семью...

Потом, все еще держа новую аспирантку за руку, профессор Заславский сообщил, что писать сия отважная девица собирается о Петре Аркадьевиче Столыпине. Кафедральные старички с пониманием переглянулись: в молодости они тоже мечтали стать честными летописцами эпохи, но хотелось бы знать, что понаписал бы тот же Нестор, когда б у него за спиной дежурил сержант НКВД с наганом. А доцент Желябьев покачал головой и с нежной грустью поглядел на симпатичную дурочку, которая наивно полагает, что историки пишут челуху исключительно по причине незнания истории...

Наконец профессор Заславский усадил Надю рядом с Чистяковым, по-мужски подмигнул Валере и предложил продолжить обсуждение плана. Надя достала из сумки новенькую общую тетрадь, с треском раскрыла ее и ровным учительским почерком вывела: «Заседание кафедры», подчеркнула написанное двумя линиями и поставила знак вопроса, а потом, подумав немного, обвела все это узорчатой рамочкой.

Тем временем профессор Заславский, распушив хвост, начал рассказывать про то, как некогда ездил во Владимир к знаменитому монархисту Шульгину. «Неужели умный человек может быть монархистом?!» — перебил заведующего кафедрой доцент Желябьев. «Почему бы нет, если умный человек может быть сталинистом!» — покосившись на Надю, парировал Заславский, в свое время чуть было не загремельший по делу космополитов и низкопоклонников.

Но Чистяков не вслушивался в завязавшийся спор, он, рискуя нажать косоглазие, старался получше разглядеть новую аспирантку: у нее было смуглое лицо, нос с горбинкой и странная манера прикусывать нижнюю губу для того, чтобы скрыть ненужную улыбку.

Надя тем временем изобразила на страничке запутанный

лабиринт со множеством коридоров и одним-единственным выходом. Чистяков настолько увлекся этим рисунком, что забылся и совсем уж неприлично усталился в ее тетрадь. «Вас как зовут?» — спросила она и повернула тетрадь так, чтобы ему удобнее было разглядеть рисунок. «Валерий Павлович...» — ответил Чистяков, уже отравленный академическими церемониями. Надя почтительно посмотрела на него, прикусила губу и объяснила: «Это тест. Нужно выбрать из лабиринта...» «Зачем?» — тупея от непонятого волнения, спросил он. «А это, Валерий Павлович, я вам потом объясню...»

Чистяков немного подумал и твердо проложил авторучкой путь к единственному выходу, только возле одной развилки он малость замялся и двинулся, ожидая подвоха, не короткой дорогой, а наоборот — самой длинной. «М-да,— нахмурилась Надя, что-то прикидывая.— Значит, так: вас, Валерий Павлович, ждет блестящая научная карьера, но в личной жизни, боюсь, не повезет». «А если бы я пошел другим путем?» — заволновался Чистяков. «Ну-у, тогда бы у вас была роскошная личная жизнь и большие трудности в науке! — сообщила Надя и добавила: — Но первое слово дорожке второго!...»

Услыхав это трогательное детское присловье, он, наконец, решился и посмотрел ей прямо в глаза — большие, светлокариые и абсолютно несерьезные.

«...А вы знаете, что говорил мне Шульгин на прощанье? — вдруг возвысил голос профессор Заславский и ревниво обратился к новой аспирантке: — Вы, голубушка Надежда Александровна, тоже послушайте! Он сказал мне, что во избежание будущих смутных времен нужно в СССР ввести наследование политической власти. Династию!...» «Мифологическое мышление!» — усмехнулся Желябьев. «Мышление!» — со значением ответил профессор Заславский. «Мышление...» — вполголоса согласился доцент. — Мышление старого склеротика...» Поскольку направленность этих слов, как выражаются ученые, была амбивалентна, вся кафедра тревожно замерла, ожидая взрыва...

«Апофегей!» — наклонившись к Чистякову, доверительно прошептала Надя. «Что?» — не понял Валера. «Я говорю, у вас здесь всегда так?» «Почти всегда...» «Полный апофегей!»

Томительное беспокойство, поселившееся в душе после того памятного заседания, Чистяков, полагавший себя достаточно опытным мужчиной, квалифицировал как легкое влечение к новой хорошенькой аспирантке. Это была ошибка: он жестоко влюбился.

Потом почти полгода они встречались на лекциях, заседаниях кафедры, в институтской столовой, которую называли «тошиновкой», в Исторической библиотеке... Входя в большой читальный зал № 1, Валера почти сразу отыскивал среди десятков склонившихся над книгами голов ее перетянутый аптечной резинкой хвостик, усаживался поближе, как бы невзначай встречался с ней глазами, потом они вместе шли в буфет или курилку и разговаривали — обо всем: о полном маразме профессорско-преподавательского состава, о явных переменах в интимной жизни студентов (на последней лекции они сидели не в той комбинации, как прежде), о стрельбе по-македонски, об уморительной оговорке, которой порадовал общественность на недавнем пленуме державный бровеносец... Надя ко всему на свете, включая собственные неприятности, относилась иронически. «Надо быть большим пакостником,— говорила она, имея в виду Бога,— чтобы в конце до слез забавной жизни поставить такую несмешную штуку, как смерть... А может быть, это тоже юмор, только черный?!»

Аспирантам второго года обучения родина иногда доверяла ведение семинарских занятий. Однажды, когда Чистяков, изнемогая от чувства собственной значимости, выяснял, что же осталось от лекций в головах студентов третьего курса, доцент Желябьев зачем-то привел в аудиторию нескольких аспирантов и среди них — Надю. Потом, в «исторической» курилке, она как бы между прочим сообщила, что, по ее наблюдениям, на Валерия Павловича «запала» студентка Кутепова, дочка крупного партийного босса. Надя настоятельно советовала воспользоваться ситуацией и провраться поближе к кормушке, которую в 17-м отняли у помещиков и капиталистов, но потом как-то забыли передать рабочим и крестьянам.

С грустью и бессилием наблюдал Чистяков, как его отношения с Надей приобретают оттенок необратимого товарищества.

В те баснословные года во дни торжеств народных на

кафедре устраивались праздничные посиделки: сдвигались столы, из шкапа извлекалась зеленая скатерть, та самая, что использовалась и во время защиты. Кафедральные мужчины доставали из портфелей водочку и коньячок, женщины — пирожки, огурчики, банки с салатами собственного приготовления. Во главе стола садился профессор Заславский, он и провозглашал первый тост за советскую историческую науку и ее подвижников — надо понимать, всех присутствующих. Правда, в конце гулянья, неизменно набравшись, он впадал в черную меланхолию и бормотал, что нет у нас никакой исторической науки — одна лишь лакейская мифология. Эта фраза являлась общеизвестным сигналом — и самый молодой аспирант мчался ловить такси, потом происходил торжественный вынос профессорского тела и бережная укладка его в автомобиль. А посиделки продолжались до тех пор, пока не вваливался комендант здания, отставной подполковник, и заявлял, что пора, дескать, и честь знать, что даже кафедра научного коммунизма уже по домам разошлась; ему наливали стакан, он выпивал, давал еще полчасика на «помывку посуды и приборку помещения», после чего грозился опечатать кафедру со всеми ее сотрудниками.

Тогда, в апреле, все произошло по этой, раз и навсегда укоренившейся традиции. Сначала коллектив кафедры, дружно вышедший на субботник, жег прошлогоднюю листву и разбирал завалы мусора, оставленные строителями, которые осенью всего-навсего подкрасили фасад флигеля, где располагался исторический факультет. Потом появилась зеленая скатерть-самопьянка, как называла ее Надя, и профессор Заславский поднял первый тост... После того, как комендант пообещал опечатать помещение и еще почему-то вызвать милицию, доцент Желябьев предложил Печерниковой и Чистякову поехать к нему в гости, «на холостяцкое пепелище...» и продолжить праздник!

Доцент поймал частника, по пути они заскочили в детский сад, там, оказывается, тоже был субботник, и привхитили с собой юную воспитательницу. В недавнем прошлом супругой Желябьева состояла самая молодая в республике докторша наук, ушедшая от него к члену-корреспонденту, выступавшему оппонентом на ее защите. С тех пор, по мнению Нади, доцент получил какой-то чисто фрейдистский комплекс и теперь мог общаться исключительно с женщинами элементарных профессий. Воспитательница, ее имя Чистяков давно забыл, смотрела своему ученому другу в рот и громко прыскала в ответ на каждую его шуточку или даже обычно сказанное слово.

Трехкомнатное «холостяцкое пепелище» располагалось в большом сером доме на проспекте Мира. Валера, до окончания школы теснившийся вместе с родителями и сестрой в пятнадцатиметровой комнате заводского общежития, где, дабы поутру попасть в уборную, нужно было потоптаться в очереди, потом два года живший в казарме, затем пять лет занимавший койку в четырехместном номере студенческой общаги, а теперь вот сибаритствовавший в аспирантском общежитии, имея под боком всего одного соседа, попадая на такую необъятную, по его представлениям, жилплощадь, начинал мучиться страшной завистью и самой настоящей классовой неприязнью.

Желябьев происходил из потомственной профессорской семьи; в комнатах стояла хорошая красная мебель с завитушками, на стенах висели картины в золоченых багетах и старинные фотографии в деревянных рамках, а над бескрайней гостиной нависала огромная люстра, хрустальная, почти такая же, как и в актовом зале их родного педагогического института, где до революции располагался пансион благородных девиц.

«Это — Мурильо! — кивнул Желябьев на одну из картин, изображавшую мадонну с озорничавшим богочеловеком. — А это — мой дед, приват-доцент Московского университета». «Какого? — съязвила Надя. — В Москве было два университета...» «Имени Патриса Лумумбы, — меланхолично пошутил доцент и по-кошачьи махнул ручкой. Потом он открыл бар, внутри которого тут же зажглась лампочка и заиграла музыка. — Расширим сосуды и сдвинем их разом!»

Болтали о кафедральных делах, травили анекдоты. Желябьев рассказал смешную историю о том, как во время защиты его бывшей жены комендант привел в актовый зал команду тараканоотравителей в белых халатах, марлевых повязках и с опрыскивателями в руках. Кто-то что-то перепутал. Слабенькая воспитательница внимательно слушала, хихикала и безуспешно старалась подцепить с тарелки скользкий маринованный гриб, после очередной неудачи она

удивленно подносила к глазам и недоверчиво рассматривала гриб.

Потом доцент, писавший докторскую о гражданской войне на Украине, ни с того ни с сего сообщил, что, по его глубокому убеждению, Нестор Иванович Махно напрасно повернул тачанки против Советской власти, осерчев на нехорошее отношение комиссаров к крестьянам. Если б не этот глупый шаг, батька так и остался бы легендарным героем, вроде Чапая, кавалером ордена Красного Знамени, а Гуляй Поле вполне могло называться сегодня Махновском. «А тамошние дети, — подхватила Надя, — вступая в пионеры, клялись бы: «Мы, юные махновцы...»

Отсмеявшись, Желябьев посерьезнел и сообщил, что все это, конечно, так, но время для подобной информации еще не пришло и вообще народное сознание не сможет переварить всей правды о гражданской войне. «Во-первых, — без тени улыбки возразила Надя, — народное сознание — не желудок, а во-вторых, не нужно делать из народа дебила, который не в состоянии осмыслить то, что сам же и пережил!» Доцент в ответ только покачал головой и выразил серьезные опасения по поводу научных перспектив аспирантки Печерниковой. Потом с галантностью потомственного интеллигента он предложил совершенно одуревшей от алкоголя и светского обхождения воспитательнице пройти в другую комнату и взглянуть на уникальное издание Энгельса с восхитительными бранными пометками князя Кропоткина. Они удалились в библиотеку.

Надя, прикусив губу, разглядывала фамильный серебряный нож с ручкой в виде русалки, а Чистяков, потяев от вожделения и смущения, вдруг привинулся к ней и неловко обнял за плечи. «Мне не холодно», — спокойно ответила она, удивленно глянула на Валеру и высвободилась. Они посидели молча. В библиотеке что-то тяжко упало на пол. «Полный апофегей!» — вздохнула Надя. «Что?» «Это я сама придумала, — объяснила она. — Гибрид «апофеоза» и «апогея». Получается: а-по-фе-гей...» «Ну и что этот гибрид означает?» — спросил Чистяков, неправомерно тупевший в присутствии Печерниковой. «Ничего. Просто — апофегей...» «Междометие, что ли?» — нагло себе же настаивал Валера. «До чего же доводит людей кандидатский минимум!» — вздохнула Надя и пригорюнилась. Чистяков почувствовал, как по всему телу разливается сладкая обида. В соседней комнате разбили что-то стеклянное.

«Ты думаешь, я не умею врать?! — вдруг горячо заговорила Надя. — Умею! Знаешь, как роскошно я врал в детстве? Меня почти никогда не наказывали — всегда отворачивала. Однажды я была на дне рождения у подружки и сперла американскую куклу, такую потрясающую блондинку, с грудью, попкой — не то, что эти наши пластмассовые гермафродиты. А когда меня застукали, я снова отовралась: сказала, будто бы кукла сама напросилась ко мне в гости... Теперь-то я понимаю, родители боролись за сохранение семьи и я была их знаменем в этой борьбе. А как выпорешь знамя? Но ведь так вели себя родители по отношению ко мне, глупой соплячке. А когда то же самое делается по отношению к взрослым, серьезным людям! Ты что-нибудь понимаешь?» «Не понимаю», — сказал Чистяков и положил на ее колено свою ладонь. Надя терпеливо сняла неугомонную руку, определила ее на собственное чистяковское колено, потом, покосившись на дверь, из-за которой доносился теперь голубиные стоны, сообщила, что у Валерия Павловича нездоровое чувство коллективизма.

Вернулись сладострастники. Воспитательница озиралась расширенными глазами и неверными движениями поправляла растрепавшуюся прическу, а у Желябьева был вид человека, очередной раз проигравшего в лотерею.

Глубокой ночью Валера провожал Надю домой. Шли пешком по проспекту Мира. Ночные светофоры мигали желтыми огнями, и, казалось, они передают по цепочке некое спешное донесение, может быть, о том, как аспирантка Печерникова поставила на место неизвестно что себе воображавшего аспиранта Чистякова.

По дороге Надя рассказывала, что живет в Свиблово, в однокомнатной «хрущобе», вместе с мамульком (почему-то именно так она называла свою мать). Отец, нынче директор здравенного НИИ, ушел от них очень давно, мамулек многие лета изображала из себя эдакую свибловскую Сольвейг, но теперь у нее, наконец-то, начался ренессанс личной жизни, кватроченто... В этой связи планы у Нади такие: выдать мамулька замуж за образовавшегося поклонника, а уж потом и самой заарканить какого-нибудь потомственно-го доцента, вроде Желябьева, и обеспечить себе человеече-

скую жизнь в этом идиотском обществе, которое рождено, чтоб Кафку сделать былью; подарить мужу наследника, а затем уже заняться настоящей личной жизнью — изменять с каждым стройным, загорелым мужиком, катающимся на горных лыжах или, на худой конец, играющим в большой теннис...

Чистяков слушал Надину болтовню и чувствовал в сердце холодную оторопь. Он-то, за свои двадцать семь лет знавший девиц и жен без числа, прекрасно понимал: весь этот легкомысленный попутный щебет — на самом деле вполне серьезное признание в дружбе и одновременно объяснение в любви...

В сентябре, как обычно, поехали «на картошку» в Раменский район, студенты — работать, аспиранты и молодые преподаватели — надзирать за ними. Жили в типовых щелястых домиках, построенных специально для сезонников и прозванных почему-то «бунгало». Каждое утро, в восемь часов, после завтрака, о котором можно было сказать только то, что он горячий, полтора часа студентов под предводительством десятка бригадиров-аспирантов плелись на совхозное поле, чтобы выковыривать из земли и сортировать «корнеплод морковь» — именно так значилось в нарядах. Чистякову поручили руководить ватагой грузчиков — крепких парней-первокурсников, поступивших в институт сразу после армии. Они разрезжали по полю на полторке и втаскивали в кузов гигантские «авоски», набитые «корнеплодом моркови», вызывавшим почему-то у греющихся на солнышке спозаранку пьяных совхозных аборигенов исключительно фаллические ассоциации.

А вечером собирались на ступеньках какого-нибудь «бунгало» и пели под гитару замечательные песни, от которых наворачивались сладкие слезы и жизнь обретала на мгновения грустный и прекрасный смысл.

Чистяков умел играть на гитаре. Давным-давно, когда Валера учился в школе, к ним в класс появился мужичок с балалайкой. Он исполнил русскую народную песню «Светит месяц, светит ясный» и призвал записываться в кружок струнных инструментов, организованный при Доме пионеров. Валера записался, походил на занятия около года и немного выучился играть на балалайке-секунде, а когда через пару лет началось повальное увлечение гитарами, успешно применил свои балалаечные знания к шестиструнке. Правда, собственного инструмента выцыганить у родителей так и не удалось, но сосед по заводскому общежитию имел бренькающее изделие Мытищинского завода щипковых инструментов, при помощи которого они разучивали и исполняли разные песни:

**В белом платье с по-як-ко-ом
Я запомнил образ тво-ой...**

Потом, на первом курсе педагогического института, Валера посещал театральное отделение факультета общественных профессий, руководимое каким-то отовсюду выгнанным, но очень самолюбивым деятелем. Этот режиссер-расстрига бесконечно ставил «Трех сестер» и постоянно грозился сделать такой спектакль, что «все эти творческие импотенты из разных там мхатов сохнут от зависти». Чистяков должен был играть Соленого, а Соленый, в свою очередь, должен был появляться с гитарой, напевая жестокий романс. Соленого Валера так и не сыграл, потому что режиссера погнало за освященное многовековой традицией, но не уважаемое законом влечение к юношам. Зато жестокие романсы петь выучился.

Там, «на картошке», Чистяков не уступал одетым в штормовки, бородастым и хрипатым под Высоцкого первокурсникам. «Валерпальча на сцену! — кричала студентка Кутепова. — Валерпальч, миленький, — «Проходит жизнь»! Ну, пожалуйста!» Чистяков обреченно вздыхал, поднимался на крыльцо «бунгало», брал гитару с еще теплым от чужих рук грифом, пробовал струны, мурмился, качал головой, начинал было настраивать инструмент, а потом вдруг — несколько резких аккордов, и:

**Проходит жизнь, проходит жизнь,
Как ветерок по полю ржи,
Проходит явь, проходит сон,
Любовь проходит, проходит все...
Но я люблю. Я люблю. Я люблю...**

А для аспирантки Печерниковой, совершенно не отличающейся от студенток в своем длинном, почти до колен свитере и модном, по-селянски повязанном платке, Валера каждый божий вечер пел ее любимую вещь:

**Молода еще девица я была,
Наша армия в поход куда-то шла,
Вечерело. Я стояла у ворот —
А по улице все конница идет...**

«Потрясающая точность деталей! — совершенно серьезно, без обычной иронии восхищалась Надя. — Огромная русская армия, растянувшись, ползет через маленький уездный городишко. Вечер, а еще не кончился даже конный авангард! Роскошно, правда?»

В черном холодном небе плыла луна, воздух пах ошеломляющей осенней прелью, и Чистяков пел, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, а душа томится предчувствием единой для всех людей счастливой и безысходной доли:

**Вот недавно — я вдовой уже была,
Четырех уж дочек замуж отдала —
К нам заехал на квартиру генерал,
Весь простреленный, так жалобно стонал...**

«Четырех уж девок замуж отдала! Какая потрясающая точность деталей!..» — передразнивала ехидная студентка Кутепова.

В одиннадцать вечера студентов гнали спать, они, естественно, ерзали, заявляли, что, будучи взрослыми, дееспособными людьми, сами могут решать, когда им ложиться спать, с кем и ложиться ли вообще, что дома они именно так и поступают. Им, разумеется, отвечали, что они не дома, что из-за их ослиного упрямства и ребячества страдает производительность труда, не высыпается бригада и что за нарушение производственной дисциплины можно запросто вылететь из вуза, куда они только-только с таким трудом поступили.

Потом нужно было с фонарями досматривать «бунгало», высвечивать каждую кровать, чтобы в девичьих помещениях не было парней, — и наоборот. Студентка Кутепова, целомудренно закрывшись одеялом до подбородка, во время каждого такого обхода плаксиво объявляла, будто дома не засыпает вообще, пока папа не поцелует ее в лобик, и требовала, чтобы именно Валерпальч был ей «заместо отца родного». Под общий хохот Чистяков целовал ее в пахнущий пудрой лоб, и она тут же прикидывалась спящей.

Уложив студентов, аспиранты и преподаватели собирались в штабном «бунгало», пили чай и вино, валяли дурака, хохотали, а то вдруг начинали до хрипоты спорить о том, например, что означает фраза Чаадаева «Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его враги». Или же разговор уходил в совершенно другую сторону, и аспирант кафедры фольклористики, «сокамерник» Чистякова по общежитию, Юра Иванушкин, старательно акая или окая, рассказывал срамные сказки Афанасьева, пел остросексуальные частушки и однажды уморил общественность, сообщив исконно народную классификацию достоинств мужского имущества: «щекотун» — «запридух» — «подсердечник» — «убивец». С тех пор Иванушкина так и прозвали — Убивец. Он тогда канал под пейзажника и показательно презирал всех, имеющих московскую прописку. «Вам-то, столичным, — причитал Убивец полудурашливо-полусерьезно, — все само в рот лезет. Опять-таки ЦПКиО имени Горького, гастроном имени Елисея, метро имени Кагановича... А попробуйте-ка в школу за десять верст по первопутку побегать... В страну знаний! Волки: у-у-у!» Валера, ходивший в школу через дорогу, в самом деле начинал себя чувствовать зажавшимся барчуком или, как выражаются в армии, человеком Московской области, сокращенно — ЧМО.

Только потом, через год-два, совсем случайно, подмахивая характеристику, он узнал: жил Убивец в приличном районном центре, родитель его работал ни много ни мало директором крупного мясо-молочного комплекса, а мать начальствовала во Дворце культуры. Элита, правда, уездная...

Спать расходились обычно часа в два-три, а в семь уже вскакивали, умывались ледяной водой и, вибрируя от утреннего холода, расталкивали невменяемо-сонных студентов, которые втихаря тоже колобродили всю ночь. И ведь ничего: завтракали и, как выражалась Надя, бодренько отходили в поля, трудились, а вечером все начиналось сначала. А теперь вот посипись вместо положенных восьми часов, скажем, шесть, и целый день скрипишь так, словно тебя палками отвалтузили.

На правах сокафедренника каждую ночь Чистяков провожал Надю до «бунгало», раскланивался и с протокольной учтивостью пожимал на прощанье ее прохладную руку.

Мысль о том, что она снова может одним недоуменным движением освободиться от его вахлацких объятий, заранее втопнула Валеру в краску и парализовывала все желания. Наде в ту пору нравилось изображать увиденную в каком-то идиотском фильме молодую революционную женщину, до безпамятства влюбленную в слово «товарищ». «До свидания, товарищ! — говорила она на прощание понурому Чистякову. — Товарищ, выше голову! Скоро восстановит пролетариат Германии, товарищ!..» Этим все и заканчивалось.

Однажды, кажется, за неделю до окончания сельхозработ, в поле случилось ЧП — внезапно кончилась тара, те самые гигантские «авоськи», только теперь для «кочанной культуры капуста». Материально ответственный начальник совхозного склада запис, жена выгнала его из дому, и он исчез вместе со связкой ключей от сарая, где хранилась тара. Работа встала, студенты разбрелись кто куда, и тогда Чистякова отправили ходоком к начальству в центральную усадьбу, поручив заодно купить аспирину и еще чего-нибудь для простудившейся Надежны Печерниковой.

Валера на попутке добрался до дирекции, устроил там бурю, пообещал посямать с должностей и все спрашивал, где у них тут телефон, чтобы позвонить в обком партии, хотя, честно говоря, в те времена имел смутное представление о том, что это такое, если не считать Надиного выраженьица: «Обком звонит в колокол». Встревоженные буйным аспирантом, все упоминающим священную аббревиатуру, совхозные начальники стали названивать в свое неблагополучное подразделение, подняли всех на ноги — и кладовщик был найден: он спал в том самом сарае на тех самых «авоськах» за дверьми, запечатые снаружи на большой амбарный замок, причем связка ключей мистически оказалась в кармане его телогрейки.

Уладив производственный конфликт, Чистяков заглянул в аптеку, добыл аспирина и горчичников, в сельпо ему «свещали» полкило засахарившегося, похожего на топленое масло меду, а в книжном магазине рядом с автобусной остановкой в свалке произведений писателей-гертруд (так Надя называла Героев Социалистического Труда) он нашел книжечку своего любимого Бунина с несколькими рассказами из «Темных аллея».

В лагере было пустынно, только с кухни слышался смех и запахи подгоревшей гречки: кашеварили первокурсники, которые и яичницу-то толком пожарить не умели. У забора два упитанных серых кота, сблизив морды, зловеще гундели, но не решались начать драку.

Надя, очень серьезная, лежала в постели и читала с карандашом в руке, на ней был свитер, она была бледнее, чем обычно, губы запеклись. Чистяков с больничными предосторожностями скорбно присел на край кровати, положил на тумбочку лекарства, мед и проговорил: «Бедная Надежда Александровна!» «Ничего, товарищ! Я вернусь в строй, товарищ!» — улыбнувшись, отозвалась она охрипшим голосом. «Может, еще чего принести?» — спросил Валера. «Большое вам спасибо, товарищ!» — вымолвила Надя и закашляла. «Пожалуйста», — ответил Чистяков и машинально, проверяя температуру, приложил ладонь к ее лбу, и вдруг ему почувдилось, что Надя не отстранилась, а, наоборот, чуть-чуть даже подалась навстречу его руке. «Тридцать восемь», — пробормотал он и, словно убеждаясь, провел пальцами по ее щеке. — Определенно тридцать восемь...» И тогда Надя, повернув голову, коснулась шершавыми губами его ладони. Чистяков почувствовал в теле какую-то глупую невесомость и склонился к Наде, но она отрицательно замотала головой, отчего ее не скрепленные обычной аптекарской резинкой волосы разметались по подушке: «Нельзя, товарищ... Инфлюэнца!» Даже в такую минуту она дурачилась. Валера ладонями сжал ее лицо и поцеловал прямо в сухие губы. «Не надо же... Войдут!» — прошептала она. Чистяков на ватных ногах прошагал к двери, набросил крючок и вернулся. Под свитером кожа у нее была горячая и потрясающе нежная. «Занавески, товарищ!» — обреченно приказала Надя, и Валера плещащими руками задернул шторы с изображением словов, перетаскивающих бревна. «Товарищ, что вы делаете, товарищ! — шептала она, обнимая его. — Боже мой, в антисанитарных условиях!» Старая панцирная сетка, совершенно не рассчитанная на задыхающегося от счастья Чистякова, гремела, казалась, на весь лагерь. А в то мгновение, когда они стали «едина плоть», Надя прерывисто вздохнула и тихонько застонала...

Через несколько дней, возвращаясь на автобусах в Мокву, сделали в дороге вынужденную остановку: мальчики — налево, девочки — направо. Рядом с Чистяковым пристро-

ился Убивец. «А ты, Чистюля, шустрый мужик!» — сказал он. «Не понял», — отозвался Валера. «Вестимо, — согласился Иванушкин. — Перетрудил головку-то...» Застегнулся и пошел к автобусу.

После этого разговора счастливые обладатели друг друга посоветовались и решили вести себя так, чтобы никто не догадывался об их отношениях, и не потому, что боялись, а просто не хотелось ловить на себе любопытствующие взгляды одряхлевших сексуальных террористов тридцатых годов и слушать их туманные рассуждения про то, что последнюю кафедральную свадьбу играли в 59-м. «Конспирация, конспирация и еще раз конспирация!» — с исторической картавинкой повторяла Надя.

Печерникова и Чистяков церемонно раскланивались, встречаясь возле дверей факультета, на заседаниях кафедры садились в разных углах комнаты, обедали порознь, даже старались на людях реже приближаться друг к другу, ибо в сущности были очень похожи на два металлических шара из школьного опыта: сдвинь их чуть ближе — и грянет молния...

Валера, наверное, совсем потерял бы голову, но ему приходилось постоянно ломать ее над вечным вопросом влюбленного советского человека: «Где?» Очень редко, когда Убивец уезжал в свой Волчеховск к родителям подкарчаться, прасачивались в аспирантское общежитие, но Иванушкин имел пакостную привычку приезжать совсем не в тот день, в какой обещал заранее, поэтому следовало быть начеку, а это, как известно, не способствует. Воротясь с большой спортивной сумкой, полной жратвы, Убивец щедро угощал Чистякова и, глядя, как тот ест, задумчиво рассуждал о том, что научные работницы, должно быть, очень темпераментны, потому что ведут сидячий образ жизни и кровь у них застаивается в малом тазу. Валера, уминая чудную колбасу, которая, по словам Убивца, прямо с папашиного комплекса идет на стол членам Политбюро, не моргнув глазом отвечал, что по этой теории самыми сексуальными являются сотрудницы сберегательных касс. «Почему?» — удивлялся Иванушкин. «Потому что деньги вообще возбуждают», — отвечал Чистяков. «Вестимо», — соглашался Убивец и, нагнувшись, подбирал с пола оброненную Надину шпильку.

Иногда бог посылал ключи от чьей-то временно пустующей квартиры, и Валере нравилось, как тщательно всякий раз Надя прибирается перед возвращением хозяев, стирая малейшие следы их великой и простой дружбы, точно сами хозяева и не догадываются, зачем оставляют ключи двум молодым влюбленным пингвинам. И только в самых исключительных случаях, когда молния готова была жажнуть среди бела дня в многолюдном месте, они ехали в Надину «крущобу» и полноценно использовали те два часа, которые мамулек проводила со своим новым спутником жизни в синематографе. Это у них называлось «скоротечный огневой контакт», как у Богомолова в «Августе сорок четвертого».

Надя очень любила всему, в том числе и самому-самому, придумывать смешные прозвища и названия, из чего постепенно и складывался их альковный язык: нельзя же размножаться, как винтики, молчаливой штамповкой! Так, например, осязаемое вождение Чистякова именовалось — «Голосую за мир». Упоительное совпадение самых замечательных ощущений получило название «Небывалое единение всех слов советского общества», сокращенно «Небывалое единение». Последующая физическая усталость — «Головокружение от успехов», регулярные женские неприятности — «Временные трудности», а различного рода любовные изыски — «Введение в языкознание».

Однажды мамулек вкупе с другом жизни на целый день уехала в Загорск — приобщаться к благостыне истинной веры. Наши герои-любовники, естественно, решили воспользоваться такой редкой возможностью и с комфортом разучить доставшийся им на два дня индийский трактат «Цветок персика» в красочном штатовском издании с картинками и установочными рекомендациями. Но вот в момент «небывалого единения» внезапно раздался звук отпираемой двери и послышались голоса в прихожей. «Опять что-нибудь забыла! — простонала Надя и, набрасывая халат, распорядилась: — Будешь знакомиться! Я их задержу...»

Торопливо и бестолково одеваясь, Чистяков слышал, как за дверью мамулек повестует о том, что на Ярославском вокзале случилась совершенно непонятная трехчасовая пауза между электричками и что в Загорске они решили поехать на будущей неделе, а сегодня посидеть просто дома. Надя пыталась внушить им, что существует еще, например, Коло-

менское, куда можно добраться на метро, работающем бесперебойно... Держать мамулька и ее друга жизни в прихожей дольше было неприлично, дверь начала медленно приоткрываться, одевшийся Валера заранее изобразил на лице радость знакомства с родственниками девушки, за которой имеет счастье ухаживать, а в руки, чтобы скрыть дрожь и волнение, машинально взял «Цветок персика». На супере красовалась цветная фотография юной индийской пары, заплетенной в некий непонятный сладострастный узел. «А это — мой коллега Валерий Павло... — светски начала Надя, но, увидев обложку, осеклась и, давась от хохота, смогла добавить только одно слово: — Апофегей!»

* * *

Профессор Желябьев добил воображаемого идейного противника большой ленинской цитатой и под ровный аплодисмент зала сошел с трибуны.

— Спасибо, Игорь Феликсович! — державно улыбнувшись, сказал Бусыгин и несколько раз энергично ударил в ладоши, показывая залу, как нужно благодарить докладчика за интересное выступление.

«Ковалевский, конечно, тоже воздал бы должное докладчику, но сначала глянул в программу сверить имя-отчество, а этот на память шпарит, душегуб!» — подумал Чистяков, мгновенно возвращаясь из Надиной «хрущобы» в большой зал ДК.

«Я очищу район от всей коррумпированной дряни! — Эти слова БМП произнес сразу после своего прихода, на первом же бюро райкома партии.— Кто не хочет работать по-новому, пусть уходит сам. Сам! Когда за дело возьмусь я, будет поздно...» Чистякова коробила даже не показательная жестокость нового шефа, странная для нынешнего поколения аппаратчиков, а святая уверенность Бусыгина в своем праве определять тех, кто нужен, и карать тех, кто не нужен. Словно прибыл БМП не из подмосковного городишка, где, извините, та же Советская власть со всеми ее достопримечательностями, а из некоего образцового царства-государства, эдакого Беловодья, которое сам создал и которое дает ему право учить прогнивших столичных функционеров уму-разуму...

«А может быть, — размышлял Валерий Павлович, — нас просто всех порешили убрать, вроде того как меняют поколения компьютеров или телевизоров? Такое уже было... А для удобства прислали эту, как точно выразился дядя Мушковец, машину для отрывания голов. Но почему же тогда просачиваются слухи, будто у БМП напряглись отношения с благодетелем и однокашником, посадившим его в райком? Что это? Надерзил по врожденной хамовитости или приобрел слишком большую популярность? Народу ведь нравится, когда летят головы, люди и бокс-то любят за то, что на ринге кого-то лупят по морде, кого-то, а не тебя... Или совсем другое: Бусыгин сам запускает дезу, чтобы расшевелить и выявить прикинувшихся друзьями врагов?.. Впрочем, нет, для него это слишком тонко...»

— Проснись и послушай! — Мушковец толкнул Чистякова в бок. Валерий Павлович очнулся и напряг плечи.

— Вот поэтому-то, — вещал БМП, — я и попросил профессора Желябьева написать свой доклад так, как подсказывает ему партийная совесть, и не показывать никому, даже секретарю райкома. А то, знаете, начеркают, насовеют, люди потом слушают и ничего не понимают...

Зал захлопал. И докладчик пробирался на свое место в президиуме сквозь бесчисленные поздравительные рукопожатия. Желябьев всегда отличался нервической интеллигентской дисциплинированностью: приказывали — бегал согласовывать каждое слово, приказали быть самостоятельным — выполнил. Только откуда знать Бусыгину, что вчера вечером Игорь Феликсович тайно звонил Чистякову и слезно умолял посмотреть докладец хотя бы по диагонали, так, на всякий случай...

— Итак, — продолжал БМП, — научная база для серьезного разговора у нас имеется. Хорошая база. Без науки мы сегодня никуда. А носитель опыта — человек, конкретный человек! Вот давайте людей и послушаем. Разучились мы, по-моему, за последние годы людей-то слушать!..

Зал снова зааплодировал. Начались прения. Первым выступил директор Дворца культуры завода имени Цюрупы. У них там в актовом зале недавно вдребезги грохнулась большая хрустальная люстра, висевшая с прошлого века. Так вот, оратор сравнил падение культурных запросов трудящихся с падением этой самой люстры. Всем очень понара-

вилось, и Бусыгин, пошептавшись с Иванушкиным, сделал какую-то пометку в блокноте. Хмурый официант, похожий на огромного стрижа, менял стаканы с теплым чаем, менялся на трибуне и люди.

Наконец объявили перерыв, и участники конференции метнулись к буфетным стойкам и лоткам книготорга, а президиум проследовал в комнату за сценой. Там в отличие от недавних времен не было севрюжно-икорного разврата, но имелись бутерброды с югославской ветчиной и крепкий чай. Бусыгин нехорошо обвел взглядом стены, оббитые темным деревом, мягкую финскую мебель, задержался на авторской копии известной картины «Караул устал», усмехнулся и бросил:

— Прямо-таки апартаменты...

— Стараемся, Михаил Петрович, — по-китайски закивал головой директор ДК.

— Оно и видно, — не по-доброму согласился БМП, надломив правую бровь. — Умеет столица жировать! всю страну прожрет и не заметит...

Сказав это, Бусыгин подошел к столу, положил в чай один-единственный кусочек сахара и стал прихлебывать, не притронувшись к бутербродам. Остальные последовали его примеру. Мушковец постарался очутиться вблизи первого секретаря и, воспользовавшись случаем, завел разговор о задуманной вместе с Чистяковым серии мероприятий под условным названием «День рождения дома». В двух словах: молодые ребята из неформального объединения «Феникс» по субботам и воскресеньям восстанавливают ветхий жилфонд, имеющий историко-культурную ценность, а потом вокруг как бы возрожденного из пепла здания устраиваются народные гуляния с выступлением фольклорных и роковых ансамблей, лекциями краеведов, продажей прохладительных напитков и выпечки. БМП кивал, но лицо его было непроницаемо.

— Понимаете, Михаил Петрович, — канючил Мушковец, — на каждом таком доме теперь будут две мраморные таблички. Обычная: построен... архитектор... охраняется государством... И наша, особенная: дом восстановлен тогда-то, такими-то ребятами...

Не дослушав Василия Ивановича и даже ничего не сказав, Бусыгин вдруг широко распахнул объятия, дружественно заулыбался и пошел навстречу шупленькому пареньку-«афганцу», который наконец-то решился съесть бутерброд и от неожиданности уронил его на скатерть. Стакан чая из рук первого секретаря ловко перехватили, он крепко обнял «афганца», похлопал по спине и начал расспрашивать, когда тот воевал, ранен ли, за что получил «Красную Звезду», как идет жизнь, нет ли проблем? Проблемы были: парень недавно женился, обзавелся ребенком, а жить негде...

БМП оглянулся на Мушковца и со словами: «Ну-ка, птица Феникс, лети сюда!» — поманил его пальцем.

Когда через минуту-другую Василия Ивановича отослали прочь и он обреченно подошел к Чистякову, лицо зампреда исполкома было покрыто сиреневыми пятнами.

— Все понял? — тихо спросил он и начал нервно поедать бутерброды.

— Понял, — кивнул Валерий Павлович, отлично знавший, что в районе десятки неустroенных «афганцев» и что проблема эта не решится, даже если Мушковца прилюдно расстреляют в скверике перед райкомом партии.

— Надо катапультироваться! — промямлил набитым ртом Василий Иванович. — Теперь пора — по белой нитке ходим!

— Нашел что-нибудь?

— Да так... Тебе тоже советую. Не слушал дядю Базиля. Сейчас бы шнырк на кафедру и отсиделся в науке!

Уже много лет опытный Мушковец твердил Чистякову, что тот делает огромную ошибку, не работая над докторской диссертацией, ибо кандидатов нынче столько развелось, плюнь за окно — попадешь в кандидата. Но легко сказать: защищайся! А если к концу рабочего дня в голове полумертвая мешанина да одно-единственное желание — доползти домой и смыть скорее с лица это изматывающее выражение доброжелательной заинтересованности и государственной озабоченности. И если вместо того, чтобы выпить свои законные двести граммов, без чего Чистяков уже много лет не засыпает, а потом расслабиться у камина или телевизора, каждый божий вечер садиться за книги, то однажды тебя выведут из Исторички тупо улыбающимся и завернутым в смирительную рубашку. Кстати, о камине... Это была совершенно идиотская, застойная выходка: в городской квартире! со спецдымоходом!! в счет капремонта!!! И ведь

Чистяков как чувствовал, до последнего отнекивался, мол, и с батареями не мерзну, а Мушковец стыдил, настаивал, других приводил в пример. БМП наверняка уже все знает, но помалкивает, потому что погреться у живого огонька захотелось не только Валерию Павловичу, и пока его теплолюбивые соседи будут сидеть на своих должностях, все будет тихо...

— Пойду прогуляюсь в фойе,— сообщил Чистяков и поставил стакан.

— К этой? Не ходи! — взмолился Василий Иванович.— Валера, я тебя прошу!..

Направляясь к двери, Чистяков лицом к лицу столкнулся с профессором Желябьевым, который даже поперхнулся чаем, сообразив, что вот сейчас прямо на глазах Бусыгина опальный секретарь может по старой дружбе обнять основного докладчика или в лучшем случае шумно поздравить его с прекрасным выступлением. И, как бы подтверждая эти опасения, Валерий Павлович немного замедлил шаг, но, увидев на потоптываемом профессорском личике смертельный испуг, презрительно усмехнулся и прошел мимо.

В фойе люди разминались перед новым двухчасовым сидением. Одни с недоумением разглядывали товар, только что сгорая схваченный в околоприлавочной толчее, другие, собравшись группками, обсуждали ход конференции и очень хвалили Бусыгина.

Сквозь толпу активистов Чистяков продвигался медленно, многие знали его в лицо, бросались навстречу, тискали руку, он допускал, но любые попытки на ходу решить какой-нибудь горячий вопрос пресекал в корне: иначе до заветного стенда не добраться никогда. «Не-ет, люди меня знают, уважают! — думал секретарь райкома, чуть морщась от очередного крепкого рукопожатия.— Не-ет, мы еще поборе-мся!» Впрочем, краем глаза Чистяков заметил, что некоторые вхожие в райком низовые деятели, еще недавно кидавшиеся к нему с сыновней преданностью во взоре, подходят и здороваться не стали... «Вот она — желаябьевщина!» — вздохнул Валерий Павлович и с гордостью припомнил, как сам он все-таки зашел в кабинет к «освобожденному» Ковалевскому проститься. Правда, зашел поздно вечером, когда в райкоме, кроме дежурного милиционера и шоферов, никого не осталось...

Надя Печерникова стояла возле стенда и, казалось, внимательно рассматривала диаграмму роста количества культурных учреждений в районе с 1917 года по настоящее время. С абсолютного нуля кривая взмывала вверх, потому что еще совсем недавно на месте Краснопролетарского района стояли там и сям деревеньки, а божьи храмы диаграммой не учитывались.

Чистяков не видел Надю больше десяти лет, с того самого вечера, когда они на квартире Желябьева отмечали защиту чистяковской диссертации. Валерий Павлович почему-то готовился увидеть поблекшую, ярко накрашенную даму, которая, гримасничая увядшим лицом, будет намекать на их прошлые отношения, а потом что-нибудь обязательно попросит. Друзья молодости к нему просто так давно уже не ходят. И еще ему представлялось почему-то, что Печерникова непременно растолстела, оплыла и приобрела тот наступательный вид, какой замечалась у людей, хорошо поработавших в школе или правоохранительных органах.

Но Надя почти не изменилась. Только вместо стянутого аптечной резинкой хвостика была модная короткая стрижка, а вместо затертых вельветовых джинсов — хороший темно-серый костюм, вроде тех, что были недавно в райкоме на выездной торговле: юбка, жакет и тонко подобранный легкий шарфик. Присмотревшись повнимательнее, Чистяков отметил, что она похудела, научилась интересно пользоваться косметикой, а глаза ее, прежде вызывающе несерьезные, погрустнели... И еще в ней появилась та очевидная замужня строгость и недоступность, которая делает совершенно нелепыми и даже кощунственными воспоминания о том, будто некогда эта же самая женщина без сил лежала рядом с тобой на влажных от любви простынях и шептала тебе на ухо какую-то нежную и счастливую чепуху...

— Здравствуй, товарищ! — неожиданно для себя заговорил Чистяков.— Сколько же лет мы не виделись?

— Здравствуйте, Валерий Павлович,— тихо ответила Надя и протянула руку — пальцы у нее были такие же хрупкие и прохладные.

— А я записку получил и все тебя в зале высматриваю... — смутился Чистяков, чувствуя, что по привычке заговорил так, как если бы оказался в заводском цеху или на

строительной площадке во время плановой встречи с рабочим классом.

— Мы сидим на балконе,— объяснила Надя.

— Понял. Как жизнь? В школе работаешь — сеешь разумное, доброе, вечное?

— Доброе...

— Как супруг? Олег... Правильно? — энергично спрашивал Чистяков, злясь на себя за то, что теперь впал в стиль вечера встречи выпускников.

— Правильно. У мужа вышла книга. В прошлом году...

— Молодец — настырный мужик! А вот ты, товарищ, науку зря забросила. На кафедре долго не могли поверить, что Печерникова сбежала! Заславский все твердил, что ты самая талантливая его аспирантка. А Заславский, царствие ему небесное, как Собакевич, мало кого хвалил... — Чистяков все говорил, а сам ждал, когда же она, наконец, ободренная этими теплыми воспоминаниями о давних временах, решится и выложит свою просьбу. «Очень интересно, что она попросит. Просто очень интересно!» — думал Валерий Павлович, а вслух продолжал: — И Желябьев, основной наш докладчик, тоже тебя недавно вспоминал. Надумаешь вернуться в большую науку — поможем...

— Не до науки, Валерий Павлович,— ответила Надя.

— Дети? — понимающе улыбнулся Чистяков и почувствовал внезапно горькую обиду, которую сам себе объяснил так: как кошки, понародят ораву на двадцати метрах, а потом решай им жилищный вопрос — «афганцев» селить некуда!

Надя кивнула и прикусила губу, но не так, как раньше, чтобы скрыть ненужную улыбку, а совсем по-другому...

— Сколько же вы с Олегом настрогали? — усмехнулся Валерий Павлович.

— Сын... — вымолвила Надя, и по ее щекам покатались слезы. — Один... У него ХПН в терминальной стадии... И он совершенно не переносит гемодиализа...

— Не понял... Что? — оторопел Чистяков.

Оказалось, у Надиного сына хроническая почечная недостаточность в практически безнадежной стадии. Спасение одно — гемодиализ, регулярная перегонка, очищение крови через специальные фильтры. Но ребенок неизвестно почему от этих процедур просто чихнет на глазах, кости стали такие хрупкие, что за последний год трижды ходил в гипсе. Врачи в один голос говорят: трансплантация! А очередь на пересадку в Нефроцентре, который находится в Краснопролетарском районе, расписана на полтора года вперед и, главное, почти не движется из-за отсутствия донорских почек.

— Сочувствую... Надо подумать... Ну, не плачь, пожалуйста... — бормотал Чистяков, а сам горько жалел, что не пришла она к нему полгода назад, при Ковалевском, когда Валерий Павлович решил бы этот пустячный вопрос одним звонком в партком Нефроцентра, да еще с прибауточками, с аппаратным матерком. — Где же ты раньше была, товарищ?

— Мы добивались... Мы писали... А там все без очереди идет. Если он умрет, я сойду с ума...

— Прекрати! — твердо приказал Чистяков.— Нерешаемых вопросов не бывает. Давай встретимся в следующем перерыве здесь же. Выше голову, товарищ!

— Правда? — переспросила Надя и посмотрела на него почти так же, как в тот давний день, когда он принес ей в «бунгало» лекарства и мед. А может, ему и показалось.

...После перерыва первым выступал ветеран труда, потомственный хлебопек, и очень жаловался, что поэты и композиторы до сих пор не написали ни одной песни о людях, регулярно доставляющих к нашему столу свежий душистый хлеб.

— Что же это получается — хлеб есть, а песен нет? — улыбнувшись, поинтересовался Бусыгин и шутливо погрозил пальцем сидевшему в первых рядах и представлявшему на конференции творческую интеллигенцию известному композитору, а тот в ответ многообещающе закивал: мол, сделаем!

— По белой нитке ходишь, Валера! — наклонившись, проговорил Мушковец. После перерыва он не стал отсаживаться от Чистякова, видимо, рассчитав, что в таком случае факт их временного соседства станет еще заметнее. — Чего она от тебя хочет?

— Мы вместе учились в аспирантуре,— ответил Валерий Павлович.

— Тер ее, небось, по молодому делу? — осклабился Василий Иванович.

— Пошел к черту! — рассердился Чистяков.— Пацан у нее умирает. Почки. Пересадка нужна...

— Так я и знал, — поскуцнел Мушковец. — БМП Нефроцентр лично на контроле держит. Договорались, мазурики!

Чистякову не нужно было объяснять, насколько трудно, невозможно выполнить сегодня Надину просьбу. Состоялось специальное заседание бюро райкома партии, на котором поперли из рядов заместителя директора и вlepили строгача секретарю парткома Нефроцентра за нарушение порядка госпитализации и очередности оперирования больных. Директор Нефроцентра своевременно перешел на другую работу, прислали нового — принципиального до тупости. Думали, этим кончится, так нет: по просьбам трудящихся пригнали жуткую комиссию, начали копать глубже, и всплыли факты чудовищных взяток (не последний человек в этом мире, Валерий Павлович даже не представлял себе, что бывают такие деньги!) — в общем, для нескольких граждан в белых халатах дело запахло совершенно иной спецедеждой.

Еще на том, разоблачительном бюро Бусыгин сказал, что берет под личный контроль «этот опозорившийся Нефроцентр» и будет зорко следить за тем, чтобы исключения, без которых, увы, наша жизнь пока еще невозможна, делались действительно в исключительных случаях. Обратиться к БМП с нижней просьбой поспособствовать госпитализации сына одной знакомой — значило тут же, на ковре, получить оскорбительный, грубый отказ, а такого в своем нынешнем положении позволить себе Чистяков не имел права, ведь отказ — очень удобный способ проверить, твердо ли стоит на ногах тот, кто просит. Сумеет настоять, надавить, решить через голову — значит, твердо и с ним нужно считаться. Не сумеет...

* * *

Профессору Заславскому позвонили из толстого журнала и попросили порекомендовать кого-нибудь, кто мог бы написать развернутый отклик на «Малую землю», и он порекомендовал аспиранта Чистякова. Валера начал было отнекиваться, но ему ясно дали понять, что это — задание кафедры. Отклик сочинили вместе с Надей, лежа в постели, в паузах между небывальными единениями, благо Убивец отъехал за харчами. Пили сухое вино и хохотали как сумасшедшие, потому что текст наговаривали, подражая заплетавшейся брежневской дикции. Надя придумала гениальную концовку: «Если в сердце твоём поселились сомнения, если душа ослабела в творческом полете, а тело устало в созидательном труде, — поезжай на эту опаленную огнем великую «Малую землю», где сражался отважный политрук. А не можешь поехать, сними с полки эту небольшую книгу, которая — лучше и не скажешь — «томов премногих тяжелей».

Отклик напечатали за подписью Чистякова, заменив слово «сомнения» на слово «уныние», и выплатили гонорар шестьдесят четыре рубля 37 копеек. Надя сказала, что деньги эти подхалимские и что у них есть единственный способ загладить свою вину перед историей — гонорар срочно пропить! Сначала они роскошествовали в ресторане «Узбекистан», потом перебрались в кафе-мороженое, а в завершение, купив на сдачу бутылку шампанского, поехали к хорошим знакомым, где их давно уже воспринимали как законную пару, — и там куролесли до глубокой ночи.

Наконец им постелили на кухне: головами они касались теплой батареи, а ногами — холодной эмали холодильника, шумно вздрагивавшего через равные промежутки времени. Хмельной и размякший, Валера страстным шепотом клялся Наде в любви и описывал свои чувства с такой бессовестной восточной цветистостью, что «единственная и судьбой посланная» смеялась, предлагала даже разбудить хозяев, чтобы были свидетели, но сама при этом гладила Валеру по волосам и прижимала его голову к своей груди. «Надя! — вдруг сказал Чистяков. — Давай поженимся!» Но в этот самый момент холодильник прямо-таки подпрыгнул на месте и завибрировал с необыкновенным грохотом...

Мамулук с другом жизни уехала в дом отдыха по бесплатной профкомовской путевке, и наши любострастники, ставшие, как выразилась Надя, счастливыми обладателями однокомнатной явочной квартиры, довели себя до полного головокружения от успехов. На очередном заседании кафедры профессор Заславский долго разглядывал совершенно одинаковые круги под глазами у двух сидящих в разных концах комнаты и почти не разговаривающих между собой аспирантов. «Надежда Александровна, голубушка, — наконец с укором спросил он. — О чем вы все время мечтаете?» «Что?» — встрепенулась Надя. «Понятно...» — вздохнул профессор.

Однажды на явочной квартире они лежали в состоянии глубокого энергетического кризиса, и Чистяков с расслабленным недоумением сообщил Наде, что его срочно вызывают в партком. Она пропустила эту информацию мимо ушей, потому что вообще относилась к руководящей силе общества с вызывающим пренебрежением. А Валера-то не однажды наблюдал, как увенчанные сединами и почетными званиями мастодонты науки, ворочающие в уме целыми историческими эпохами, на худой конец — периодами, входя в аудиторию, где назначено партсоборание, сразу превращались в кучку нашкодивших соискателей, которых может учить жизни любой взгромоздившийся на трибуну инструкторишка, еще год-два назад с трепетом протягивавший им — мастодонтам — свою зачетную книжку, униженно кланя «удик». Но вся штука заключается в том, что он, инструкторишка, уже прочитал проект готовящегося постановления бюро райкома партии, чего мастодонты не читали. А кто знает, что там, в этом постановлении? Может быть, решили подкрутить гайки и проверить политическую зрелость профессорско-преподавательского состава кафедры истории СССР педагогического института?! Но что есть политическая зрелость? Сегодня, скажем, договорились считать политически зрелыми блондинов, завтра, наоборот, brunetов, послезавтра рыжих... А вот этот самый инструкторишка, он-то как раз и знает еще не выпавшую, грядущую масть!

«Ну что ты ворочаешься? — рассердилась Надя. — В суд тебя, что ли, вызывают?» «Лучше бы в суд... — вздохнул Чистяков. — Меня Желябьев на факультетском собрании за безынициативность критиковал...» «Твой Желябьев — сексуальный маньяк, а ты...» «Что я?» «Ты... Послушай, Валера, — вдруг совершенно серьезно проговорила Надя, — может, ты свой партбилет потерял? Ты давно его последний раз видел?» «Позавчера. Я взносы платил...» — посерел Чистяков и метнулся к пиджаку, повешенному на спинку стула. Билет с вложенной в него аккуратной промокашкой была на месте. «Ты, Чистяков, станешь большим человеком, — грустно предсказала Надя. — У нас любят пугающих...»

Разобидевшийся Валера вскочил и стал одеваться. «Это разрыв?» — тоскливо спросила Надя, но он ничего не ответил, а только засопел в ответ. «Все кончено, меж нами связи нет!» — трагически продекларировала она. — Валера, если это разрыв, то можно обратиться к тебе с последней просьбой?» «Можно», — сквозь зубы ответил Чистяков. «Валера, переодень, пожалуйста, трусы! Они у тебя наизнанку...» Чистяков захохотал первым, но обиды осталась.

В партию Валера вступил в армии, потому что служил нормально, свою специальность вычислителя освоил, офицером не хамил, в праздники со сцены полкового клуба пел под гитару песни военных лет или декламировал стихотворение «Коммунисты, вперед!»:

Есть в военном уставе такие слова,
На которые только в тяжелом бою,
Да и то не всегда получает права
Командир, подымающий роту свою...

Однажды после развода секретарь полкового парткома майор Мищенко вызвал Валеру из курилки, приказал застегнуть воротник, поправить ремень, критически посмотрел на его ефрейторскую лычку, а также значок классного специалиста и спросил, не думает ли Чистяков о вступлении в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Мищенко нажал почему-то именно на слово «коммунистической», словно был еще какой-то выбор. Валера с врожденным тактом запел, что о такой чести даже и не помышлял. Майор с удовлетворением выслушал и, в свою очередь, подчеркнул: партийный билет не только большая честь, но прежде всего огромная ответственность. Одно дело — читать стишки со сцены, и совсем другое дело — быть впереди в ратном труде. Валера покорно кивал и понимал, что отказаться нельзя — просто не поймут, согласишься — весь оставшийся год, когда «старичку» надо бы отдохнуть и со вкусом подготовиться к «дембелю», пробегаешь, как последний салябан, оправдывая высокое доверие. Мищенко приказал Чистякову прибыть в партком и заполнить фиолетовыми чернилами все необходимые формы «согласно вывешенных образцов». И еще он приказал начиная с завтрашнего дня читать «Правду» от корки до корки.

Вместе с Валерой кандидатом в члены вступал молоденький лейтенант, недавно пришедший из училища: видимо, Мищенко получил разнарядку на солдата и офицера. Правда, лейтенантик отселялся на дивизионной парткомиссии —

не смог ответить, что произошло давеча на Багамских островах. Он начал было что-то крутить о борьбе национально-освободительных сил Багам с засильем транснациональных монополий, выступающих в союзе с местной феодальной знатью и крупной буржуазией, но его резко оборвали: «Правду», товарищ лейтенант, нужно читать!» Оказывается, на Багамских островах произошло извержение вулкана, в результате чего погибли несколько рыбаков и американский военный служащий.

Получив кандидатскую карточку, Чистяков был вскоре произведен в младшие сержанты, потом в сержанты и до увольнения в запас неизменно избирался в президиум на комсомольских собраниях роты. А вместо лейтенантских приняли в партию тихого сверхсрочника Кулика из города Николаева, куда майор Мищенко два отпуска подряд выезжал на отдых со всей семьей и гостил в большом доме Куликовых родителей.

Еще до армии, сразу после десятого класса, Валера поступил на истфак пединститута. На экзамене по специальности ему повезло: он вынул билет, который знал так, что от зубов отскакивало. Но экзаменаторы слушали его вдохновенный рассказ о походе Раина за зипунами с брезгливым равнодушием и в результате поставили гибельную четверку, заметив: «Бойко, но поверхностно». Глубоким, видимо, оказался ответ сдававшего перед Валерой расфуфыренного дебила, тот спотыкался на каждом слове и все время забывал, на какой вопрос отвечал, но получил «отлично». В общем, как в анекдоте: выходит ректор к возмущенным абитуриентам и говорит: «Товарищи, экзаменов не будет!». Ему орут: «Почему?!» А он отвечает: «Потому что все билеты проданы!»

Когда же сразу после армии Чистяков прибыл на собеседование в приемную комиссию того же самого пединститута, к нему отнеслись, просмотрев анкету, совершенно по-другому. «Современной школе,— сказали,— очень нужны мужчины, тем более молодые коммунисты!». И поставили на анкету какую-то закорючку. Экзамены Валера сдал, сам не заметил как. Его не только зачислили в институт, но, учитывая стесненные жилищные условия в семье, в порядке исключения дали место в общежитии, предупредив, между прочим, что на него имеются дальние виды в смысле общественной работы.

Но тут-то и произошел сбой. В общежитии проживал некто Шуленин, как это ни странно, студент филологического факультета, у которого была странная привычка в минуты дурного настроения вламываться в первую попавшуюся комнату и бить морду любому подвернувшемуся под руку собрату по альма-матер. Про эту особинку Шуленина каждому вновь прибывшему на жительство первокурснику рассказывали с той эпической обстоятельностью, с какой осведомляют о местоположении туалета, графике работы душевых комнат и буфета...

И вот однажды начинающий историк Чистяков, воспользовавшись отсутствием троих своих соседей, гудевших на четвертом этаже у девчонок, сидел, склонившись над столом, и с горделивым прилежанием, улетучивающимся обычно сразу после первой сессии, готовился к семинару по преддевятическому курсу. Вдруг с грохотом распахнулась дверь, и на пороге, словно в фильме ужасов, возник страшный в своем беспричинном гневе Шуленин. Теперь, пожив и понаблюдав людей, Чистяков мог с определенностью сказать, что у налетчика было какое-то нервное заболевание, выражавшееся прежде всего в буйной реакции на самые незначительные дозы алкоголя. Шуленин подошел к столу, сбросил на пол настольную лампу и, kloкоча от ненависти, спросил: «Учишься, гадина?» «Учусь»,— миролюбиво ответил Валера, встал и сбил психического гостя с ног ударом в челюсть. Для грозы общежития все это было очень неожиданно, потому что обыкновенно его жалобно просили уйти, не брать греха на душу, и, нападая, он, по сути, не готовился к настоящей схватке. Но сказало еще и то, что в армии, особенно на первом году, Валере приходилось драться почти каждый день, и он приобрел некоторые доведенные до автоматизма навыки. Когда же, рыча и отплеываясь, Шуленин начал подниматься с пола, Чистяков размахнулся, точно молотобоец с первого советского серебряного рубля, и «ахнул» неприятеля по загривку сложенными вместе кулаками. Оставалось только перегрудить бесчуживное тело за порог и закрыть дверь.

Но, как говорится, «кумир поверженный — все бог!». Слух про то, что ужасного Шуленина отделал какой-то сопливый первокурсник с истфака, оказавшийся просто мон-

стром рукоприкладства, пошел гулять по этажам и комнатам, дошел до совета общежития, рассматривался на очередном заседании, оттуда переключался в деканат и комитет комсомола института, а там сидели люди, которым, вероятно, ни разу в жизни не приходилось получать в глаз без всякой на то причины. Они постановили, что Чистяков превысил необходимые меры самообороны, зарекомендовал себя драчуном, а с такой репутацией о серьезной общественной работе и думать нечего. В результате членом институтского комитета комсомола стал Юра Иванушкин, принявший незадолго до этого две чудовищные шуленинские затрещины с подлинно христианским смирением. Но с Убивцем Валера близко познакомился много позже, когда они оказались соседями в аспирантском общежитии.

Судьба Шуленина тоже любопытна. Он не то чтобы по-притих, но комнату, где жил Чистяков, обходил стороной, а на майские праздники выпал из окна четвертого этажа и грохнулся в цветочную клумбу. В больнице, очевидно, потрясенный полетом, он начал писать стихи, тонкие, нежные, по-хорошему чудоватые, перевелся в Литературный институт, и недавно Валерий Павлович видел в книжном магазине его новый сборничек — «Прогулки по дну бездны».

Разминувшись с большой общественной карьерой и очень этим довольный, Чистяков трудился в факультетском научно-студенческом обществе, являясь при этом заместителем командира добровольной народной дружины, и однажды лично задержал бежавшего из мест заключения опасного рецидивиста, который напился и уснул на лавочке возле детского кинотеатра.

Что еще? На втором курсе Валера влюбился в шикарную девушку по имени Лиза Рудичева, одевавшуюся так, что, увидав ее, дамы-преподавательницы поджимали губы и отводили глаза. Чистяков, все еще ходивший в своем единственном сереньком костюмчике, купленном к школьному выпускному вечеру, а в качестве альтернативного варианта имевший синие брюки, пошитые из офицерского отреза, и зеленый свитер, связанный матерью по модели из журнала «Крестьянка», шикарных женщин робел и чурался. Пока он собирался с духом и средствами, подрабатывая на почте, за Лизой стал ухаживать хлыщеватый мгимощник, подкатывавший к разваливающемуся флигелю истфака на темно-кофейной «трешке». Лиза выходила к нему, царственно садилась в машину, подставляла щеку для ленивого приветственного поцелуя и черным пристяжным ремнем перечеркивала все Валерины надежды. Весенне-летней сессии Рудичева сдавала под другой, мужниной, фамилией и, затрудняясь с ответом на вопрос, не строила уже преподавателям глазки, но скорбно опускала их на выпиравшее под платьем плодоносное чрево.

Нельзя, конечно, сказать, что Чистяков влюбился в Лизу, будучи совершенным будденброком в сексе. В общежитии, как выразился один преподаватель на разборе очередной аморалки, царил «раблезианский» нравы, имелась компания общедоступных девиц (в основном почему-то с инфака и факультета физкультуры), которые слетались по первому зову, сами приносили выпивку да еще норовили остаться ночевать, совсем не смущаясь того, что на остальных трех койках храпят соседи. Была одна вообще странная «лялька» по прозвищу «Карусель», любившая пропутешествовать за ночь по всем четырем кроватям. После окончания инфака она стала профессиональной путанкой, пользовалась ошеломительным успехом, особенно у посланцев третьего мира, а совсем недавно заявила к Чистякову на прием и просила помоч с жильем: детей у нее трое, и все разного цвета...

Это «раблезианство» Валере быстро наскучило: надоело по утрам выгонять из комнаты капризничавших помятых девиц, осточертело являться в институт ко второй паре, лежать в туманной голове единственную мечту о кружке пива, утомили ночные студенческие споры до хрипоты, в которых иногда удавалось с блеском доказать, что твой оппонент еще больший дурак и невежа, нежели ты сам. Валера решил учиться, учиться и учиться, потом поступить в аспирантуру и стать научным работником, даже доцентом. Осуществлении своего плана он занялся серьезно и с настырностью паренька из заводского общежития. Чистяков смутно чувствовал: тот факт, что смолоду ему приходилось стоять в очереди в уборную, дает ему некие, еще самому не понятные преимущества в борьбе за существование.

На пятом курсе Чистяков считался готовым аспирантом, написал работу, занявшую второе место на республиканском конкурсе, успешно руководил факультетским научным сту-

денческим обществом. Однокурсники женились, разводились, уходили в академические отпуска, мучились смыслом своей двадцатидвухлетней жизни, записывали горькую или, разинув рты, сидели на диссидентских сходках, а Валера, прозванный Чистюлей, гнул свою прямую линию. Однажды по какой-то методической надобности его пригласила к себе домой занудливая преподавательница философии и познакомилась со своей дочкой, очень начитанной и трогательной гусыней, которая сразу же посмотрела на Валеру такими глазами, будто хотела сказать: «Ну зачем это нужно, я же все равно вам не понравлюсь...» Без пяти минут аспирант, понимая, что становится перспективным женихом, спел маме и дочке под гитару парочку жестоких романсов, выпил коньяку из каких-то лабораторно-крошечных рюмок, откланялся и от дальнейших приглашений уклонился. Большая наука могла соседствовать в его душе только с большой любовью!

В аспирантуру Чистяков не поступил, точнее, его не приняли из-за отсутствия мест, которые проданы, кажется, не были, но предназначались так называемым «целевикам», а те по странному стечению обстоятельств оказались исключительно детьми разных крупных боссов, включая и племянницу ректора института. Со своим красным дипломом и восторженной рекомендацией ученого совета Валера бодро вошел в класс и сказал: «Здравствуйте, дети, я ваш новый учитель истории».

В аспирантуру он попал на следующий год: у больших начальников случилась какая-то демографическая ниша, недобор по части детей и внуков, а может быть, Валере выпала счастливая карта своим рабоче-крестьянским происхождением олицетворять равные возможности всех категорий советской молодежи или же снова сработала партийность?.. Неизвестно, но директриса школы в голос рыдала, отпуская в большую науку единственного своего педагога-мужчину.

Любопытно, что Наде Печерниковой с аспирантурой помог отец, в молодости друживший с ректором, чего она не скрывала, но когда однажды Валера не то чтобы упрекнул ее, а как-то слишком настойчиво намекнул на то, как трудно торить себе путь без всякой поддержки, Надя со свойственной ей прямотой посоветовала своему любимому вытатуировать на заднице слова: «Я сын трудового народа», и предъявлять их обществу в качестве последнего довода. Таким образом, размолвка, случившаяся между ними в связи с вызовом Чистякова в партком, не была ни первой, ни последней. Валера даже привык к Надиной резкости и, чем сильнее обижался на нее, тем больше вожделем. Согласитесь, в обладании умной и язвительной женщиной есть особая острота...

Секретарем партийного комитета пединститута в ту пору был доцент Семеренко Алексей Андрианович. Во времена борьбы с Зоценко он защитил кандидатскую диссертацию о созидательной функции советской сатиры, затем работал в горкоме партии, потом во главе комиссии прибыл в опальный педвуз, разогнал, искоренил (времена были крутые!) половину профессорско-преподавательского состава и оздоровил идеологическую обстановку настолько, что на бюро горкома рассматривали вопрос о фактах неоправданного избития кадров высшей школы. Институт нужно было возрождать, и на это важное дело послали снова Алексея Андриановича. Лет десять он проработал ректором, а потом его с тихим почетом передвинули в секретари парткома, а ректором поставили заслуженного специалиста в области сельскохозяйственной химии. Но без Семеренко все равно ни один вопрос в институте не решался: ректор, если ему на подпись приносили документы, к которым не была подколота скрепкой бумажка с резолюцией «Я — за». А. С., начинал жалобно браниться и отсылал просителя в партком.

Увидав на пороге смущенного Чистякова, Алексей Андрианович сделал ход конем — вышел из-за стола и двинулся навстречу Валере, крепко пожал руку и постучал твердой ладонью по спине: «Читал, читал: «Если в сердце твоём поселилась усталость...». Молодец! И таких гвардейцев маринуют! Вот мелкобуржуазное болото!...»

Семеренко прямо-таки лучился, на столе у него лежал раскрытый толстый журнал; рецензия, доставившая Валере и Наде столько веселых минут, была совершенно серьезно отчеркнута красными чернилами и испещрена плюсами и восклицательными знаками. До Чистякова постепенно начало доходить, что гвардеец — это он сам, а мелкобуржуазное болото — это партийная организация факультета. «Будем тебя, парень, выдвигать! Хватит им чужой век заедать! Молодежь у нас талантливая, хорошая у нас молодежь!»

Все это Семеренко говорил, широко улыбаясь, а улыбка у него была зубастая.

Потом секретарша принесла два стакана чаю, и Алексей Андрианович стал расспрашивать о житье-бытье, о детстве, о родителях, в кого Валера удался такой темный и кучерявый, трудно ли было служить в Стайбайкале, понравилось ли работать в школе. По вопросам было ясно: личное дело Чистякова Семеренко проштудировал досконально. «Происхождение, парень, — это великая вещь!» — говорил Алексей Андрианович и наклонялся так близко, что Чистяков чувствовал тяжелое табачное дыхание секретаря парткома. Они побеседовали почти два часа, Валера в основном слушал и кивал, мало что понимая.

А происходило вот что: цепкая и твердая рука Семеренко всем в институте порядочно надоела, и составилась заговор, о котором, вероятно, знал и ректор, тоже тихо томившийся диктатурой Алексея Андриановича. Путчисты (в основном это были члены парткома) понимали: просто так горком своего человека в обиду не даст, а на общем собрании Семеренко свергать нельзя — сегодня спихнули институтского секретаря, завтра — еще кого-нибудь, повыше... Тогда разработали хитрый план: как ни в чем не бывало, на хорошем уровне провести отчетно-выборную кампанию, переизбрать на новый срок партийный комитет, пребывавший в одном и том же составе, если не считать естественной убыли членов, уже лет десять, а вот на первом, организационном заседании парткома спокойно выбрать секретарем не Семеренко, а профессора Елисеева, физика-акустика, которому за риск обещали выделить дополнительное помещение для лаборатории.

Но мятежники не учли главного: Алексей Андрианович во время войны руководил особым отделом партизанского соединения. И пока на вопрос председателя отчетно-выборного собрания, какие будут предложения по новому составу партийного комитета, один из заговорщиков разевал рот и шарил по карманам в поисках опечатанного на машинке списка, на трибуну твердым шагом вышел доцент Желябев и железным голосом зачитал такой составчик, что все ахнули: из прежних там осталось только три человека — ректор, Семеренко и профессор Елисеев. Из молодежи в новый список попали Чистяков и Убиец. Выступая с разъяснениями, инструктор горкома строго заметил, что членство в парткоме — не потомственное дворянство, что с белой костью мы покончили еще в 17-м году и что обновление выборных органов — ленинская норма жизни. Собрание возликовало...

На первом, организационном, заседании Валера, к своему изумлению, стал заместителем по идеологической работе, а вот профессор Елисеев наотрез отказался от портфеля зама по оргвопросам и просил ограничить нагрузку поручениями, так как нужно ремонтировать и оборудовать выделенные дополнительные помещения для акустической лаборатории. Замок по оргработе стал Убиец. Ректор, присутствовавший при всем этом, прямо-таки светился от радости и приговаривал: «Ну, Алексей Андрианович, ну, молоток! С таким боевым парткомом мы теперь горы сдвинем!» Но сдвинули самого ректора, через полгода он ушел в министерство не то чтобы с понижением, но и без особого повышения, а институт возглавил профессор Елисеев, которого, кроме акустики, больше ничто не интересовало.

«Полный апофегей!» — воскликнула Надя, узнав о том, что приключилось с ее другом, и поинтересовалась: зачем Чистякову все эти игры во главе с бывшим начальником особого отдела? «Нужно», — надулся Валера. «А больше тебе ничего не нужно?» «Нужно оформить наши отношения...» Надя в ответ захохотала и сообщила, что еще недостаточно политически грамотна и моральна устойчива, чтобы стать женой такого большого человека и коммуниста. Чистяков обиделся и заявил ей, что она вообще никогда не понимала его по-настоящему, но очень надеется, что, наконец, поймет, когда ему все-таки утвердят «эсеров», а ей окончательно завернут ее любимого Столыпина. Поймет, что разумный компромисс — признак ума, а глупое упрямство — свидетельство ограниченности и что, как известно, жить в обществе и быть свободным от общества невозможно! «Спиши слова», — попросила Надя.

В общежитии решили: нежого двум членам парткома тесниться в одном помещении — и выделили Чистякову и Убиецу по отдельной комнате. Валере досталась на третьем этаже, с окнами в садик, а комендант лично проследил, чтобы комнату обставили новой, только полученной со склада и еще пахнущей фабрикой мебелью, занавески же подоб-

рали под цвет обивки, чего еще никогда в общежитии не случалось. Вахтерша теперь звала Чистякова к телефону не с руганью и попреками, мол, нечего казенную линию постоянной болтовней занимать, но пригласила «к трубочке», величая по имени-отчеству, а буфетчица обслуживала вежливо и накладывала порции побольше. Изменилось и его положение на кафедре: профессор Заславский, поздравившись, стал заводить с Валерой вежливые разговоры и бессмысленно льстил, а доцент Желябьев несколько раз аккурратно выпытывал, сильно ли осерчал аспирант Чистяков на ту давнюю товарищескую критику во время факультетского партсобрании. В довершение Валере неожиданно предложили прочитать пропедевтический курс, и это благотворно сказалось на его финансовом положении.

Когда во Дворце бракосочетания подавали заявление, Надя совершенно серьезно спросила у неприветливой тетки: если, например, за три месяца, которые нужно ждать ритуала, она найдет себе другого жениха или, скажем, Чистяков найдет себе другую невесту, сохраняется ли тогда назначенный день регистрации? А может быть, очереде нужно заниматься снова?.. Тетка что-то невнятно пробурчала и с сочувствием поглядела на Валеру. В институте решили пока ничего никому не рассказывать.

Однажды Валера обсуждал в парткоме с Семеренко перспективный план занятий в системе партийного просвещения: тогда как раз входил в моду единый политдень, который Надя называла прививками от задумчивости. Алексей Андрианович вслух обдумывал кандидатуры докладчиков, темы рефератов и прочее, и вдруг ни с того ни с сего спросил, какого черта молодой партийный активист общеполитического масштаба занимается разными паршивыми эсерами, начисто сметенными с лица земли народным гневом? Чистяков покраснел и осторожно ответил, что, мол, мы обязаны знать идейное оружие и внутрипартийную практику наших, пусть и побежденных, недругов... Семеренко серьезно похвалил за умный ответ и сообщил, что посоветовался и подобрал Валере новую замечательную тему — «Уральское казачество в боях за Советскую власть. На материале боевого пути Первого Красного казачьего полка имени Степана Разина». Валера заблеял, что он-де уже много наработал, что его интересуют именно эсеры как политический феномен... Алексей Андрианович успокоил: эсеров на Урале было до хреновой матери, поэтому наработанный материал не пропадет, зато тема диссертационная, глубокая, в самый раз! В следующем году — шестидесятилетие славного полка, а его легендарного командира Николая Томина, слава богу, басмачи в 24-м шлепнули, а не свои в 37-м... Нужно срочно съездить в командировку: Челябинск — Верхнеуральск — Свердловск, посидеть в архивах, потом — рука к перу, перо к бумаге... Освободим от всего, кроме политпросвета! А через годик, пожалуйста: «Уважаемые члены ученого совета!». ВАК, где защищенную диссертацию могли продержать до матрениных заговений, Семеренко тоже брал на себя: месяц-два, не больше!

Чистяков попытался раскрыть рот, но Алексей Андрианович не дал: «Благодарить потом будешь! У меня на тебя, парень, большие виды. Я не вечный, моторчик последнее время барахлит, в случае чего вверенное мне хозяйство должен в надежные руки передать. Иванушкин — хлопец активный, но, чую, были у него в роду кулаки или еще какие-нибудь мироеды. А ты, Валера, — наш, рабочая кость, и за то, что в эсеровском дерьме копать будешь, спасибо никто не скажет... Даже если тому утвердят...»

Когда Чистяков, чуть не плача, рассказал Наде о своей новой теме, она вздохнула, погладила его по щеке и успокоила, мол, гражданская война на Урале, если писать честно, тоже интересный, почти не тронутый по-настоящему материал. Между прочим, с недавнего времени они стали реже встречаться, а «дружить», одно из Надиных словечек, — и того реже. То ли потому, что Чистяков сделался странно занятым и метался между кафедрой и парткомом, то ли потому, что друг жизни мамульку достался квельый, постоянно бюллетенил, и даже «скоротечный огневой контакт» на явочной квартире стал практически невозможен, а в общежитие к Чистякову, пусть даже в отдельную комнату, Надя приходила мягко отказываясь, объясняя, что она теперь невеста и должна к свадьбе нагулять хоть немножко невинности.

Как-то раз в комнату к Валере заглянул бывший «сокамерник», а ныне «партайгеноссе» Иванушкин. Он уже потихонечку защитился, женился и получил московскую прописку, но из общежития покуда не съезжал, так как затягива-

лось строительство кооперативной квартиры, на которую дал ему деньги отец. «Бояре, а мы к вам пришли!» — с порога пропел он и достал из полиэтиленового пакета бутылку водки. Сначала говорили о благополучной защите Убивца: всего три черных шара и те наверняка в отместку за активную жизненную позицию, потом долго ругали ВАК за то, что по году тянут оформление кандидатского диплома, затем перешли на первокурсниц, в нынешнем году на удивление прыщавых и худосочных... Наконец, когда уровень в бутылке опустился ниже этикетки, Иванушкин издалека начал про то, что Семеренко, конечно, — прекрасный мужик, настоящий боевой батя, но время его, увы, прошло, особистские методы работы вызывают изжогу не только в институте, но и в райкоме партии; до недавней поры он держался благодаря своему фронтовому другу, окопавшемуся в гору, но наш Алексей Андрианович, как фанерка над Парижем! Возможно, все решится в ближайший месяц, тогда возникнет вопрос о преемнике, им традиционно становится заместитель по оргвопросам, но все-таки желательно, чтобы эта плодотворная идея родилась в недрах парткома, а в райкоме, слава богу, есть кому поддержать. «А ты будешь моим первым замом! — пообещал Убивец. — Мы должны держаться вместе, поодиночке нас просто сожрут!» Разумеется, спохватился Иванушкин, все это он говорит на тот случай, если батю будут задвигать, так сказать, на печальную перспективу, а сам всей душой желает Алексею Андриановичу долгих лет жизни и плодотворной руководящей работы.

Судя по тому, как Убивец лихо делил портфели, о планах Семеренко и его видах на Чистякова он ничего не знал. И Валера ответил так: оба они очень обязаны Алексею Андриановичу, батя их заметил и вытасил, поэтому пусть все идет своим чередом. Если Семеренко решит сам уйти на покой — тогда и надо будет думать, а пока, честно говоря, его, Чистякова, больше волнует история красного казачества на Урале. Такая, например, проблема: почему главному Ивану Каширину порешил верного ленинца, члена партии с 1898 года Павла Точисского? «А кто он был, Каширин?» — спросил Убивец. «В каком смысле?» — не понял Валера. «В политическом» — «Понимаешь, в источниках путаница, но есть сведения, что поначалу был анархистом...» «Так что тебе не понятно?» — удивился Иванушкин.

А потом было свадебное путешествие до свадьбы, та злополучная поездка в ГДР на конференцию молодых историков братских стран. Руководителем назначили Чистякова, и он высунув язык мотался между институтом, министерством, райкомом и ОВИРОм, согласовывая темы рефератов, утрясал состав делегации, оформлял документы и получал инструкции — такие строгие, словно готовилась не делегация научной советской молодежи, а спецформирование для тайной засылки за рубеж и совершения там теракта.

За неделю до отъезда слегла с аппендицитом аспирантка кафедры истории КПСС, и Валере удалось скорее всего воткнуть в список Надю Печерникову. «Как там у нее с морально-политическим обликом?» — любопытствовал, просматривая выездные документы, Семеренко. «Устойчива», — улыбнулся Чистяков. А Надя потом сказала, что в свадебные путешествия — она просто убеждена — нужно съездить до свадьбы!

Как только поезд «Москва — Берлин» миновал окружную дорогу, выпили по первой, пролетая Здравницу, маханули по второй, закусили и начали спорить. Обо всем. Но как-то незаметно уперлись в Сталина. Надя, горячась, стала доказывать, что Сосо панически боялся перемещения центра коммунистического движения в Европу, на родину этого самого марксизма, именно поэтому он и стравливал Тельмана с социал-демократами до тех пор, пока фашисты не пришли к власти. Почему? Да потому, что ему не нужна была Германия победившего социализма, ему была нужна Германия, побежденная социализмом, то есть побежденная им, Сталиным. Гитлера же он просто хотел перехитрить. Очулся наш кот-игрун летом сорок первого, сидел, гад, ждал: вот сейчас войдут, наган к лобешнику и мозги на стенку. Но некому было войти, боевых ребят он еще с двадцатых годов начал замачивать: Камо шарахнул единственный в Тифлисе автомобиль, Котовского пристрелил взрывовавший муж-рогносец, Фрунзе на хирургическом столе прирезали... Ну, и так далее... Но к нему все-таки вошли, вползли: спаси, отец! И тогда он понял, что теперь с этим народом можно делать все, хоть дустом посыпать, ибо уже в минуту зачатия будущий человек заражается страхом перед властью! Вы никогда не задумывались о том, что сумасшедший героизм

наших на войне — это кровавый способ хоть как-то возместить свою рабскую униженность в собственном Отечестве?..

Чистяков, как руководитель группы, во время дорожных споров соблюдавший немалословное достоинство, тут уж не вытерпел и упрекнул коллегу Печерникова в передержках и, повторяя слышанные инструкции, строго-настрого приказал, чтобы после Бреста подобных разговоров не было. Надя ответила, что приказ командира — закон для подчиненного.

А ночью, когда все уснули, они прошли в другой вагон, стояли в тамбуре, смотрели на убегающие ночные огоньки и целовались, Чистяков нежно упрекал ее за доверчивость и неосторожность, а она смеялась и говорила, что только в одном деле, которым они редко стали заниматься в последнее время, неосторожность может принести женщине неприятности. Валера, смеясь, твердо пообещал при первом же удобном случае изловчиться и сделать Надю матерью, а себя самого — отцом. «Да? — изумилась она. — Вот с этого места, пожалуйста, подробнее!» Дело в том, что ребенка-то пока не хотел именно Чистяков. Ну, подумайте сами, куда он повезет его из роддома? В однокомнатную «хрущобу», где томятся семейным счастьем мамулек и спутник жизни? Или, может быть, в аспирантскую общагу, чтобы первыми жизненными впечатлениями детеныша стали длинный грязный коридор, вонючая кухня и коммунальный сортир?! И будут они блаженствовать втроем на двенадцати квадратных метрах среди казенной мебели и развешанных пеленок. Но ведь живут же так другие люди, в том же аспирантском общежитии!.. Ну и пусть себе живут... А он, Чистяков, понял, слава богу, что плохо жить — унижительно, а человек не имеет права унижаться!

Обнимая Валеру, Надя никогда не думала о последствиях, и все предосторожности Чистяков добровольно брал на себя, называлось это у них — «бдеть». Обычно Надя из последних сил приподнималась на локте, целовала Валеру в щеку и говорила: «Спасибо за бдительность, товарищ!»

В Берлине Чистякова поразили две вещи: во-первых, естественно, стена. Он шел по какой-то улице, параллельной Унтер-ден-линден, и уткнулся. Стена была довольно высокая, бело-голубоватая, с мягко закругленным верхом. Валера попытался себе представить, что такая же стена разделяет нашу Москву, рассекает, например, так, что высота на площади Восстания — наша, а вот здание МИДа на Смоленке — уже за граница. Или наоборот... Попытался представить и не смог. Во-вторых, его удивило, что в городе есть дома, точнее, останки домов, еще не восстановленных со времен войны. Нет, не мемориальные развалины, так сказать, в назидание себе и другим, а просто обыкновенные руины, на которые не хватает ни рук, ни денег. «Ну, и нечего было лезть к нам!» — твердил он себе, стараясь освободиться от этого неудобного впечатления.

Началась конференция молодых историков братских стран: доклады, сообщения, дискуссии... Все это было похоже на встречу добрых родственников, разговаривающих о погоде, здоровье детей, планах на отпуск и старающихся не касаться ни своих, ни чужих семейных неприятностей. Чистяков, как глава делегации томившийся в президиуме между носатым чехом и улыбочивым вьетнамцем, внезапно получил записку из зала, надписанную по-немецки: «Genosse Tschistjakow». Он с внутренним холодком развернул листок и прочитал по-русски: «Чистюля, не спи — замерзнешь! Н. П.»

Последний день в Берлине был у них свободный, только вечером планировался банкет по случаю закрытия конференции, и поэтому Чистяков отпустил молодых ученых отovarивать валюту. Надя растратила свои деньги очень быстро — накупила в дорогом магазине тряпок и косметики себе и мамульку. Она выходила из примерочной кабинки, завлекательно поводила плечами и спрашивала у ничего не понимавшего в женских нарядах Валеры: «Ну как, правда, роскошно?» Он значительно кивал, а приветливые немецкие продавщицы переглядывались и говорили: «Schön! Sehr schön!» Чистяков хотел было и на свой обмен купить что-нибудь для Нади, но она совершенно серьезно заявила, что совместного хозяйства они еще пока не ведут, а брать деньги, тем более валюту, за роскошь человеческого общения, как это делают некоторые прагматические женщины, она не приучена. И тогда Валера без лишних мучений вложил весь обмен в сервис «Мадонна» со сценами из пейзажной жизни. Такой же, даже победней, он видел у Желябьева.

Потом они на последние марки набрали замечательного пива и соленого печенья, поднялись в чистяковский полу-

люкс (остальные члены делегации жили по двое) и прекрасно провели время. Надя отправилась в ванную, но через минуту выглянула оттуда и сказала Валере, засовывавшему бутылки в морозилку: «Иди лучше ко мне! Хочешь, я тебя помою, как маленького!» А вечером руководитель делегации стоял в холле гостиницы и памятливым взглядом встречал запыхавшихся, увешанных свертками молодых ученых-историков, опоздавших к урочному времени.

Прощальный банкет хозяева организовали в большом рыцарском зале, в центре которого стояла бочка хляявного пива, да еще официанты обносили гостей вином и шнапсом. На шведском столе теснилось совершенно безобразное изобилие закусок. Воспитанный в гастрономическом аскетизме, Чистяков даже и не предполагал, что существует столько сортов колбасы.

Начались тосты и спичи. Сначала говорили хозяева и с немецкой основательностью благодарили гостей за прекрасное участие в семинаре. Потом, как выразилась Надя, в порядке «алаверды», гости славили хозяев за организацию замечательного симпозиума. Дали слово и Чистякову, он к тому времени ххатанул уже две кружки пива, дуплек шнапса и бокал шампанского, поэтому вдохновенно и раскованно — знай наших! — заговорил о великой исторической науке, которая не только познает минувшее, связывая воедино прошлое с настоящим, но и сближает людей и народы, разрушая все стены и преграды меж ними... Выступление Валеры понравилось, ему хлопали, но два самых главных немца удивленно пошептались и пытливно поглядели на Чистякова. Надя, когда он с победой вернулся к шведскому столу, жала его локоть и прошептала: «Здорово ты им про стену впарил! Полный апофегей! Я тебя уважаю!» «Про какую стену?» — не понял Валера и, пожав плечами, стал слушать, как щуплый кореец славит гиганта исторической мысли великого вождя и полководца Ким Ир Сена.

После той поездки Чистяков потом много раз бывал за рубежом, но до сих пор помнит, как мучительно медленно полз поезд последние сто километров, как они, собравшись в одном купе, пели «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!», как кричали «ура», пересекая окружную дорогу, как вышли с чемоданами на площадь Белорусского вокзала и с ностальгическим умилением прочитали огромный плакат «Экономика должна быть экономной». А хмурый таксист, наотрез отказавшийся везти Надю в Свиблово, так тот просто оказался родным человеком.

Готовясь к отчету о поездке в ГДР, Валера вручил всем членам парткома по сувениру — брелочку в виде маленькой пивной кружки, а Алексею Андриановичу персонально — подарочно оформленный спиртометр. Отчитался Чистяков быстро и складно: доклады членов делегации были сделаны на высоком идейно-теоретическом уровне и хорошо прозвучали, в дискуссии твердо отстаивали четкий историко-материалистический метод, на который, впрочем, никто и не покушался, разве что немножко югославы. Один реферат отмечен дипломом, каковой и прилагается к письменному рапорту. Семеренко благостно покивал и предложил было запротоколировать положительную оценку работы делегации молодых историков на берлинском симпозиуме, но тут неожиданно для всех слово попросил Убивец. Он встал и, поигрывая подаренным брелочком, спросил, глядя Валере прямо в глаза. Первое. Правда ли, что во время зарубежной поездки велись разговоры, порочащие роль партии в советской истории? Второе. Правда ли, что уважаемый Валерий Павлович, воспользовавшись своим руководящим положением, включил в состав делегации собственную любовницу — аспирантку Печерникову и во время поездки они даже не скрывали своих интимных отношений? Третье. Правда ли, что заместитель секретаря парткома по идеологии, выступая на закрытии симпозиума, призвал разрушить Берлинскую стену, защищающую первое немецкое социалистическое государство от посягательств НАТО? Члены парткома посмотрели на Валеру так, как смотрят на ошметки человека, попавшего под экспресс.

Чистяков почувствовал, что лицо его стало багровым, а между лопаток потекла щекочущая струйка пота. Он до дурноты четко ощущал, как неоправимо затягивается пауза, и наконец мысленно выстроил фразу о том, что споры о неоднозначной роли Сталина в становлении социализма не есть очернение партии, что его слова об исторической науке, ломающей преграды между народами, ничего общего не имеют с призывом разрушить Берлинскую стену, обладающую, без сомнения, важным военно-политическим значением, и что его отношения с аспиранткой Печерниковой нико-

го не касаются, что они подали заявление и скоро поженятся... Скажи тогда Валера эту длинную, продуманную фразу — и жизнь его пошла бы совсем по-другому: он никогда бы не стал секретарем райкома, он бы женился на Наде и у их ребенка, в это Чистяков твердо верил, были бы самые здоровые почки.

Но тогда, одиннадцать лет назад, прежде чем раскрыть рот, Валера глянул сначала на Семеренко, а тот, сурово нахмурившись, а упор смотрел на своего любимца и медленно шевелил губами, точно жевал что-то. И Чистякову показалось, что эти беззвучно шевелящиеся губы произносят одно-единственное — «клевета». «Клевета! — твердо повторил Валера. — Клевета от начала и до конца!» «Откуда, парень, у тебя такая информация?» — тяжело спросил Семеренко у Иванушкина. «Был сигнал. Я разговаривал с членами делегации. В райком партии уже знают», — четко ответил Убивец. «А вот не надо, парень, меня райкомом пугать! — осерчал Алексей Андрианович. — Ладно, учитывая серьезность выдвинутых обвинений, составим комиссию. Председателем буду я. Возражений нет? Свободны...»

После того как все ушли, Чистяков остался сидеть за длинным столом. Несколько минут Семеренко расхаживал по кабинету и матерился, почти до дна исчерпав бездонные ресурсы меткого народного слова. «Но ведь не так было!» — пытался оправдываться Валера. «Но ведь было?» «Было...»

«А не должно быть! Ничего! — крикнул Алексей Андрианович... По-твоему, Иванушкин сам допер? Не-ет, подсказали! Ты думаешь, парень, они тебя сожрать хотят? Не-ет! Я ж тебя, раздолбая, в кадровый резерв записал, документи в райком заслал. Ты — мой тыл, поэтому по тебе ударили. И время как удачно выбрали — прикрыть теперь некому. А ты, соплик, дал повод! Так что, извини, накажу я тебя. В мои времена за такие дела в порошок стирали и по ветру развеивали, а я тебя даже из партии не погоню, дам строга-ча с прицепом. В аспирантуре останешься, защитишься, но из парткома я тебя шугану так, что они там в райком надолго заткнутся. А жаль... Хороший из тебя, парень, комиссар мог получиться! — Семеренко с досады хватил ладонью по столу, потом достал из маленькой пробирочки крупицу нитроглицерина и, болезненно улыбувшись, спросил: — Девка-то хоть стоящая?..»

В институтской раздевалке гардеробщик, дедуля с купеческим пробором, выдал Валере его плащ, помог надеть и даже смахнул со спины и плеч перхоть специальной щеточкой. До избрания в партком он просто кидал чистяковскую одежду на барьер и отворачивался. «Ничего, скоро снова начнет швырять!» — подумал Валера, и грядущее пренебрежение этого несчастного подавальщика показалось ему самым обидным во всей этой унижительной истории.

На кафедре Чистякову сказали, что все давно разошлись, дольше всех сидела Печерникова, но и она ушла полчаса назад. Валера вспомнил, что у нее сегодня примерка. Надя поначалу хотела просто купить свадебное платье в комиссионке, но мамулек обозвала ее дурой и собственноручно отвела в ателье.

Сам не зная зачем, Валера поехал к родителям. Они недавно получили в том же общежитии комнату побольше, метров восемнадцать, чем отец несказанно гордился. Надя однажды сказала: если у человека сначала отобрать все, а потом кидать ему крошки, то он будет благодарить и лобызать кидальную руку, не вспоминая даже, что она, эта рука, некогда все и отобрала.

Чистяков-старший работал токарем-расточником на заводе «Старт», уходил из дому затемно, в шесть утра, и с детства Валера запомнил: во время завтрака на столе неизменно стояла еще не вымытая матерью глубокая тарелка, словно покрытая изнутри бордовой плесенью. По утрам отец всегда ел первое, обычно борщ. Возвращался он с работы тоже рано, выпивал свою четвертинку, ужинал и дремал возле врубленного телевизора, но стоило выключить ящик или просто убавить звук — сразу просыпался. В десять отец окончательно укладывался спать и очень злился, когда Валера продолжал читать при свете ночника, ругался, обзывал всех дармоедами, вставал и выключал лампочку. Тогда сообразительный сын на деньги, сэкономленные от завтраков, купил себе фонарик и стал читать под одеялом, но суровый родитель обнаружил это и разбил фонарь об пол... Одним словом, путь к знаниям у Чистякова был такой же крутой, как у Горького. И только совсем недавно, лежа, уткнувшись лицом в теплое Надино плечо, он ни с того ни с сего догадался, что своим дурацким чтением в двенадцатиметровой комнатке просто-напросто мешал родителям

любить друг друга. Ну конечно! Поэтому-то минут через пятнадцать после того, как гасили свет, мать спрашивала: «Валерик, ты не спишь?» А еще через некоторое время вставала и подходила к сыну, якобы поправить постель... Сестра-то была совсем маленькой и засыпала сразу после того, как ее напоят сладкой водой из соски. И еще Валера заметил: возвращаясь из пионерлагеря, он находил родителей веселыми и дружными. Как, оказывается, все просто!

Отец в майке сидел перед включенным телевизором и ужинал, а сестра за письменным столом делала уроки, по многолетней привычке совершенно не обращая внимания на шум. Передавали футбол. Папаня при каждом остром моменте подскакивал и орал: «Ну!» Под это «ну!» и прошло детство Чистякова. Он вынул из портфеля бутылку коньяка и поставил рядом с наполовину пустой законной четвертинкой. «Коньяк?» — разочарованно спросил отец и полез в сервант за второй рюмкой. Валера подошел к сестре, дернул ее за косу, а когда она сердито обернулась, протянул ей плитку шоколада. Сестра взяла и пробурчала: «Лучше бы «Сюрприз» купил. Стоит столько же, а в десять раз больше!» «Ты и так толстая», — ответил он и пальцем показал ей грамматическую ошибку в тетради.

Отец привык рассказывать последние новости: постепенно семьи из общежития разбежались в отдельные квартиры, на их место заселяли лимитчиков, а те — хоть убей — отказывались выполнять коммунальные обязанности по уборке общественной кухни и туалета; пришлось одному умнику морду набить, теперь коридор как миленский подметает... «А ты-то чего пришел? — вдруг спросил отец. — Неприятности, что ли?» «Почему неприятности?» — удивился Валера. «Потому... Между прочим, вырастил тебя, дармоеда, и знаю как облупленного!»

Чистяков не удержался и скупо поведал, что партийной работой больше заниматься не будет, весь уйдет в науку. Отец покачал головой, поцокал и рассказал, как у них на заводе секретарь парткома получил новую квартиру третьим — после директора и главного инженера. Когда уговорили коньяк, из бельевого отсека желтого гардероба, который Чистяков помнил почти всю жизнь, на свет явилась бутылка портвейна «777» — тайные запасы. Вскоре Валера не выдержал и в подробностях рассказал о поездке, о происках Убивца, о решении, принятом Семеренко. Отец слушал все это, качая головой, между делом поинтересовался, правда ли наше пиво по сравнению с немецким моча, а потом заявил, что, мол, Надяка твоя тоже дура — нечего было ехать... Разоткровенничавшись, он даже рассказал один случай из своей жизни, очень похожий. Хотели его однажды сделать бригадиром, вместо Пашехонова, а тот пронюхал, что отца в конце смены хочет начальник цеха на беседу вызвать, и уговорил в обеденный перерыв выпить сухого винца. Руководство сразу почувствовало запах и уже больше никогда не обращало на отца кадрового внимания, но Пашехонова все равно из бригадиров погнало...

Валера так и не дождался, когда с вечерней смены вернется мать. С помощью сестры он уложил отца спать, поставив на всякий случай рядом тазик... «Куда будешь поступать после восьмого?» — нетвердо спросил Валера сестру, путаясь в рукавах плаща. «В кулинарный техникум!» — зло ответила она.

Из уличного автомата Чистяков позвонил Наде и попросил ее срочно приехать в общежитие, потому что произошли страшные неприятности. Через полчаса она сидела у него в комнате, и он снова, уже с каким-то пьяным остервенением, рассказывал о случившемся. «И всего-то, — пожалала Надя плечами. — Стоило из-за такой ерунды напиваться!» Она усадила Валеру на кровать, устроилась рядом, положила его голову себе на колени и, поглаживая ему волосы, принялась успокаивать, мол, все к лучшему в этом лучшем из миров, и теперь он не будет тратить драгоценное время на разную ерунду, а займется наукой, он же талантливый, а все эти партигры — для посредственностей, которым, к сожалению, в нашей непонятной стране жидется привольное всех, и даже удивительно, что основоположники этого перевернутого общества сами были людьми недюжинными... «Но откуда, откуда он все узнал?!» — вдруг вскрикнул Чистяков. «Ты еще зарыдай! — рассердилась Надя, но тут же спохватилась: — Валера, разве можно так распускаться? Какой же ты после этого грозный муж? Послушай, платье будет роскошное...» «Откуда он узнал!» — повторил Чистяков. И Надя стала терпеливо объяснять, что про их отношения давно уже знает весь институт, поэтому не нужно иметь особо извращенное воображение, чтобы догадаться, чем

занимались они на немецкой земле. «А разговоры в купе?» — не унимался Валера. Ну, это совсем просто, отвечала она, симпозиум был занудный, и кто-нибудь из делегации мог рассказать Иванушкину, что в поэзде споры были намного интереснее. «А про стену!» — заорал Чистяков. «Только ты не сердись,— попросила она,— про стену я ему сама рассказала... В шутку! Я же не знала, что он подлец...» «Ты?! В шутку?!» — заорал Валера, вскочил с кровати и затрясся. «Не кричи, я же нечаянно...» «Нечаянно?» — передразнил он, гримасничая. «Если хочешь, считай, я сделала это нарочно, чтобы испортить тебе карьеру. Генсеком ты уже не будешь!» Чистяков размахнулся и ударил Надю так, что голова ее мотнулась в сторону и стукнулась о стену. Она закрылась ладонями и сидела неподвижно, пока кровь, просочившись между пальцев, не начала капать на джинсы. Тогда Надя достала платок, намочила его водой из графина, вытерлась, потом откинулась на подушку и прижала влажный платок к переносице.

Чистяков ходил по комнате и твердил себе, что поступил совершенно правильно, что она продала его Убивцу и теперь заслуживает ненависти и презрения. Надя дождалась, пока перестанет идти из носа кровь, припудрилась перед зеркалом и ушла, так ничего и не сказав.

Чистяков лег спать, ничуть не раскаиваясь в содеянном, а ночью, часа в три, вскочил от ужаса. Такое с ним случилось в детстве, он просыпался от внезапного страха смерти и начинал беззвучно, чтобы не разбудить родителей, плакать. Нет, это была не та горькая, но привычная осведомленность о конечности нашего существования, а какое-то утробное, безысходное предчувствие своего будущего отсутствия в мире, делавшее вдруг жестоко бессмысленным сам факт пребывания на этой земле. В такие минуты он очень жалел, что не верит в бога. На этот раз Валера проснулся не от страха смерти — от ужаса, что он потерял Надю...

Когда на следующий день Чистяков, с трудом проведя семинар и отпустив студентов, принял туповато простоять оценки в свой кондуит, к нему подошла Ляля Кутепова. «Валерпалыч,— сказала она.— Я давно хотела вас попросить, не нужно завязывать галстук таким широким узлом, это не комильфо...» «Что?» — оторопел он. «Да не переживайте вы так! Ничего они вам не сделают, стукачи проклятые!..» А когда Валера, тяжело неся похмельную голову, вышел за ворота института, то увидел Надю: она смотрела на него с обычной усмешкой, и только плотный слой пудры придавал ее лицу странное выражение. «Надо поговорить!» — начала Надя, и сердце Чистякова на радостях споткнулось и пропустило положенный удар. Они дошли до набережной и побрели вдоль Яузы. Оказалось, Печерников вызывали в партком, допрашивал лично Семеренко в присутствии Убивца и еще какого-то гладкомордого мужика из райкома. «Я пыталась объяснить им, как все было на самом деле, но, по-моему, их больше интересовало то, что у меня под джинсами...» «Спасибо...» — Валера невольно улыбнулся и попытался взять ее за руку. — Ты знаешь, я вчера...» «Да ты что, Чистяков! — Она даже отпрянула. — Наш роман закончился. Совсем. Все конечно, меж нами связи нет...» «А платье?» — как полный дебил, спросил Валера. «Пригодится...» Но обиднее всего было то, что он никак не мог вспомнить, откуда Надя взяла эту строчку: «Все конечно, меж нами связи нет!»

На очередном заседании парткома, к всеобщему изумлению, Семеренко зачитал письмо отсутствующего по болезни Иванушкина, который, ссылаясь на недобросовестность своих источников, брал назад все обвинения в адрес Чистякова и слезно просил прощения, объясняя свою трагическую ошибку самыми лучшими побуждениями. Убивца, так после этого ни разу и не показавшегося в институте, вскоре забрали инструктором в отдел пропаганды Краснопролетарского РК КПСС. А Валере в конце концов объявили благодарность за высокий профессиональный и политический уровень, проявленный во время заграничных командировок. «Ну, ты, парень, даешь! — потрепал его Алексей Андрианович, задержав после парткома. — Как же ты, хитрован, на Кутепова вышел?»

Через неделю Ляля, подкараулив Чистякова у дверей факультета, поздравила Валерпалыча с благополучным окончанием всех неприятностей и пригласила отобедать у них в ближайшую субботу.

Жили Кутеповы в замечательном доме, сложенном из бежевой «кремлевки», недалеко от стеклянных уступов проспекта Калинина, в трехкомнатной квартире с огромным холлом, двумя туалетами, большой розовой ванной и специ-

альным темным помещением для собаки. В общегае, где Валера провел детство, в таком помещении существовала целая семья. Квартира была обставлена и оснащена добротными, но недорогими и потому особенно дефицитными вещами, исключение, пожалуй, составил японский видеоматрифон, воспринимавшийся в те годы как домашний синхрофазотрон. Стены холла от пола до потолка были скрыты стеллажами, полными книг: подписка к подписке, серия к серии, корешок к корешку...

Николай Поликарпович Кутепов встретил Чистякова дружелюбно, но с церемониями, а пожимая руку, смотрел в глаза с какой-то излишней твердостью. Кутепов носил чуть притенненные очки в интеллигентной оправе, имел высокую, зачесанную назад шевелюру с интересной, словно специально вытравленной, седой прядью и был одет в строгий костюм, белую рубашку, и только чуть распушенный галстук свидетельствовал о том, что крупный партийный руководитель пребывает в состоянии домашней расслабленности.

«Лялюшонек, иди помоги маме!» — распорядился он, и Ляля, демонстрируя дочернюю покорность, ушла на кухню. Кутепов пригласил Валеру к журнальному столику, на котором стояли обметанная золотыми медалями бутылка и серебряное блюдечко с тонко нарезанным лимоном. Пытаясь приглашающему жесту, Чистяков провалился в велюровое кресло, такое мягкое и податливое, что возникло опасение удариться задом об пол.

Прихлебывая, точно щупая губами, коньяк, Николай Поликарпович расспрашивал об институтских делах своей дочери, заметил вскользь и про Семеренко: мол, испытанный боец, но время его прошло; потом ни с того ни с сего похвалил Валеру за мудро избранную тему диссертации и высказал соображение, что для профессионального партийного работника историческое образование, а тем паче кандидатская степень — в самый раз. Сегодня ведь науку матерком на открытии не подвигнешь, изнутри нужно знать проблемы, изнутри! Говорил Кутепов медленно, выстраивая законченные и выверенные предложения, хорошо держал паузу и только иногда — очень редко — простонародно путал ударения.

С пирогом из кухни появилась мама — Людмила Антонова, полная, даже расплывшаяся женщина с красным и потным, наверное, от духовки, лицом. Перед тем как протянуть Валере ладонь, она тщательно вытерла ее о передник, а потом поинтересовалась, не озорничает ли ее Лялюшонек на занятиях.

Стол был хорош и напоминал выставку продуктов, давно уже исчезнувших из торговой сети. Нет, вы поймите правильно, по отдельности, если постараться, севрюгу, например, или греческие маслины, крабов, допустим, или судачка раздобыть и поесть можно, но так, чтобы все это непринужденно сошлось на одном столе во время рядового субботнего обеда, — такого Валере еще видеть не приходилось.

Застольная беседа состояла из деловитых вопросов Николая Поликарповича, вежливых ответов Чистякова, Лялиных хихиканий и причитаний Людмилы Антоновны по поводу якобы плохого аппетита у гостя, хотя Валера лично сгваждал добрую треть пирога с начинкой из белых грибов. Кутепов снова завел речь о диссертации, расспрашивал о гражданской войне на Урале и очень удивился, узнав, что Советскую власть там поддерживали всего три процента казачества. «Как чувствовали!» — засмеялась Ляля. А Николай Поликарпович очень серьезно заметил: «Когда бранят Сталина за жестокость, забывают про то, как трудно брали власть!»

К вечеру подъехал еще один гость — зампред Краснопролетарского райисполкома Василий Иванович Мушковец, земляк или дальний родственник Людмилы Антоновны, которую он звал почему-то «Людша», а Ляля, в свою очередь, величала его «дядя Базиль».

Дядя Базиль с ходу предложил выпить за тылы, за любимых жен, без которых мужчины, как партия без народа. Николай Поликарпович, становившийся от спиртного только рассудительнее и государственнее, согласился с этим тостом и добавил, что в женщине, как и в военной технике, главное не красота, а надежность. «Не скажи,— заспорил Мушковец,— одно другому не мешает. Людшу-то небось не за одну надежность брал! А Ляльку свою и вообще шехерзадой вырастил». Лялька хмыкнула и ушла на кухню помогать матери мыть посуду. «Дочь — молодец!» — проводив ее взглядом, директивно отметил Кутепов и нежно улыбнулся. «А ты, значит, тот самый барбос, который хотел Берлинскую стену развалить!» — вдруг захохотал дядя Базиль

и с такой силой заколотил Валеру по спине, словно хотел выбить смертельно застрявшую кость. «Клевста!» — автоматически ответил Чистяков. «Райком в игры играет, — заступился Николай Поликарпович, — а хорошие ребята страдают. Мы товарищью поправили...» «Вот ведь кошкодавы!» — посуловел Мушковец и предложил почему-то на английский манер: — Давайте ульпем уиски!»

Потом смотрели по видеомagneтoфoну «Белое солнце пустыни», и когда Верещагин-Луспекаев произнес свое знаменитое «За державу обидно!» — дядя Базиль всплакнул, а Кутепов, подумав, сообщил, что теперь понимает, почему космонавты так любят именно этот фильм. Вскоре из кухни вернулась Ляля и решительно изъяла захмелевшего Чистякова из общества Николая Поликарповича и Василия Ивановича, уже готовых запеть и шумно обсуждавших, с какой песни начать.

Она повела Валеру в свою комнату, все еще чем-то похожую на детскую, и показала толстенный каталог, недавно привезенный из Нью-Йорка. Эта книжища наверняка издавалась и засылалась к нам исключительно с подрывными целями, ибо в действительности такого обилия и разнообразия промтоваров не может быть, потому что не может быть никогда! Когда они, трогательно сблизив головы, листали многостраничный раздел дамских бюстгалтеров, в дверь тихонько заглянула Людмила Антоновна и, умильно вздохнув, скрылась.

Расхохотались поздно, после того, как Николай Поликарпович, поддавшись долгим уговорам дяди Базилья, поиграл на баяне. Оказалось, еще один такой же инструмент хранился у него в гармоке в комнате для отдыха рядом с кабинетом; в трудные минуты он запырался, брал баян в руки и отдышал душой. «Поиграю минут десять — и давление в норме!» — улыбнулся Кутепов. Провожая Валеру до двери, он задержал его руку в своей и, медленно подбирая слова, потребовал, чтобы начиная с сегодняшнего дня на правах доброго знакомого Чистяков поблажки Ляле не давал, а спрашивал с нее «по всей строгости и даже еще строже». Людмила Антоновна мигала добрыми глазами и приглашала заходить запросто.

На воздух вышли вместе с Мушковцом. У подъезда ждала черная «Волга», которую вызвал Кутепов, водитель спал, нагнувшись на лицо ондатровую шапку. Дядя Базиль заботливо решил подвести ослабевшего Валеру и всю дорогу шумел о том, что окружающая гнусная жизнь просто кишит кошкодавами и такие изумительные мужики, как Николай Поликарпович, встречаются один на миллион, а таких замечательных девушек, как Ляля, попросту не бывает! Когда машина остановилась возле подъезда с освещенной вывеской «Общезитие педагогического института», Мушковец удивленно помотал головой, словно отгоняя наваждение, и тихо сказал: «Заходи как-нибудь, порешаем твой жилищный вопрос...»

Ночью Валере приснился сон, будто бы он снова пришел к заболевшей Наде в «бунгалo», принес мед и лекарства, но она почему-то накрылась с головой, лежала неподвижно и не отзывалась. «Гюльчатай, покажи личико!» — попросил он и стал стаскивать с нее одеяло, а когда стаянул, увидел не Надю — Лялю, она улыбалась и показывала ярко-малиновый язык.

Честно говоря, до того самого дня, когда они должны были идти во Дворец бракосочетания расписываться, Чистяков надеялся на примирение, он втайне думал, что Надя просто воспитывает его, дабы никогда больше в их грядущей семейной жизни не смел он поднимать на нее руку! Валера несколько раз пытался объяснить, но она смеялась в ответ или называла его занудой — человеком, которому проще отдалиться, чем втолковать свое нежелание это делать. Чистяков позвонил даже мамульку, та всхлипывала в трубку и спрашивала, из-за чего они поссорились. Объяснять он не стал.

Минувал день их несостоявшейся свадьбы, наступила весна, и однажды возле факультета он увидел Надю в компании тощего и неряшливо одетого очкастого малого, очень похожего на тех, что в довоенных фильмах изображали до idiotизма рассеянных талантливых молодых ученых. «Эго — Олег!» — представила Надя. — Он пишет прозу...» «Про заек?» — скалабурил остроумный Валера. «Прозаик, — кивнула Печерникова. — А это Валерий Павлович Чистяков — заместитель секретаря парткома по идеологии!» — сказала она это с той интонацией, с какой объявляют гостям любимица семьи, юного дауна с грушевидной головой и ясными бессмысленными глазами. Малый с усмешечкой кивнул,

и Чистяков понял: неизвестно, как там у них в койке, но на предмет руководящей роли партии в обществе они поладили. Прощаясь, Валера пристально посмотрел на свою бывшую невесту, давая понять, мол, если так уж замуж невтерпёж, могла бы найти пресменника и получше, чем этот засушенный богомол! Надя же ответила ему улыбкой, полной превосходства и тайной женской греховности.

Через несколько дней Ляля днем после лекций затащила Валерпальча к себе, чтобы показать по «видику» новый, атасный штатовский фильм. Дома никого не было, оказывается, Людмила Антоновна, идентифицированная им как домохозяйка, тоже работала — преподавала античную литературу в Полиграфическом институте. Ляля поставила кассету и, пока тянулся нудный американский пролог с длинными разговорами и страдальчески наморщенными лбами, переселась в обалденное черное кимоно, сварила кофе и приготовила тосты с сыром. А когда на экране началось эротическая сцена со стенами и непонятным мельканием многочисленных конечностей, студентка Кутепова расстегнула Валерину рубашку, провела коготками по его груди и подставила губы для поцелуя. Обмирая от смущения и прислушиваясь к шорохам в прихожей, Чистяков с педагогической сдержанностью поцеловал ее и почувствовал себя чуть ли не растителем. Не давая опомниться, Ляля повлекла его руку под кимоно: там оказалось совершенно голое тело и крепкие, как бицепсы, груди. Кожа была покрыта твердыми пузырьками и напоминала книжку для слепых. А в самый проникновенный момент, задыхаясь, Ляля прошептала: «Ну, милый, здравствуй!»

Кто ее выучил этому странному приветствию, неизвестно. Возможно, выудила из какого-нибудь видеофильма. Между прочим, несколько позже Чистяков все-таки поинтересовался приблизительным количеством своих предшественников, с которыми она здоровалась подобным образом. Спросил не из ревности, из любопытства. Ляля не моргнув глазом заявила, что в девятом классе у них образовалась дружная шведская семейка, но что с тех пор она поуменьла и поняла преимущества индивидуального секса перед групповым; и, глядя на поглупевшее от неожиданности лицо Валерпальча, студентка Кутепова долго и радостно хохотала.

Через полгода Чистяков защитился — ни одного «черного шара», а в выступлениях оппонентов — прямое указание: половина докторской диссертации уже есть, только работай! Поздравляя новоиспеченного кандидата наук, профессор Заславский тонко заметил, что в лице Валерия Павловича счастливо соединен талант исторического исследователя и общественного деятеля... «Поэтому не повторяй ошибки тех дураков, которые руководили нами до тебя! — сказал от себя сидевший рядом Желябьев и озабоченно добавил: — Пятнадцать может не хватить...»

Поясним: только-только вышло постановление, запрещающее устраивать официальные банкеты по случаю защиты диссертаций, и застолья, естественно, переместились из ресторанов и актовых залов институтов в квартиры. Желябьев еще за месяц предложил Валере в полное распоряжение свою квартиру, сообщив, что у него имеется для таких случаев девочка из заводской столовой, которая режет салаты с капиталистической скоростью, и что от Чистякова потребуется только «горючее» — бутылку пятнадцать. О предстоящем товарищеском ужине знала, конечно, вся кафедра, предвкушала, и, когда после объявления итогов тайного голосования Надя тепло поздравила Чистякова и хотела уйти, доцент Желябьев занервничал и сказал, что своим поведением аспирантка Печерникова ставит в неудобное положение их всех, ибо постановления власти нужно или нарушать всем вместе, или вообще не нарушать. Надя покорила.

Первый тост подняли за историческую науку, второй — за свежежелезного кандидата, третий — за научного руководителя, четвертый — за южноуральских казаков и их славного командира Николая Томина, счастливо павшего от басмаческой пули и не харкавшего кровью в подвалах Лубянки, к которой даже Железный Феликс стоит сегодня спиной... Потом профессор Заславский стал горько корить Надю за то, что она, умница, написала прекрасную, но совершенно непроходимую первую главу и отказывается, скверная девчонка, исправить хоть одно слово. «Столыпин — великий государственный деятель! Но, голубушка, Надежда Александровна, время этой аксиомы еще не пришло. Только не надо тонко улыбаться и считать меня старым олухом... Под видом критики можно тоже сделать немало. Немало! Вспомните, милая, средневековых богословов...» И в подтвержде-

ние своего тезиса профессор Заславский стал рассказывать про осточертевшую всем встречу с монархистом Шульгиным. Вскоре заведующего кафедрой вынесли и уложили в такси.

В тот вечер Валера рюмок не считал и был в ударе. Оглушительный успех имела история, которую сам Чистяков слышал от одного специалиста по казачеству. Однажды Буденному к очередному юбилею решили поднести его портрет, конный. Живописец, получивший этот почетный заказ, стал просматривать старые фотографии, чтобы получить подобать прототип для маршалского скакуна, благо с иконографией самого Семена Михайловича было все в порядке. И вот очень уж понравился художнику скакун под наркомом Ворошиловым, когда тот принимал один из парадов на Красной площади. На полотне благородное животное выглядело, как живое, хорош был и маршал, особенно усы! Автор уже просверлил дырочку для лауреатского значка. Повезли портрет Буденному, показали, а он как заревет: «Так-вас-распротак! Меня, Буденного, на Климкиной кобыле нарисовать! Вон отсюда!..» «Вранье, конечно, но очень смешно!» — похвалил, вытирая слезы, доцент Желябьев.

Между прочим, все были уверены, что именно в этот торжественный день Валера и Надя — а про их ссору знала вся кафедра — обязательно помирятся. Весь вечер Чистяков ловил на себе ободряющие взгляды доброжелателей, мол, давай-давай, другого случая не будет... И он чувствовал себя мальчишкой — школьником, написавшим девочке записку, про которую вдруг узнал весь класс. Помогая Наде тащить грязную посуду на кухню, где орудовала неутомимая девушка из заводской столовой, Чистяков заплетающимся языком, но гордо сообщил, что строчка «Все кончено, меж нами связи нет» — это, кажется, из Брюсова! Печерникова улыбнулась и сказала, что теперь видит перед собой настоящего кандидата наук...

Отключился Валера на оттоманке под Мурильо. Проснувшись среди ночи, он почувствовал на рту пресную сухость, а язык ворочался с каким-то наждачным скрежетом. В ванной комнате Чистяков включил почему-то душевой смеситель и стал пить, припоминая, что однажды уже пил так, в детстве, в пионерском лагере, — из садовой лейки, и привкус воды был такой же металлический... Возвращаясь назад к оттоманке, Валера заблудился: в спальной дрыхли Желябьев и повариха, она так странно закинула на доцента голую ногу, словно хотела перебраться через него; в библиотеке на кожаном диване, застеленном простыней, под клетчатым пледом лежала Надя, наверное, она допоздна помогала наводить в квартире порядок после кафедрального разгула и осталась ночевать.

Чистяков тихо подошел к дивану, встал на колени и заплакал по своей утраченной любви. Темнота за окном начинала приобретать предрассветный серебристый оттенок. Возможно, Надя не спала, а может быть, ее разбудили рыдания несчастного диссертанта, она выпростала из-под пледа руку, погладила Валеру по мокрой щеке и прошептала: «Все было так хорошо, а ты все так испортил».

Утром Чистяков очнулся на кожаном диване, раздетый и заботливо укрытый пледом. Рядом никого не было, но подушка пахла Надиными волосами, на белой простыне чернел загадочный иероглиф потерянной шпильки, а в большой голове крутилась странная фраза: «А раньше ты был бдительным, товарищ!»

...На свадьбу по предложению остроумного Желябьева Наде подарили набор китайского постельного белья и двухтомник Шолохова «Поднятая целина». Секретарша Люся, представлявшая на торжестве кафедру и вручавшая общественные подарки, рассказывала потом, что на Печерниковой было восхитительное платье, что жених по имени Олег произвел занюханное впечатление, что на свадьбе было много поэтов и они замучили всех своими стихами.

Весной Надя ушла из аспирантуры и стала работать в школе. С тех пор Валера ее не видел.

Алексей Андрианович сдержал свое слово: в ВАКе диссертация пролежала два с половиной месяца. Получение кандидатского диплома, ужасно нескладного, коричневого, с драцким розовым бумажным вкладышем, праздновали у Кутеповых, в семейном кругу. Между тушеной парной бараниной и десертом Чистяков сделал официальное предложение Ляле. Николай Поликарпович заумчиво сообщил, что, по его мнению, прочная семья — единственный залог жизненных удач и успешного служения обществу, а присутствовавший при сем дядя Базиль заявил, что у двух таких замечательных барбосов, каковыми являются Валера и Ляля, будут очаровательные барбосики. Людмила Антоновна

в этот исторический момент находилась на кухне и вынимала из духовки торт, а когда обо всем узнала, то прочитала жениху и невесте стихотворение Степана Щипачева «Любовь — не вздохи на скамейке»...

Свадьбу играли в хорошем загородном ресторане. Медовый месяц провели в Болгарии на Золотых Песках: путевки в конверте преподнес дядя Базиль. Ляля водила Валеру на нудистский пляж, и он имел возможность удостовериться, что у его юной супруги отличная фигура, особенно на фоне обвислых западных теток, которые, вставив фарфоровые зубы, полагают, очевидно, будто у них помолодело и все остальное. Жили молодые в великолепном двухкомнатном люксе с видом на море и акробатически-широкой кроватью. «Ну, милый, здравствуй!»

Воротившись в Москву, Чистяков узнал о скоропостижной смерти Семеренко: в вестибюле института висел выполненный на ватмане черной тушью некролог. Алексея Андриановича, оказывается, пригласили в Белоруссию на слет старых партизан, он поехал, повиделся с боевыми друзьями, побродил по местам, где пришлось воевать, поспорил с некоторыми горлопанами, недооценивающими значение особых отделов во время войны, выпил за Победу... Прибыл назад бодрый, на одном дыхании провел партком, посвященный итогам сессии, и умер ночью во сне, как умирают любимые богом люди.

Новым секретарем парткома, разумеется, стал Валерий Павлович Чистяков.

* * *

Во время второго перерыва снова пили чай с бутербладами, и Бусыгин рассказывал о том, как организовано детское питание в том районе, где БМП первосекретарил, пока его не призвали в столицу искоренять коррумпированных перерожденцев. Мушковец слушал с приторным интересом и довольно уточнял систему бесперебойного снабжения школ горячими завтраками. В течение этого разговора Чистяков изо всех сил старался сохранить на лице гримасу почтительного внимания, а сам все ждал хоть сколько-нибудь приличной паузы, чтобы броситься к стенду «Досуг в районе», где его ждала Надя.

Однако БМП без всякого перехода вдруг заговорил о своей недавней поездке в Америку и, кривя тонкие губы, рассказал о том, как в клозете редакции «Вашингтон пост», куда их привели на экскурсию, он, Бусыгин, лично попользовался туалетной бумагой с изображением улыбающегося вице-президента и даже оторвал на память несколько метров, чтобы в Москве показывать недоверчивым друзьям; он пообещал на следующее бюро захватить кусочек и продемонстрировать всем.

Воспользовавшись тем, что члены президиума, забыв про чай, стали шумно обсуждать этот своеобразный факт заочной демократии, решительно не находя ему достойного применения в советской действительности, Чистяков бочком двинулся к служебному входу и, уже притворяя за собой дверь, перешагнул удивленный взгляд БМП, как бы говоривший: «А тебе, значит, неинтересно? Ну-ну...»

Надя стояла на том же месте.

— А как тебе конференция? — зачем-то спросил Валерий Павлович, подходя к ней.

— Ты же знаешь, как я отношусь ко всему этому...

— Знаю... Зачем же тогда пришла?

— Я пришла к тебе.

— А иначе бы не пришла?

— Пришла бы... На школу прислали разнарядку: два учителя старших классов и один начальных.

— Какую разнарядку? — оторопел Чистяков, лично проводивший организационное совещание, где три раза повторил: «Никакой обязаловки! Это требование товарища Бусыгина!» — Какую такую разнарядку?!

— Обыкновенную, — усмехнулась Надя. — По-другому не умеете.

— Научимся!

— Не научитесь! — с былой, насмешливой непримиримостью отозвалась она, потом словно спохватилась и уже другим, жалобным голосом спросила: — Валера, ты нам поможешь? Ты должен...

— Должен! — перебил он. — Я всегда всем что-то должен!

— Ты сам выбрал себе такую жизнь, — тихо сказала Надя.

— А ты какую выбрала?

— А я вот такую... Валера...
— Подожди! — снова оборвал ее Чистяков. — У меня иногда такое ощущение, что я кручусь в огромном хороводе. Если хочешь что-нибудь сделать, нужно сначала высвободить руки, но тогда ты сразу выпадаешь из круга и твоё место тут же занимает другой...

— Я тебя об этом когда-то предупреждала.

— А почему ты только предупреждала? — так громко, что на них оглянулись, спросил Валерий Павлович. — Ты могла же делать со мной все...

— Нет, не все...

— А я говорю: все! Ты просто не хотела!

— Валера, в той жизни, какую ты выбрал, тебе нужна была другая женщина, — спокойно ответила Надя.

— Откуда ты могла знать, какая мне была нужна женщина?! — почти крикнул Чистяков. Он настырно возвращался к одной и той же теме, чувствовал, что Наде это неприятно, но она терпит и будет терпеть, так как в его руках жизнь ее ребенка...

— Валера, ты нам поможешь?.. — опустив глаза, повторила она.

— Не знаю, — ответил он и ощутил ужаснувшее его удальствие от того, что может по отношению к Наде быть таким же несправедливым, как и она по отношению к нему самому. — Нет, не помогу. В Нефроцентре новый директор, работает комиссия, госпитализируют по центральному списку. Будь это даже мой ребенок, я ничего не смог бы сделать...

— Валера, это твой ребенок, — сказала Надя.

Тут раздался мелодичный удар гонга, и следом — приятный мужской голос, похожий на тот, что в метро предупреждает о закрывающихся дверях. Это было одно из нововведений директора ДК «Знамя», он решительно в связи с перестройкой поменял старый, дребезжащий звонок на мелодичное «бом-бом-бом» и пронзительные призывы диктора: «Уважаемые товарищи, перерыв окончен. Просим не опаздывать в зал! Уважаемые товарищи...»

Надя молча достала из сумочки цветной снимок с надписью в узорной рамочке: «1-е сентября 1984 г.». На фотографии был изображен маленький Валера Чистяков, но не с козлиным чубчиком по моде 60-х годов, а с полноценной современной шевелюрой, к тому же на нем будет не тот давешний мешковатый школьный костюм цвета использованной промокашки, а нынешний, темно-синий, приталенный, с блестящими пуговицами; наконец, в руках этот мальчик-двойник держал не здоровенный нескладный портфель из коричневого псевдокрокодила, а маленький разноцветный ранец с картинкой из «Ну, погоди!».

В фойе несколько раз зажгли и погасили свет, но очередь возле прозрачной буфетной витрины продолжала стоять даже после того, как толстая продавщица с каким-то общепитовским кокошником на голове вышла из-за прилавка и, костеря настырного покупателя, принялась шумно собирать со столиков пустые бутылки и грязную посуду. Мимо просеменил полужнакомый комсомольский инструктор, назначенный дежурить в холле, и удивленно поглядывал на районного партийного полубога, болтающего с земной женщиной в то время, когда районный партийный бог вот-вот начнет отвечать на вопросы актива...

— После конференции куда не уходи! — приказал Чистяков и нехотя отдал Наде фотографию. — Никуда не уходи, поняла?!

Когда Валерий Павлович вышел из-за кулис и, виновато улыбаясь, сел на свое место, Бусыгин уже взошел на трибуну и, как пасьянс, разложил перед собой многочисленные записки. Мушковец посмотрел на Чистякова с безмолвным упреком.

— Не волнуйтесь, товарищи! — задорно сказал БМП. — Пока не отвечу на все ваши вопросы, не уйду!

— А если до ночи будем спрашивать? — кто-то весело крикнул из зала.

— Нам, функционерам, по ночам работать — дело привычное! — ответил Бусыгин.

Слово «функционер» очень понравилось активу, и зал одобрительно зашумел.

— Я тут рассортировал ваши записки, — продолжал БМП. — Встречаются две крайности. Одних интересуют глобальные вопросы, например, возможна ли перестройка при однопартийной системе? Других беспокоят чисто бытовые проблемы, например, будет ли в магазинах мясо? Так с чего начнем — с многопартийности или с мяса?

— С мяса! — крикнули из зала.

— Проголодались, видно! — усмехнулся Бусыгин, и актив взорвался хохотом и аплодисментами. Инструктор Голованов встал, подошел к полированному ящичку и высыпал целую пригоршню новых записок. Аллочка, скучавшая возле столика стенографисток, встрепенулась и с плавностью в движениях, сводящей с ума мужиков, двинулась на сцену. Телевизионщики врубили свои «юпитеры» на полную мощь, и зал сразу превратился в переговаривающуюся, смеющуюся, хлопающую темень...

— Ты где ходишь, барбос? — сердито прошептал Мушковец, как только Чистяков сел рядом.

— Это мой ребенок! — ответил Валерий Павлович.

— Какой ребенок?

— С большими почками...

— Я так и знал! А больше тебе эта аферистка ничего не напела? Внуков с простатитом у тебя случайно нет?

— Это мой ребенок, — твердо повторил Чистяков.

— Точно? — погрузился дядя Базиль.

— Точно.

— Ну, ты и кошкодав! Лялька ничего не знает?

— Нет. Это было до свадьбы... — ответил Валерий Павлович и добавил: — Я завтра пойду к Бусыгину.

— Обязательно! — зло подхватил Мушковец. — Иди и скажи: у меня всра неожиданно появился ребенок с большими почками и другой фамилией. Нужно положить в Нефроцентр...

— Не юродствуй!

— Это ты не юродствуй! Он же только ждет повода. Кому ты будешь нужен, когда тебе голову оторвут, Валера?!

— Неужели ничего нельзя сделать?

— Не знаю... Я пробовал месяц назад засунуть туда знакомого мужика. Так новый директор сразу БМП накапал. Завернули. А мне по шее...

В зале снова раздался аплодисменты. Бусыгин отложил отработанный записку и взял другую.

— Жилье, товарищи, сложный, больной вопрос. Все, что можно, делаем: каленым железом выжигаем кумовство и взяточничество, ставим на место тех, кто привык хапать в обход очерединок. Тут в записке спрашивают, какая у меня самого квартира, — Бусыгин пристально поглядывал в зал и усмехнулся, — секрета никакого нет. В Подмоскovie, где я раньше работал, была трехкомнатная. Теперь двухкомнатная...

— Правильно, двухкомнатная на двоих, — прошептал осведомленный дядя Базиль, — кухня четырнадцать с половиной метров и холл двадцать два. Мне бы такую двухкомнатную!

— Я с вашего позволения, товарищи, продолжу свою мысль, — холодно сказал БМП и долгим взглядом посмотрел в темный зал. — На особом контроле у нас воины-интернационалисты, им будем помогать при первой возможности! Подробнее о перспективах жилищного строительства в районе, если пожелаете, расскажет зампред исполкома товарищ Мушковец. Вон тот, что так оживленно беседует со своим соседом. Мы его специально позвали. Не волнуйтесь, Василий Иванович, мы дадим вам слово! Позже.

Дядя Базиль мгновенно замолк и только как-то странно щелкнул зубами, точно хотел поймать пролетающую мимо муху.

* * *

Вернувшись с Золотых Песков, молодые поселились в квартире Кутеповых, в Лялиной комнате. На стенах висели многочисленные фотографии, в совокупности дававшие некоторое представление о том, как из глазастого младенца с погремушкой в пухлой ручонке постепенно получилась та самая юная женщина, которая теперь носит твою фамилию и просыпается по утрам рядом с тобой. Кстати, в первое же утро Чистяков встретился с тестем возле ванной: оба в сатиновых трусах, вздохмаченные, с помятыми после сна лицами. Вечером того же дня тонкая Ляля подарила отцу и мужу по роскошному адидасовскому спортивному костюму, купленному в «Березке»: Валере — красный, а Николаю Поликарповичу — синий. Так они с тех пор и завтракали, точно флаг Российской Федерации. Костюм, между прочим, хорошо послужил Валере, особенно когда он начал заниматься большим теннисом, чтобы подтянуть полезный было наружу животик и завести полезные знакомства, потом, постепенно изнашившись, превратился в спецовку для хозработ на тестевой даче, там он и остался, после того как, насмерть перепуганный новыми временами и бесчисленными

отставками, Николай Поликарпович сдуру сдал дачу в пользу инвалидов с детства, но это уже не помогло...

И еще одна неловкость, запомнившаяся с тех приймацких времен: Ляля имела обыкновение любить в полный голос, и хотя их комната располагалась на отшибе бескрайней квартиры, временами Валера просто холодел от мысли, что Николай Поликарпович и Людмила Антоновна, готовясь к незатейливому пожилому сну, слышат доченькины вопли и недоуменно переглядываются. Чистяков умолял молодую жену быть посдержаннее, она обещала, крепилась, но внезапно забывалась, и тогда у нее вырывался такой пронзительный крик, что казалось: вот сейчас его подхватят и разнесут по городу заоконные собаки. Постепенно Лялька сублимировала вопли в зубовный скрежет, да так и осталось. Сегодня в их большой бездетной квартире, где при желании можно обратиться, она в минуты довольно-таки редких объятий только громко скрипит зубами, отчего у Чистякова пробегает по спине озноб...

Через год институт дал своему партийному секретарю приличную двухкомнатную квартиру в Орехово-Борисове. Не въезжая даже, Валера с помощью дяди Базиля поменял ее на другую — со спецпланировкой, возле метро «Новокузнецкая». Ступив на свежестлакированный паркет и оглядев чудовищные фиолетовые обои холла, Чистяков начал излагать свою долговременную, рассчитанную на много лет вперед программу благоустройства семейного гнезда, сообщив с гордостью, что мать обещала одолжить деньги. «Не бери в голову!» — ответила Ляля.

Вскоре Людмила Антоновна привезла цветной каталог импортной мебели (такие бывают!) и долго спорила с Лялькой. Валера только слышал непонятные названия «Мираж», «Элла», «Раттенов», «Жича», «Сабина»... Потом теща ползала по полу и мерила портняжким метром длину стен, расстояние от батарей и дверных косяков до углов. Потом снова спорили.

Валера уехал на курсы повышения квалификации секретарей парткомов педагогических вузов страны в Ригу, а когда через две недели вернулся, то обнаружил свою квартиру обставленной, даже шторы были подобраны в тон нежной заморской обивке. В маленькой комнате встал чудный финский спальный гарнитур с широкой кроватью — «сексодромом», по Лялькиному выражению. Большая комната была оборудована под библиотеку-кабинет, и в центре на ворсистом ковре стоял срабатанный под ампир письменный стол, причем в одной тумбе был ящик для бумаг, а во второй — музыкальный бар. Застекленные шкафы на гнутых ножках точно присели под тяжестью книг: подарок тестя. Николай Поликарпович в течение многих лет покупал издательскую продукцию по специнформпесписку, но читать ему, собственно, было и некогда, а для душевного отдыха у него, как мы уже знаем, имелся баян.

В большом холле теща и Лялька поставили мягкую мебель, золотисто-велюровую, с изысканно-бесформенными очертаниями. На журнальном столике помещалась необыкновенная лампа: матерчатый абажур на гигантской бутылке из-под кьянти. Кухня была похожа на операционную.

Непонятно, почему Чистякову так крепко запало в память то давнее возвращение в свою преобразованную квартиру? Он потрясенно ходил следом за серьезной, словно экскурсовод в Музее революции, Людмилой Антоновной и даже забыл поставить на пол чемоданчик. Однажды Валерина мать решила купить новый шифоньер — трехстворчатый, полированный, взамен желтого, обшарпанного, с ободранной местами фанеркой. Сначала ей пришлось долго уговаривать отца, потом, словив его сопротивление, она начала копить деньги, далее около месяца ходила по утрам под магазин отмечаться в каких-то списках, наконец, неделю караулила момент, когда привезут контейнеры с мебелью... Но так и не успела, шифоньеры ушли к участникам другой, альтернативной очереди, деньги постепенно разошлись; у них так и остался тот желтый гардероб, который Валера помнил всю жизнь.

Первым, кого Чистяков пригласил в гости, был доцент Желябьев.

В парткоме педагогического института Валерий Павлович профункционировал четыре года. Если нормальный человек двенадцать месяцев прожитой жизни называет прошлым годом, то Чистяков называл их отчетным периодом.

Когда большевики вышли из подполья и обрели политическую власть, они вдруг с удивлением увидели, что строить социализм людям мешает масса глупых и мелких проблем, связанных с добыванием хлеба насущного, устройством жи-

лья, плотской любовью, деторождением, наконец, смертью... Даже ошарашенный совершенно палеозойским сталинским террором, народ все равно больше интересовался своими бытовыми заморочками, нежели воплощением великой идеи. Тогда-то и был найден компромисс: любой партийный работник, в том числе и Чистяков, похож на двуликого Януса, одно лицо обращено в светлое будущее — социальное соревнование, торжественные заседания, митинги, лозунги, демонстрации, призывы, другое — повернуто к конкретному человеку: бесконечные конфликты, в которых принимают участие деканаты, кафедры, преподаватели и даже студенты, квартирные свары, семейные скандалы, аморалка, а в последнее время с ростом льгот фронтовикам прибавились еще разборы с ветеранами — воевал ли, где и сколько...

Особенно дорого Валерию Павловичу досталась история старшего преподавателя Белогривова, носившего на груди целую коллекцию орденов и медалей. Его хотел вывести на чистую воду еще покойный Семеренко и даже откомандировал за институтский счет надежного человека по местам босвой славы липового ветерана. Выяснилось, что Белогривов никаким не командир взвода бронейщиков, а тыловик, начпродсклада, к тому же чуть не отданный под трибунал за воровство. Выручила Белогривова его тогдашняя подружка, служившая в полевой парикмахерской и упросившая одного генерала, любившего у нее побриться и освещиться, спасти непутевого интенданта. Получив такой роскошный компромат, Семеренко собрался провести партком и стереть в порошок проходимца, но тут раздался звонок с такого заоблачного уровня, что Семеренко помертел лицом и гаркнул: «Так точно!» Паршивец остался целехонек, только перестал открывать торжественный ежегодный митинг возле мраморной доски с именами преподавателей и студентов, павших на фронте. Рассказывали, у себя на складе Белогривов устраивал веселые вечеринки с девчонками, на огонек к нему заглядывали и те, о ком нынче безмерно подданнической дрожи в голосе и говорить-то не принято!

Дело Белогривова снова всплыло наружу уже при Чистякове, поводом послужило составление списков для награждения очередной красивой юбилейной медалью, а подлинной причиной — тот факт, что бывший интендант отхватил единственную выделенную на институт «Волгу». Деньги у него водились: он составлял бесконечные сборники воспоминаний фронтовиков. Чистяков, дай ему волю, своими собственными руками удавил бы этого прохвоста с лоснящейся сугенерской рожой и серебрищейся академической бородкой, тем более что институтская масса яростно вопила: «Распни!» Но с заоблачных высот тем временем доносился усталый, но властный голос: «Не трожь!» Валера попал в ту очень характерную для аппаратчика ситуацию, когда он горел в любом случае. Спас тестя. Он нашел Белогривову место в солидной конторе, занимавшейся укреплением дружбы с народами зарубежных стран: хороший оклад, лечебные и три гарантированных выезда за рубеж в год.

Доверчивая институтская общественность восприняла удаление проходимца как торжество справедливости и блестящую победу молодого принципиального секретаря парткома. Но сам-то Чистяков из всей этой истории сделал для себя важный вывод: главное — избежать конфликтных ситуаций, потому что разрешить их по-божески в конкретных общественно-исторических условиях чаще всего невозможно...

И вот еще одна забавная подробность: Валера долго не мог научиться полноценно сидеть в президиумах, у него от природы было живое лицо, реагировавшее на каждое слово или улыбкой, или гримасой, или зевотой... Однажды старенький, на ходу рассыпающийся профессор, боявшийся пенсии больше, чем смерти, влетел в предынфарктное состояние из-за того, что Чистяков якобы недовольно нахмурился в то время, когда он выступал на факультетском партсобрании. Бедное поколение, выросшее и жившее в эпоху, когда человеческая жизнь висела на кончике хозяйского уха!

Постепенно Валерий Павлович научился цепенеть в президиуме и впадать в анабиоз, надежно закрепив на лице выражение доброжелательного внимания. Кстати, первый, кто посоветовал ему выработать этот жизненно важный навык, был опять-таки любимый тестя Николай Поликарпович, сочинявший все свои брошюры («Наука — производительная сила общества», «Наука и социализм» и т. д.) исключительно в президиумах, а дома быстро и надиктовывавший текст Людмиле Антоновне, в молодости работавшей секретарем-машинисткой в исполкоме.

За это время Чистяков понял еще одну важную вещь: защитная окраска существует не только у насекомых или, скажем, зверушек, у людей она тоже имеется: это очевидная преданность существующему жизнеустройству. Отираясь в коридорах райкома или горкома, общаясь с тестевыми дружками на рыбалке или в домашнем застолье, Валерий Павлович постепенно усвоил и освоил эту непередаваемую собранную раскованность (или раскованную собранность) поменклатурных мужиков. Ведь можно смолчать, а все равно поймут: не наш человек! Можно рассказать кошмарный политический анекдот или покрыть матерком чужь ли не ЧПБ, а потом, когда все отхочутся, добавить одну только фразу или как-то особенно дрогнуть лицом, и сразу станет ясно: а все-таки дороже партии у тебя ничего нет!

«Научись иногда расслабляться!» — учил Валеру дядя Базиль. — Если б Поликарпович не блямкал на своем баяне, то давно бы схлопотал инфаркт. А я вот кузнечиков рисую...» Но Чистяков тоже уже нашел свое: он медитировал в президиумах. Именно так он пережил ужасную Лялькину беременность, два месяца она пролежала на сохранении, чуть не загнулась от интоксикации, а в результате все равно выкидыш, да еще с осложнениями по женской части. «Экспериментируй на других крысах!» — сказала она, вернувшись из больницы, тощая и пожелтевшая. — Если потом очень захочется, возьмем из детского дома, а пока я еще жить хочу!»

И Лялька начала жить. Николай Поликарпович издал какой-то здоровенный цитатник, получил кучу денег и подарил ребятам «Жигуль». Валере было некогда заниматься на водительских курсах, права получила Лялька. У нее появились новые подруги: одна — дочка крупного общепитовского начальника, другая — молоденькая жена какого-то эмвэдэшного хмыря с лицом постаревшего наемного убийцы и третья — отставная, запойная манекенщица, похожая на грациозную мумию. Манекенщица была у них за бандершу. Таким вот миленьким квартетом они мотались по кабакам, нагоняя страх на директоров ресторанов и вызывая зоологическую ненависть у официантов, которых заставляли крутиться почти так же, как крутятся их коллеги в мире чистогана. Самой изысканной забавой у подруг считалось погримасничать и построить глазки какому-нибудь пьяному мужику за соседним столиком, а когда тот, вдохновясь и надувшись, как на конкурсе мужской красоты, подойдет представиться и осмелеть знакомство, отбрызгивать его с аристократической брезгливостью, мол, от вас, любезный, пахнет курицей! Постепенно за подружками укрепилась слава компании развлекающихся феминисточек.

Лялька перевелась на заочное отделение, и отец устроил ее работать в Художественный фонд, а там то вернисаж, то юбилей, то встреча зарубежной делегации, то прием. По пьяному делу Лялька два раза била машину, но эмвэдэшница все устраивала. Это были проблемные времена, когда можно было позвонить, пошутить — и бесследно исчезли протоколы дорожно-транспортных происшествий, свидетели брали свои слова назад, а «Жигуль», отремонтированный в каком-то спецавтохозяйстве, через день стоял в гараже новенький, сияющий, без единой царапины.

Потом Лялька связалась не то с кришнаитами, не то с саньясинами — Чистяков, занятый предсезонной идеологической вахтой, особенно не вникал, — но их любимого гуру замели, или за растение малолетних, или за политику, и секта распалась. Наконец, Лялька попала в компанию скульпторов-монументалистов, тесавших памятники богатым покойникам и заколачивавшим бешеные деньги, даже по мнению манекенщицы, немало повадавшей. Вот тут-то терпение Валеры лопнуло, потому что ваятели покуривали травку, и Лялька возвращалась домой с дурацкой ухмылкой и стеклянными глазами, а поутру лежала трупом и стонала: «Воин-освободитель, спаси!»

«Воин-освободитель» собрал чемодан и уехал жить, нет, не к родителям, уже получившим к тому времени стараниям дяди Базилья приличную квартиру в Нагатино, а к доценту Желябьеву, которого успел сделать своим замом по идеологии. Он в тот период методично осваивал девчушек из отдела мягкой игрушки «Детского мира».

Объясняясь приехал тесть. Николай Поликарпович имел известное представление о своеобразном характере и образе жизни своей дочери, но то, что порассказал ему зять, потрясло Кутелова до глубины души. «Я приму решительные меры! — пообещал он. — А ты, Валера, сегодня же возвращайся домой! Я от Людмилы Антоновны никогда не съезжал, хотя, знаешь, тоже разное бывало...» Валера ве-

чером вернулся домой, но жены там не обнаружил, а позволив Николаю Поликарповичу, узнал, что тесть забрал ее на перевоспитание. Вернулась Лялька через две недели совершенно покорная и удивила его тем, что приготовила утром завтрак: яичницу с помидорами. Работала она теперь не в Художественном фонде, а во Всероссийском обществе слепых — референтом. «Ну, милый, здравствуй!»

А вскоре на тестевой даче, сидя за столом под большой яблоней и попивая домашнее вино, которое прекрасно изготовляла Людмила Антоновна, Кутелов задумчиво поинтересовался, не засиделся ли Валера в своем педагогическом институте, не пора ли ему, как бы это выразиться, подрасти, что ли. «Да вроде не засиделся!» — ответил Чистяков, успешно прошедший очередную отчетную конференцию и теперь плавно въезжавший в роман с новой, интересной преподавательницей кафедры английского языка. «Правильно, — кивнул Кутелов, — каждый должен добросовестно работать на своем месте. И так у нас прыгунов развелось...»

Через месяц Валерия Павловича утвердили заведующим отделом агитации и пропаганды Краснопролетарского райкома партии. Оказалось, к нему уже давно присматривался первый секретарь Ковалевский; поначалу его смущала молодость Чистякова, но неожиданно эти сомнения рассеялись. Кстати, в отделе, который возглавил Валерий Павлович, культурой по иронии судьбы заведовал — кто бы вы думали? — Убиец. Вот такая, понимаете, встреча в горах...

После первой же планерки Чистяков попросил Иванушкина задержаться. Грустно глядя исподлобья, Валерий Павлович произнес дружеское «сколько зим, сколько лет» и предложил покурить. Они вспомнили институт, свои «сокамерные» времена, замечательное сало, которое привозил Убиец от родителей, ту знаменитую поездку «на картошку», где Иванушкина и прозвали Убиец... О злополучной гэдэровской истории не было сказано ни слова. «Ну что, Юрий Семенович, будем работать!» — докурив, радостно сказал Чистяков и хлопнул своего врага по плечу. «Еще как будем!» — преданно ответил человек, однажды чуть не сломавший Валере хребет.

Как к тому времени понял Чистяков, уничтожение врагов и выдвигание друзей в аппаратной игре называется решением кадровых вопросов. Ты можешь аннулировать человека, стереть его в пудру, развеять по ветру, но если в глазах соратников это будет выглядеть по правилам, работать на интересы дела, все скажут, что ты укрепил кадры; в противном случае сочтут, что ты просто сожрал отличного мужика. Но Убиец Валерий Павлович не тронул по иной причине: он простил его. Так по крайней мере Чистякову казалось.

С Ковалевским Валерий Павлович сработался. Для начала навел порядок в отделе, и теперь уже не случалось, как при бывшем заведующем, отлично ушедшем директором издательства, чтобы цифра занимающихся в системе политпросвещения коммунистов, заявленная в докладе, оказывалась больше численности всей районной партийной организации. Кстати, о докладах. Их для Ковалевского сочинял в основном чистяковский отдел. Валерий Павлович довольно быстро схватил незамысловатую манеру своего первого секретаря и научился, посидев вечер-другой, придавать ку-скам, написанным инструкторами, необходимое стилистическое единообразие. Особенно удавались ему характерные для Ковалевского грубоватые колкости в адрес руководителей, не выполняющих плановых заданий. Выходя на трибуну с текстом, сочиненным Чистяковым, Владимир Сергеевич Ковалевский чувствовал себя легко и надежно, словно сам его и написал...

Еще руководя партиорганизацией пединститута, Чистяков понял важную вещь: окружающие люди, как ни крутись, видят в нем пока всего лишь зятяка могучего деятеля городского уровня, особо приближенного к столичному лидеру, и, естественно, ждут от Валеры или откровенного хамства, или той утонченной спеси, каковую являют наиболее умные и дальновидные родственники сильных мира сего. Однако ни того, ни другого в этом молодом, энергичном мужчине с хорошей белозубой улыбкой и ранней сединой они при всем желании усмотреть не могли. Чистяков держал себя так, словно его единственной опорой и поддержкой в этом яростном мире был только папа-заводчанин, выпивающий каждый вечер свою законную четвертинку. Однажды, в розовоцеком детстве, был вот какой случай. В пионерском лагере Валера задружился со здоровенным шпанистым пацаном по имени Ренат, две недели союзники держали в страхе весь отряд и жили, как хотели, а потом Ренат обожрался зеленых яблок, заболел дизентерией и был уве-

зен на лечение в Москву. Дни, оставшиеся до окончания смены, Чистяков прожил кошмарно: его били почти каждый день...

Между прочим, Николай Поликарпович был чрезвычайно доволен выбором своей дочери: страшно подумать, какого шалопа Лялька при своей доверчивости могла привести в дом! А Валера... Его не нужно было тащить за уши, доказывая, например, что нерасторопность — это не тупость, а привычка к обдуманности и обстоятельности, не нужно было вытаскивать из нехороших историй, объясняя, будто все они подстроены с исключительной целью — навредить ему, Кутепову... А нужно было просто делать так, чтобы наверху, там, достоинства Чистякова были всегда на виду, а промахи по возможности неведомы...

Отдел Валерию Павловичу достался сложный: попробуй пропагандировать то, чего нет, и агитировать за то, чего никогда не будет! Чем занимались, боже мой, чем занимались?! Всего за одну ночь установили самый большой в столице портрет Брежнева. Размах бровей — два метра! Установили сразу же после присуждения Ленинской премии. В других районах еще неделю чесались, а у них в Краснопролетарском: вечером сообщила программа «Время», а утром уже вывесили портрет с новенькой лауреатской медалью на неестественно широкой груди, специально нарисованной так, дабы уместились все награды. А когда по «вертушке» позвонил помощник Генерального и передал добрые слова от Самого, у Ковалевского, который явно недолюбливал бровеносца со всей его шайкой, даже сердце на радостях прихватило — неотложку вызывали...

А вот с Убивцем пришлось расстаться. Случилось это неожиданно. Семейный человек, Иванушкин по случаю обрюхатил Аллочку Ашукину: поехал, пакостник, с молодежкой на выездную учебу и, как говорится, отметился, а девочка втрескалась со всего юноего разбега и захотела, декабристка, рожать. Любовь! Убивец ее, правда, уболтал, положил в больницу, а когда чистили, как водится, занесли инфекцию — девочку под капельницей лежала. Конспиратор Убивец, конечно, ее не проведаль — и она, бедняккая, понимала: нельзя! Но не послать даже букетика или пары бутербродов с севрюгой из райкомовской столовой!.. Помните, тогда к Валерию Павловичу пришел посоветоваться первый секретарь райкома комсомола Шумилин, надежный парень, который погорел потом на дурацкой истории с хулиганами, залезшими в зал бюро и устроившими погром... Он принес гневное коллективное письмо работников комсомольского аппарата и актива.

Чистяков вызвал к себе Убивца, положил перед ним «телегу» и грустно сказал: «Извини, старик, самое большое, что могу для тебя сделать: это дать лучшие референции. Ищи, Юра, себе место!» «Это ты зря... — отозвался Иванушкин. — Я бы на твоём месте не упускал случая — добил бы!» «Вот поэтому ты на своём месте, а я на своём!» — миролюбиво ответил Валера.

Убивец перешел в Дом политпросвещения и даже выиграл четвертак в зарплате, но это было тупиковое, гиблое место, откуда обычно выносили под звуки казенного оркестра, а впереди, на подушке — единственная медаль «За трудовую доблесть», полученная на заре жизни, когда над головой было небо. Кто же мог подумать, что Иванушкин отсидится там, оботрется, подшустрит и организует первый в стране кабинет компьютерной грамотности совпартработников?! И уж никто не мог предположить, что на открытие этого чуда советского двадцатого века приедет новое городское руководство, озабоченное кадровыми проблемами, заметит Убивца и возьмет его в аппарат горкома сразу зам. зав. отделом, аккурат под любимого Валериного тестя Николая Поликарповича... Но это случилось потом, а пока все шло весело и слаженно, как пионерское приветствие районной партийной конференции.

За окнами райкома текла обыкновенная жизнь, которой Валерий Павлович якобы управлял. Но он-то понимал: если из тех людей, что толпятся на останках, выходят из магазинов, стоят возле газетных стендов, сидят на скамейках, хотя бы каждый десятый похож на Надю Печерникову, то все эти потуги на руководящую роль — просто чепуха на постном масле! Кстати, о Наде Чистяков вспоминал довольно часто. Не скроем, она (воспоминания о ней) очень помогала Валере в те трудные полусонные минуты, когда приходилось-таки проявлять к опостылевшей Ляльке определенный супружеский интерес, а интереса-то не было — была только какая-то холодная изжога в душе...

Однажды Валерия Павловича срочно вызвал Ковалевский

и, матерясь, достал из сейфа номер молодежного журнала. Чистяков подумал о том, что, вероятно, шеф начинает потихоньку сдавать, если прячет в спецсейф журналец, каковым завалены все киоски «Союзпечати». Перенапрягшееся поколение!.. «Библиографическая редкость!» — объяснил Ковалевский. «Раритет!» — подхватил Чистяков руководящую шутку. «Я тебе серьезно говорю! Весь тираж «под нож» пустили. Осталось несколько штук — вешдок...» «А в чем дело?» — посерьезнел Валерий Павлович. «А ты почитай! Страница пятьдесят четвертая. Завтра на бюро будем исключать» «Автора?» «Автор беспартийный, его по писательской линии накажут. Исключать будем заместителя редактора... Выступишь — и разнесешь по науке...»

Рассказ назывался «Провокатор». На фотографии чернело изуродованное родной полиграфией лицо автора — некоего Олега Соломина, а чуть ниже стояло посвящение, естественно, дамочке, из чего Чистяков сделал заключение, что этот целкопер печатается недавно и еще не успел через прессу отблагодарить всех своих приятельниц. «Другу Наденьке», — усмехнулся Валерий Павлович и внимательно, с карандашом в руке принялся читать художественное произведение, из-за которого пустили «под нож» целый тираж и гонят из партии приличного, заслуженного мужика. Чистяков сразу же подчеркнул двусмысленную фразу, пометил сбоку свое непримиримое отношение к ней и постарался запомнить ее — настолько была хороша и остра. А переворачивая страницу, Валерий Павлович вдруг понял, что Олег Соломин — это тот самый засушенный богомол... Ну да — муж Нади... А «друг Наденька» — это сама Надя... Надя Печерникова... И он начал читать сначала, и читал уже не с политической бдительностью и не с тайным удовольствием — а с болезненной ревностью.

Рассказ был вот о чем. Россия. Начало века. Губернский город Н. Юному студенту, члену подпольной организации Валериану Винчевскому поручено убить местного генерал-губернатора, совершившего чудовищное преступление — он приказал выпороть арестованного революционера! В тайной лаборатории, законспирированной под зубоврачебный кабинет, где священнодействует Химик, гениальный ученый, выгнанный из университета за то, что плюнул в лицо жандармскому полковнику, изготавливается бомба. На сей раз Химик обещал создать совершенно необыкновенный металлический снаряд, способный разнести царского сатрапа по молекулам.

Валериан Винчевский (он, между прочим, прямой потомок польских патриотов, сосланных за участие в восстании Костюшко) начал выслеживать подлеца-губернатора, дабы поточнее определить место, наиболее удобное для взорвения. Выяснилось: каждое воскресенье под присмотром до зубов вооруженного терского казака злодей-генерал подъезжает к воротам городского сада, отпускает охрану покататься на карусели, а сам неторопливо прогуливается по аллеям и поглаживает по головкам попадающихся навстречу детишек.

Карать постановили в городском саду. Но среди подпольщиков разгорелся жаркий спор: наиболее яростный, негшибаемый боевик Булатов требовал любой ценой взорвать негодяя, пусть даже погибнут невинные младенцы, принадлежащие, между нами говоря, к классу эксплуататоров и кровопивцев. Валериан же еще не ожесточился сердцем и хотел привести приговор в исполнение так, чтобы никто другой не пострадал. Под видом коробейника он продолжал наблюдения и даже случайно попал в руки жандармов, но его спасло умение показывать карточные фокусы: от души потешившись, цепные псы царизма отпустили его на все четыре стороны.

Однажды Валериан, теперь уже загримированный под калику переходящего, заметил любопытную закономерность: во время каждой своей воскресной прогулки генерал-губернатор неизменно подходит к гордости городского сада — вековому дубу, выжидает момент, когда кругом никого нет, и торопливо засовывает руку в дупло. Таким романтическим образом старый повеса обменивался нежными посланиями со своей замужней любовницей — известной провинциальной актрисой. И Винчевский решил убить сановного насильника возле заветного дуба.

Никто не понимал, как это произошло... Или гениальный Химик запутался в ингредиентах, или сам юный террорист от волнения замешкался, но бомба взорвалась у него прямо в руках. Когда, соскочив с карусели и выхватив шашку, терский казак примчался на место преступления, то увидел опаленные бакенбарды смертельно испуганного, но живого

и неведомого генерал-губернатора. А вот от покушавшегося не осталось ничего: ни клочка, ни кусочка, ни горстки праха...

Валериан Винчевский очнулся возле того же самого дуба. Ему казалось, что все его тело подобно сосуду, некогда разбитому вдребезги, а теперь вот склеенному из мелких осколков. Знакомое дерево выглядело обветшавшим и стояло теперь не в городском саду, а посередине мощеной площади, неподалеку от белокаменного здания с развевающимся красным флагом на крыше. Дуб был огорожен узорчатой решеткой и оснащен табличкой:

**На этом месте 16 октября 1902 года
студент-революционер В. В. Винчевский
(1883—1902)
совершил героическое покушение
на одного из царских палачей.
Слава павшим героям!**

Ничего не понимая, юный террорист огляделся окрест и увидел, что окаем закрыт дымящимися трубами и высокими, похожими на пчелиные соты, домами, что в небе тяжело плывет серебряный летательный аппарат и что на фронтоне белокаменного здания трепещет лозунг: «Пятилетке качества — рабочую гарантию!» И тогда Винчевского осенило: да-да, в результате несподвижного взрыва бомбы он в мгновение ока перенесся в светлое будущее, где победивший народ установил, как некогда и во Франции, новую форму исчисления времени, в данном случае — пятилетками...

Чтобы утвердиться в своей догадке, Валериан стремглав бросился к белокаменному дому, впоследствии оказавшемуся облисполкомом. Возможно потому, что он начал жадно расспрашивать выходящих оттуда серьезных товарищей, каково нынешнее политическое устройство России, а может быть, одет он был точно студент с известной картины Ярошенко: глухой плащ и надвинутая на глаза шляпа... Одним словом, Валериана забрали в милицию. Юный революционер попытался обрести свободу при помощи своих чудесных карточных фокусов, но его похлопали по плечу, посоветовали не зарывать талант в землю и отправили в камеру. Никаких документов при себе у Винчевского, естественно, не было, а рассказать всю правду он не отважился, ибо понимал: его правда фантастичнее всякого вымысла.

В камере наш узник познакомился с местным краеведом Кулеминым, севшим на пятнадцать суток за то, что в сердцах обозвал вандалом главного областного руководителя, предлагавшего спилить исторический дуб и воздвигнуть взамен гранитный обелиск «Вы жертвою пали!». Оказалось, Кулемин давно уже занимается историей неудачного покушения Винчевского и не один год бьется над загадкой, куда все-таки подевалась тело отважного террориста. Из глубин истории доходили слухи один нелепее другого. Известный дореволюционный фольклорист даже записал в торговых рядах сказ о том, как злой «енерал-убиватор» закатал тело отважного юноши в стеклянную бочку, с «зеленым вином» и спрятал у себя в подвале. Однако даже видный подпольщик Булатов, возглавлявший после революции кожевенную промышленность губернии и написавший интересные мемуары «Рядом с легендой. Мои встречи с Валерианом Винчевским», обошел загадочное исчезновение тела стороной.

Расхаживая по камере, краевед с увлечением рассказывал о том, что поднял даже учетные книги мертвецких — никаких обнадеживающих сведений! Только через месяц после покушения на пустыре за трактиром был найден мертвый юноша с огнестрельной раной в области сердца, опознать его не смогли и похоронили в безымянной могиле. «Через месяц...» — прошептал Валериан. «Через месяц, — подтвердил Кулемин и впервые взгляделся в лицо своего товарища по несчастью. — А вы знаете, молодой человек, вы очень похожи на Винчевского... Случайно не родственник?» «Я его родной внук! — неожиданно для себя выпалил Валериан. — Решил побывать на месте гибели деда, а документы украли в поезде...» «Так что же вы молчите!» — вскричал Кулемин и принялся яростно колотить кулаками в железную дверь камеры.

...Валериану Винчевскому было плохо, а почему — непонятно. Он уже пришел в себя после шумной, с бесконечными застольями двухнедельной поездки по трудовым коллективам региона и оправился от простуды, которую подхватил во время ноябрьской демонстрации, стоя рядом на трибуне с главным руководителем области, по иронии судьбы носившим ту же фамилию, что и небитый генерал-губернатор. Он даже успел полюбить молодую красивую учительницу

словесности Марию Васильевну, пригласившую Валериана на свой открытый урок. Сегодня утром, после безумной ночи любви, она наконец согласилась стать его женой!

И все-таки Валериану было плохо... Он вышел на воздух из гостицы, где прожил, пока достраивался обкомовский дом, где ему обещали двухкомнатную квартиру и где он собирался счастливо зажить с Марией Васильевной, вышел и направился к краеведческому музею. Позавчера Винчевский стал директором этого музея вместо несчастного Кулемина, госпитализированного с неприятным диагнозом: краевед стал кричать на всех перекрестках, будто труп того неизвестного юноши и есть пропавшее тело революционера.

Путь Валериана лежал мимо исторического дуба, точнее, мимо того места, на котором еще недавно росло знаменитое дерево, а теперь вот светлел свежий спил... Винчевский горячо поддержал идею строительства на месте сорванного жемчужинами дуба прекрасного мемориала в честь павших борцов! Смелостью уставший террорист присел на широкий пенек, вздохнул и внезапно ощутил во всем теле страшную боль, он почувствовал себя неким хрупким сосудом, и этот скудельный сосуд некто огромный и сильный со всего маху хрястнул о мостовую, так что только брызнули осколки...

Рассказ, как сейчас помнил Чистяков, заканчивался донесением тайного агента охраны Булатова, внедренного в подпольную организацию с целью подготовить покушение на генерал-губернатора, не сработавшегося с кем-то там из петербургского начальства. Булатов нижайше доносил, что примерно через месяц после неудачного теракта на тайную квартиру, единственную оставшуюся после повальных арестов, явился собственной персоной Валериан Винчевский. Одет он был в странный шуршащий плащ, вероятно, американский, и шапку, похожую на те, что носят бедные селяне и называют «треухами», но только пошитую из ондатры. Воскресший террорист заявил немногим уцелевшим членам некогда мощной подпольной организации, что якобы благодаря взрыву бомбы, попал в будущее, воротился назад и теперь знает, к чему приведет их борьба! «Так вот кто, значит, предал нашу организацию!» — вскричал Булатов, опасавшийся черт знает откуда взявшегося Винчевского. «Я был там... я все понял! — твердо ответил Валериан. — Слушайте!..» «Смерть провокатору!» — оборвал его Булатов, выхватил револьвер и выстрелил юноше прямо в грудь. Ночью завернутое в холстину тело осторожно вынесли из дома и бросили на пустыре за трактиром...

Заместителя главного редактора из партии не погнали, ограничились строгим с занесением, хотя Чистяков в своем выступлении говорил и о «ложной идейно-художественной концепции рассказа «Провокатор», и о прямой клевете на историю нашего освободительного движения». Стоя перед членами бюро, седой мужик с орденскими планками на пиджаке расплакался, как мальчик. Выяснилось, что он страдает запоями. Страдает давно, с войны, а началось все с тех самых «наркомовских ста грамм». Привозили из расчета на роту, а от роты после атаки и взвода не оставалось... Вот с тех пор он так и живет: полгода как человек, а потом вдруг на неделю точно в яму с помоями проваливается. Спасибо, хоть сослуживцы всегда с пониманием относились, прикрывали — запрет в кабинете и отвечают: отъехал, вышел, вызвали наверх... Потом пришел новый ответственный секретарь, который сразу же прицелился на место заместителя, он-то и подсунил тот дурацкий рассказ для ноябрьской книжки: мол, все тип-топ, про революционеров... Кому взбредет, что про революционеров можно как-то не так... Ну, не читая подписал... А у цензора в тот день было отчетно-выборное профсоюзное собрание, он у них там в Главлите культурно-массовой работой занимается, торопился и тоже проштамповал не глядя... «Простите, товарищи, если сможете! До пенсии полгода осталось!»

Важное, его все-таки погнали б из партии, но всех возмутило выступление редактора, гладкощеского демагога, выкручивавшего из тонкого молодежного журнала себе столько, сколько не выкручивали старорежимные латифундисты из орловского чернозема! Он сообщил, что, к сожалению, когда случилось это безобразие, находился в Австралии на конференции «Детство в ядерный век», а то, разумеется, прочитав одну только строчку, сразу бы снял рассказ... И вот теперь, уезжая в Штаты на симпозиум, он просто не решаете оставить журнал на пьющего и небдителного человека. «А вы не оставляйте!» — побагровев, посоветовал Ковалевский — последний раз он был за границей два года назад, в Венгрии. «Что?» «А то самое! Разъезжился... Вы редактор журнала или путешественник Прже-

вальский?» Путешественник только дрогнул усами... Потом, когда Ковалевского катапультировали, друг детей припомнил ему этот разговор и в газете «Правда» в разгромной статье «Мастодонты застоя» хорошенько поплясал на косточках Владимира Сергеевича. В общем, историю с рассказом спустили на тормоза: заму — строгача, главному — на вид. А вот имя Соломина попало в какое-то закрытое письмо о бдительности и идеологическом чутье. С тех пор Олегу не то что рассказ, объявление в бюллетене обмена жилой площади было не напечатать... Чистяков представил себе, как Надя утешает своего засушенного богомола, разозлился и выбросил из головы всю эту историю.

Заведующим отделом Валерий Павлович проработал три года. Однажды, сидя под яблоней на даче и попивая домашнее вино, Николай Поликарпович задумчиво спросил: «Валера, а не пора ли тебе подрасти?» Через месяц Валерий Павлович стал секретарем райкома по идеологии, самым молодым в городе... Теперь отвозила его на работу и привозила домой черная «Волга», обедал он теперь не в большой общей зале, а в специальной обшитой деревом комнате вместе с Ковалевским, другими районными боссами и заезжими величинами. Вчерашние коллеги — заведующие отделами — резко перешли с «ты» на «вы», и даже дядя Базиль, продолжая называть Чистякова «барбосом», стал вкладывать в это слово особый, уважительный смысл. Теперь Валера не переписывал доклады за нерадивых инструкторов, а только тоненьким карандашиком помечал, где и как нужно переделывать. И даже Кутелов стал иногда обращаться к Валере за помощью: один раз, чтобы устроить на работу в районе дочь одного хорошего человека, другой раз — чтобы пробить гараж известному массажисту-экстрасенсу.

Конечно, трезво мыслящий Чистяков понимал, что пока еще остается обыкновенным малозаметным муравьем в этой огромной всесоюзной куче, но одновременно он ощущал, как трепещут и разворачиваются на ветру недавно выросшие, нежные, прозрачные крылышки. Еще немного — и полетишь! Увы, Валера размяк и не сумел по достоинству оценить опасности, связанной с роковым приходом БМП.

Да, Чистяков немного расслабился. У него завязался хороший, спокойный романец с разведенной журналисткой, одиноко существовавшей в уютной кооперативной квартире, куда можно было приехать, предварительно позвонив, в любое время, чтобы отдохнуть телом и душой.

Семейная жизнь тоже наладилась. Все то, за чем раньше Лялька бегала к папе, теперь можно было получить от мужа. Она успокоилась, поступила в очную аспирантуру, занялась влиянием Бердслея на русскую графику начала века, и Чистяков через Академию художеств устроил жене трехмесячную стажировку в Лондоне. Единственное, что осталось у Ляльки от былых загульных времен, — это увлечение разной чертовщиной: например, спиритизмом. Подружек она своих растеряла, отношения поддерживала только со вдовой эмвэздешника (он застрелился на следующий день после падения Шелокова), вдвоем они частенько по вечерам крутили блюдечко, и однажды Лялька взволнованно сообщила Чистякову: «Знаешь, что сказал нам сегодня дух Чапаева?!» «Что?» «По коням!»

Ковалевского и Кутелова освободили от занимаемых должностей в один и тот же день, на одном и том же заседании бюро горкома партии. Случилось это через месяц после прихода БМП. Николай Поликарпович держался молодцом, выйдя из зала, он пошутил со случившимися рядом аппаратчиками про отставку без мундира, прошел в свой кабинет, заперся, достал баян и полчаса играл вальс-каприз: заканчивал и начинал снова. Потом он позвонил домой и сказал Людмиле Антоновне, с самого утра томившейся неизвестностью: «Сняли». Людмила Антоновна только в ответ захрипела и начала, как рассказывала потом присутствовавшая при сем Лялька, медленно заваливаться на бок — сердечный приступ... В больнице Людмила Антоновна не хотела даже видеть Николая Поликарповича и отворачивалась к стене, когда он приходил ее проведать: не могла простить Кутелову, что за месяц до роковой развязки тот сдал дачу под профилакторий для инвалидов с детства. Чистяков понял, что положение нужно исправлять, и организовал своему поверженному тестю шесть соток в хорошем садово-огородном товариществе где-то под Чеховом. Сам же Валерий чувствовал себя прочно и даже однажды на совещании удостоился похвальной реплики нового городского руководства, которому понравилась чистяковская молодость...

Бусыгин обрушился на Краснопролетарский райком, как ураган «Джоанн» на курорты атлантического побережья.

Знакомясь с аппаратом, он сразу заявил: «Кто не чувствует сил работать в новых условиях, пусть поднимет руку!» Никто, разумеется, не поднял, ибо последним человеком, осознавшим, что не может работать в новых условиях, был отстрешный от престола государь-император Николай Александрович.

Из райкома стали исчезать люди. Заведующий промышленным отделом, три года назад перетянутый Ковалевским из парткома производственного объединения, а ранее бывший начальником лучшего цеха, проговорив с Бусыгиным пять минут, вышел из кабинета со слезами на глазах и тут же написал заявление... А БМП, как Гарун аль-Рашид, благо в лицо его покамест не знали, ходил по магазинам района и невинно интересовался у продавцов, куда девались мясо и колбаса, точно и в самом деле не знал, куда они подевались! Продавцы отвечали дежурным хамством, тогда Бусыгин скромно стучался в кабинет директора магазина, снова выслушивал торгашеское хамство, но уже на руководящем уровне, а в тот самый момент, когда, призвав на подмогу дюжего продавца мясного отдела, его начинали вытряхивать из кабинета, доставал свое новенькое удостоверение — и владыка жизни, директор продмага, распался на аминокислоты.

Бусыгин на встрече с избирателями пообещал закрыть в райкоме спецбуфет и закрыл. Пообещал провести праздник района и провел: с тройками, скоморохами, лоточницами, сбитеньщиками... «Народ покупает, кошкодав!» — сказал об этом дядя Базиль. Было у БМП еще два пункта: тир, чтобы пацаны не шастали в подворотнях, а готовились к службе в армии; и бани-сауны, чтобы рабочий человек после трудового дня мог передохнуть и попариться... И если какой-нибудь директор завода, не выполнявшего план, закладывал у себя на территории тир и баню, то сразу же попадал в число любимцев нового районного вождя...

Бусыгин невзлюбил Чистякова с самого начала: Валера оплошал и опоздал на церемонию знакомства нового первого с аппаратом. В тот день Чистяков участвовал в открытии интервиставки «Роботы в быту», говорил спич и поэтому оделся соответственно — в отличную импортную велюровую «тройку» с аристократически зауженными плечами. «Тройку» прикупила ему Лялька, сначала врал, что в «Березке», а потом случайно выяснилось: костюмчик ранее принадлежал покойному эмвэздешнику, но поносить его он так и не успел...

Чистяков вошел в конференц-зал в тот самый момент, когда БМП начал свою тронную речь; громя коррупционеров и перерожденцев, променявших первородство социалистической идеи на чечевичную похлебку личной благоустроенности. И тут словно талантливая иллюстрация к гневным словам нового босса на пороге возник Валера, в своем унаследованном костюме, с красным супермодным галстуком, сам чем-то похожий на фирмача или советского перерожденца. Бусыгин на мгновение замолк, надломил бровь и сказал: «Когда я работал учителем, то за пятиминутное опоздание вызывал родителей! В следующий раз позвоню вашему тестю!»

Честно говоря, Валерий Павлович подбиделся, но не придать тому случаю должного значения, надеясь верной службой наладить отношения с крутым шефом. Чистяков, как, впрочем, и весь аппарат, приходил в восемь — уходил в десять, забыл про уик-энды, ловил и исполнял каждое предложение Бусыгина и однажды, услышав, будто первого греют массовые народные действия первых лет революции, устроил на площади перед райкомом гигантскую манифестацию с символическим сожжением чучела бюрократа застойного периода. И только однажды, когда снимали с работы заведующего роно, Чистяков, который и привел его на это место, робко заметил, что так можно и совсем без кадров остаться... БМП в ответ ничего не сказал и только глянул с нехорошим любопытством. Непонятно, почему Бусыгин до сих пор не тронул Валерия Павловича по-настоящему? Может быть, чувствовал, что к нему неплохо относиться город, или не хотел, чтобы молва увязала уход Кутелова с мгновенным падением его молодого и хорошо зарекомендовавшего себя зятя, а возможно, БМП просто еще не подобрал в своем медвежьем углу человека, достойного быть секретарем в столичном райкоме, впрочем, вероятнее всего — Валеру просто оставляли напоследок, как приберегают в тарелке самый большой пельмень...

А пока БМП все вопросы, которые курировал Чистяков, замкнул на себя, телефоны в Валерином кабинете молчали как мертвые, и сотрудники опасливо обходили кабинет

опального секретаря стороной, точно он недавно скончался от СПИДа, а санэпидемстанция еще не успела продезинфицировать помещение.

Чистяков переживал трудное время. Выписалась из больницы Людмила Антоновна, а летом Николая Поликарповича долбанул инсульт. Он, чтобы заслужить прощенье жены, ввязался в строительство садового домика, добыл благодаря оставшимся связям десять кубов «вагонки» и складировал на участке, а когда приехали шабашники обшивать домик, то «вагонки» на месте не оказалось — свистнули, подогнали грузовик, покидали в кузов и увезли в неизвестном направлении, потоптав к тому же все посадки. «Я его понимаю! Разве можно спокойно смотреть, как разворачивают страну?» — молвил дядя Базиль, выходя из палаты, где лежал Кутепов. У тестя отнялась правая рука, а вместо слов получалось теперь какое-то слюнявое гуканье. Вернувшись домой, Николай Поликарпович часами сидел на тахте, поглаживая действующей рукой перламутровый бок своего любимого баяна. Лялька забросила диссертацию и спиритизм, ходила за отцом, как за маленьким, и несколько раз заговаривала с Валерием Павловичем про то, что хочет вынуть спиральку и еще раз попробовать с ребенком, а если не получится, взять кого-нибудь из детского дома...

Как-то раз после совещания секретарей в буфете горкома к Чистякову подсел со стаканом чая Убивец, расспросил про здоровье тестя, рассказал анекдот про город Чмуровск, где ни хрена нет, даже антисемитизма, а потом, между делом, сообщил, что у БМП с городским руководством был о нем, Валере, очень странный разговор и что вроде бы Бусыгин получил-таки «добро» на устранение Чистякова. «Не зевай! Скоро эта сенокосилка и до тебя доедет!»

В тот вечер Валерий Павлович возвращался домой своим ходом. Машину он дал Ляльке — свозить тестя в кооперативную поликлинику: от четвертого управления Кутепова открепили, а участковый врач может поставить только один диагноз: «жив — мертв». Чистяков, оказывается, совершенно отвык от суетливых, толкающихся, потных сограждан, которые, плюхнувшись рядом на прогалину дерматинового диванчика и усаживаясь поудобней, как-то по-куриному двигают задницами; он отвык от этого дурацкого предупреждения «Осторожно, двери закрываются!», воспринимавшегося теперь в некой глумливой связи со всем тем, что случилось с Валерием Павловичем за последнее время.

Напротив Чистякова сидел какой-то зачуханный мужик в лоснящемся зеленом костюме с вызывающим среднетехническим «поплачком» на лацкане. Но рядом с этим чуделом стояла очаровательная девчушка, темноволосяя, голубоглазая, с белым упругим бантом на макушке. Он, видимо, папаша, нудно наставлял ее, а она, видимо, дочь, послушно кивала и гладила по костлявой руке. А потом они стали как бы мириться и сцепили мизинцы — маленький, розовенький и длинный, крючковатый, с желтым загибающимся ногтем... При виде этого ногтя Чистякову стало тошно, он выскочил на остановке, дождался другого поезда, но поехал не домой, а к дяде Базилю, с которым и напился до полного собственного изумления.

* * *

Благодаря многолетнему опыту Валерий Павлович очнулся и подключился к происходящему в самый нужный момент. Бусыгин читал вслух очередную записку: «Михаил Петрович, почему же раньше у нас не было таких острых конференций, а только одни занудные собрания?»

— А вот этот вопрос — прямо секретарю райкома партии по идеологии товарищу Чистякову. Полагаю, на ближайшем пленуме мы поспрашиваем его... А он нам ответит! Наш принцип в кадровой политике, товарищи, такой: не умеешь работать по-новому — уходи!..

Пока БМП произносил этот приговор, Валерий Павлович равнодушно разглядывал страницу своего еженедельника, на которой красовалось дважды подчеркнутое слово «Надя» с жирным знаком вопроса. Потом Чистяков скосил глаза на листок, лежавший перед Мушковым, — на нем был изображен очень странный кузнечик, скорее всего какой-то мутант: яйцеклад забурен, как лапа, передние лапы похожи на скорпионьи клешни, а челюсти огромны и кровожадны...

Василий Иванович и Валерий Павлович обреченно переглянулись, а Бусыгин тем временем уже рассказывал про то, как борется против использования служебных машин в личных целях. В частности, сегодня вечером все работники

аппарата райкома, включая и самого БМП, разъедутся с конференции своим ходом, а не на традиционных черных «Волгах»... Заодно проверят работу муниципального транспорта! Зал устроил овацию.

— Нравится? — тихо спросил дядя Базиль, имея в виду нарисованное кузнечикоподобное чудовище.

— Роскошно! — отозвался Чистяков.

— Я, знаешь, в детстве здорово рисовал... Мне даже советовали в «Строгановку» поступать... — вздохнул Мушковец.

Конференция закончилась почти в одиннадцать часов вечера. Но Бусыгин еще спустился в зал и продолжал отвечать на вопросы в гуще масс, как это теперь стало модно.

— На работу завтра не проспите? — тепло шутил он.

— Не проспим! — радостно отвечали люди.

БМП окружили плотным кольцом, смотрели на него с обожанием, а он удовлетворенно улыбался, подобный председателю колхоза, сфотографированному на фоне выращенного им небывалого урожая. Сотрудники аппарата сблизись поодаль и, терпеливо удерживая на лицах гримасы умиления, ждали, когда же народ отпустит своего первого секретаря.

— А вы рано просыпаетесь? — спрашивали люди.

— В шесть! — отвечал БМП.

— Ого!

— Час занимаюсь физкультурой по старославянской системе. Потом бегаю от инфаркта. В восемь на работе.

— Молодец...

Вдруг какая-то глупенькая девочка с сахарорафинадного завода протянула Бусыгину свой пригласительный билет и робко попросила автограф. БМП в ответ добродушно рассмеялся, сказал, что он не кинозвезда, а скромный партийный функционер, но автограф дал — и тут же десятки рук протянули ему свои глянцево-картонки с золотым тиснением... Смущенно пожимая плечами, БМП принялся подписывать бесчисленные пригласительные билеты.

— Вот это популярность! — Рядом с Чистяковым стоял Убивец и нежно наблюдал происходящее. — Любимец публики. К нам и то телевидение не ездит...

— Да-а... Теперь вот так... — неопределенно ответил Валерий Павлович.

— Давай-ка, Валера, я тебя домой подброшу! — предложил Иванушкин. — Ты у нас теперь безлошадный. Заодно и поговорим!

Чистяков заколебался: конечно, Убивец зря не подойдет — есть у него какая-то важная информация, но, с другой стороны, вот так запросто уйти во время небывалого единения БМП с народом — это откровенная демонстрация неуважения, совершенно лишняя для Валерия Павловича в его нынешнем положении...

— Брось! — заметив его сомнения, сказал Убивец. — Тебе это больше не нужно...

— Не понял, — похолодел Валерий Павлович.

— Поехали — объясню...

— Хорошо, — решился Чистяков. — Машина у служебно-го?

— Да.

— Хорошо... Я сейчас.

Он торопливо пошел, почти побежал в фойе. Свет там был уже погашен, стулья поставлены на столы ножками вверх. Только в подсобке мерцал огонек, и было видно, как толстая буфетчица, слоная пальцы, пересчитывает выручку. Надя стояла на том же месте, где еще совсем недавно имелся стенд «Досуг в районе», разобранный и унесенный сотрудниками отдела пропаганды.

— Прости меня за настырность... — увидев Валерия Павловича, начала Надя.

— Ну, о чем ты говоришь! Просто у меня сейчас трудное время...

— Да, я слышала...

— Слышала?! — дрогнул Чистяков и понял: если вопрос о снятии секретаря райкома дошел уже и до школьных учителей, дела его действительно ни к черту...

— Я слышала, как тебя Бусыгин критиковал, — объяснила она.

— А-а... Тебе нравится Бусыгин? — спросил Валерий Павлович.

— Нет. Он упивается властью. Это плохо кончится...

— Для кого?

— Для всех. Людьюми может управлять только тот, кому власть в тягость.

В фойе ввалилась ватага дружинников. Из-за нехватки мест народ стихийно перетаскивал стулья из буфета в зал,

и вот теперь их возвращали на место. Завхоз показывал, куда ставить, и громко ругал самовольство активистов, однако, заметив Чистякова, замолк и принялся сосредоточенно пересчитывать стулья, за которые нес материальную ответственность.

— Надя,— тихо проговорил Чистяков.— Не волнуйся. Я все устрою...— Он замялся, соображая, стоит ли говорить, какой ценой достанется ему это несчастное койко-место в Нефроцентре, но, подумав, решил не говорить.

— Спасибо, Валера...

— Я тебе позвоню на следующей неделе. Раньше не получится.

— У нас нет телефона,— забеспокоилась Надя.

— Тогда позвони мне ты. В среду. Ладно?

— Спасибо, Валера!

— Выше голову, товарищ! Скоро восстанет пролетариат Германии!

— Ты знаешь,— вдруг какой-то жалобно-радостной скороговоркой начала Надя,— Дима роскошно играет в шахматы. У него второй мужской! Представляешь?

— Какой Дима? — не сообразил Чистяков.

— Дима...— пояснила она.— Мальчика зовут Дима!..

Когда, запыхавшись, Валерий Павлович высочил на улицу и очутился возле черной «Волги» с представительным московским номером на бампере, Убиец, уже сидевший рядом с шофером, посмотрел на Валерия Павловича с той грустной сердечностью, которая в отношениях между людьми их уровня означала: а мог бы и не заставлять себя ждать! Когда они вырвали из внутреннего двора ДК «Знамя», Иванушкин попросил водителя проехать через Новокузнецкую, чтобы подбросить домой секретаря райкома партии.

Улицы оказались совершенно пустынными, и просто не верилось, что всего три часа назад они были запружены плотным, неостановимым потоком словно бы прущих на нерест автомобилей. Мелькали мимо освещенные, но уже бесхозные в эту пору стеклянные милицейские будочки. Водитель включил приемник, отыскал среди эфирного воя и скрежета «Маяк» — передавали симфоническую музыку. Чистяков подумал, что, уйдя из райкома, станет жить нормальной человеческой жизнью, накупит ворох классических пластинок, будет каждый вечер их слушать, особенно Чайковского и Сен-Санса. Он никогда не понимал по-настоящему музыки, но догадывался, что она примиряет с жизнью. А БМП, конечно, отдаст Валере это койко-место для Димы, обменяет на заявление по собственному желанию. Как будто в партии бывает оно, собственное желание!..

— После отчета на бюро горкома Бусыгин тебя уберет,— спокойно, как что-то само собой разумеющееся, сообщил Убиец.— Наш не хотел тебя отдавать, но ты же понимаешь!..

— Понимаю...

— Куда пойдешь?

— Не знаю...

— Возвращайся в науку.

— Куда? Ты смеешься.

— Поможем. Допустим, проректором к нам, в педагогический. А?

— Спасибо за заботу.

— Долг платежом...— отозвался Убиец и осторожненько спросил:— Дошло до нас, БМП вместо отчета хочет по горкому долбануть?! От имени и по поручению ширнармасс...

— Он со мной не советуется.

— Вестимо. С нами тоже. Товарищ не понимает...

— Объясните.

— Пробовали. Не понимает.

— Странно,— пожал плечами Валерий Павлович,— он как будто с вами вместе учился?..

— Мы с тобой тоже вместе учились,— улыбнулся Иванушкин.— А почему бы тебе не выступить на бюро? Расскажешь, как он в районе кадры гноит...

— Сами вы, конечно, не знаете?

— Знаем. Но объективная информация с места — совсем другое дело. От тебя нужна лишь принципиальная оценка.

— Пугнуть его хотите?

— Немножко. Для профилактики.

— У тебя есть выход на Нефроцентр?

— Нет. На твой район вообще никаких выходов нет. Только через БМП...

В это время музыка закончилась и начались последние известия, сводившиеся в основном к тому, где и сколько

посеяли, выплавили, пошили, сковали, собрали, изобрели, скосили... Куда только все девается? Потом директор какого-то завода стал с классовым остервенением ругать смежников. В заключение посетительница кооперативного кафе восторженно рассказывала, что впервые в жизни обедала за столом, застеленным чистой скатертью!

— Выступишь? — снова спросил Иванушкин.

— Я подумаю...

— Подумай. Елисееву, между прочим, скоро на покой. Через полгода новый ректор понадобится...

Чистяков дурашливо отдал честь отъезжающей черной «Волге» и вошел в подъезд своего дома. Стеклопанельная стена служебной комнаты была наглухо задернута розовой занавеской — консьержка опять болела. Лифт стоял с разверстыми дверями и словно специально поджидал Валерия Павловича. Кнопки пульта оказались оплавленными и закопченными, а на полированной текстуре гвоздем нацарапали: «Номеклатура е...» Второе слово, отпричастное прилагательное, было написано вполне грамотно, а вот в первом имелось две орфографические ошибки. Раньше ничего подобного в их respectable доме не случалось!

Лялька оставила записку: ночует сегодня у родителей, так как «вагонку» нашли в соседнем садово-огородном товариществе, и тестю на радостях снова стало плохо. Далее она сообщала, что в холодильнике жареная печенка, в шкафу спагетти и что «Лялюшонок» целует Чистякова в ушко... На столе, рядом с запиской, лежали две новенькие книжки «Спортивные игры в семье» и «Диатез у детей». Жена в последнее время одержимо скупала все издания, рассказывающие о секретах воспитания здорового потомства.

Валерий Павлович достал из холодильника початую бутылку водки и поначалу просто хотел выпить рюмочку, закусив тминной черной корочкой, но вдруг ощутил в желудке совершенно жуткий, kloкочущий голод. Трясущимися руками он поставил на огонь печенку и воду для спагетти. Потом все-таки не выдержал, выпил рюмку и закурил остатками селедки, которые Лялька, с годами становившаяся все хозяйственнее, сложила в майонезную банку и залила подсолнечным маслом.

Дожидаясь, пока закипит вода, Чистяков полистал книжку про спортивную семью и в предисловии наткнулся на такую вот фразу: «Однажды к древнему мудрецу пришли родители и сказали, что мечтают вырастить своего ребенка здоровым, красивым, умным. «Когда нужно начинать воспитание?» — спросили они. «Сколько лет ребенку?» — спросил мудрец. «Пять дней», — ответили они. «Вы опоздали на девять месяцев и пять дней!» — был ответ».

Валерий Павлович представил себе, как в понедельник войдет в кабинет Бусыгина и, дождавшись, когда тот соизволит заметить секретаря по идеологии, положит на стол заявление: «В связи... прошу... по собственному желанию...» БМП надломит правую бровь, глянет с нехорошим любопытством и скажет, наверное, так: «Думаю, сложно будет объяснить членам бюро, почему в такой трудный момент вы уходите с партийной работы!» Скажет, а про себя, конечно, подумает: «Слава тебе, господи! Сам догадался!» Потом Бусыгин спросит, куда же он собирается уходить. Валерий Павлович ответит, что пока еще сам не знает, и в этот момент, именно в этот момент, попросит за Надиного пацана... за Диму. «Грехи молодости?» — поинтересуется БМП. Чистяков лишь кивнет. И тот не откажет, ибо покорный уход своего врага, а также его союзническое молчание на бюро горкома точно уявят с этой странноватой просьбишкой. А молчание Чистякова БМП хорошо запомнит, потому что на бюро горкома будет порка, хорошая профилактическая порка районного руководителя, подзабывшего немного принцип демократического централизма. БМП вызовет по селектору секретаршу, эту лахудру, которую привез в Москву из своего Волчехренска, и скажет: «Маша, соедини-ка меня с директором Нефроцентра!..» А в среду, когда позвонит Надя, Чистяков скажет ей: «Все нормально, товарищ! Бери Диму, товарищ, и дуй срочно в Нефроцентр, товарищ!» «Спасибо, Валера!» — заплачет она. Что ж, за это Надино «спасибо» и за эти слезы благодарности стоит заплатить своей дурацкой судьбой, разбить ее об пол, точно свиной-копилку... Валерий Павлович выпил еще рюмку и вывалил в пузыриющуюся воду целую пачку спагетти. В начале первого позвонил дядя Базиль.

— Ты куда, барбос, исчез? — спросил он уныло.— БМП тобой интересовался. Меня, грешного, выпрашивал, а заодно предлогал за две недели найти себе новое место... Понял?

— Понял... У тебя есть что-нибудь на примете?
 — Есть. Начальник отдела кадров управления ритуальных услуг. Все кладбища мои будут! Соглашаться?
 — Соглашайся,— улыбнулся Чистяков.— Хоть похорошишь меня по-людски...
 — Новодевичье не обещаю, а Ваганьково гарантирую! — успокоил Мушковец.— А куда ты все-таки делись?
 — Да та-ак...
 — Ну, и что тебе это «да та-ак» по фамилии Иванушкин напело?
 — Предлагало на бюро горкома плюнуть в БМП.
 — Плюнь, Валерочка, христом богом тебя прошу, плюнь! Хочешь, я тебе своих слюней подбавлю?
 — Я подумаю,— ответил Чистяков.

Спагетти разварились и лежали на тарелке вроде солитёра. Есть Валерию Павловичу расхотелось. Он побрел в спальную, прямо в одежде плюхнулся на «сексодром», и ему показалось, что кровать — это мягкий плот, медленно плывущий куда-то и тихо покачивающийся на волнах.

...«Товарищ, ты меня уважаешь?» — спросила Надя, открывая глаза. Чистяков хотел объяснить, что не просто любит ее, но не успел, ибо снаружи раздался душераздирающий младенческий вопль: очевидно, два гундевших кота все-таки решились на большую драку. Почти сразу же донесся топот и громкие, заинтересованные крики первокурсников: «Куси его, серый, куси!» Чтобы лучше видеть потасовку, студенты, грохоча, взбежали на крылечко Надиного «бунгало». И на занавеске, как в театре теней, сгрудились их живые силуэты. Счастливые обладатели друга друга опасно косились на окно, страшились пошевелиться и оставались лежать все так же совокупно и все так же неподвижно обнявшись. Но исподволь сознание того, что буквально в метре от них, за тонкой стеночкой шумно толпятся ничего не подозревающие первокурсники, постепенно наполняло их тела боязливым и потому особенно острым желанием...

Эпилог 1.

В понедельник бюро городского комитета партии, заслушав и обсудив отчет первого секретаря Краснопролетарского РК КПСС тов. Бусыгина М. П., рекомендовало освободить его от занимаемой должности за развал работы в районе. Состоявшийся на следующий день пленум райкома партии рассмотрел организационные вопросы: единодушно освободил тов. Бусыгина М. П. и так же единодушно избрал на освободившийся высокий пост тов. Чистякова В. П., работавшего ранее секретарем того же райкома...

2.

Поговаривали, что выбор остановили на нем по двум причинам: во-первых, его терпеть не мог свергнутый Бусыгин (впрочем, таких людей насчитывалось немало), а во-вторых (и это главное!), Чистяков проявил необычайную дальновидность и оказался единственным, кто не стал швырять камни в БМП на том беспощадном заседании бюро горкома. Вернувшись домой с пленума райкома партии уже в новом качестве, на вопрос жены: «Как дела, Валерпапыч?» — он только вымолвил: «Полный апофегей!»

3.

В среду, войдя в свой новый кабинет, где письменный стол уже был передвинут на другое место, а с полок убраны образцы народного творчества города Волчешкурска, откуда в свое время прибыл и куда теперь снова убывал товарищ Бусыгин, Валерий Павлович первым делом вызвал свою новую секретаршу Аллочку Ашукину, заказал себе крепкого чая с сушками и распорядился:

— Алла Викторовна, ко мне сегодня будет дозваниваться Надежда Александровна Печерникова. Запишите: Печерни-ко-ва... Если я буду на активе, скажите ей, что вопрос решается... Пусть наберется терпения. Товарищи из Нефрцентра ее сами известят... И прошу вас, Алла Викторовна, будьте с ней поласковее. У Печерниковой серьезно болен ребенок... Очень серьезно! Понимаете?

— Понимаю,— кивнула Ашукина и уточнила:— Если вы будете на месте, вас соединять с ней?

— А зачем? — вздохнул Чистяков и ободряющей улыбкой выпроводил Аллочку из кабинета.



Сергей
БЕЛОРУСЕЦ

Дебют в
«ЮНОСТИ»

☆☆☆

Подчиняемся ходу вещей.
 Вряд ли что-то для жизни страшней,
 Чем умение не подчиниться.
 Эта истина, в общем, стара —
 В ней заложены зерна добра.
 Только вот худосочна пшеница...

☆☆☆

Быт отвлекает нас от жизни,
 Ее порою подменяя собой.
 Хотя в конечном счете
 Быт отвлекает нас от смерти...

☆☆☆

Это — схема.
 А в жизни сложней...
 Потому что больней и страшней.
 Потому что глупее и проще.
 Это — схема. А в жизни — на ощупь.

☆☆☆

Пора открытых окон
 На каждом этаже—
 И город наш не кокон,
 А бабочка уже...

☆☆☆

Никого не призываю к спору я.
 Мне уже, боюсь, не обознаться
 В том, что пошлость — пошлина, которую
 Платим жизни, чтобы в ней остаться...

☆☆☆

Жизненный опыт — это баланс
 С приобретенным изъяном.
 Жизненный опыт — это балласт,
 Сбросить который нельзя нам.
 Ходим, расчетные шутки шутя,
 Под колпаком мимикрии.
 Здравствуй, Непервый закон бытия —
 Вот мы тебя и открыли!..

☆☆☆

Среднеасфальтовый, типа колодца,
 Утренний двор отдает леденцом.
 Своды кирпичные перед лицом
 Желто-зеленого летнего солнца
 Тают по капле в тени холодка
 За три часа до тяжелого зноя.
 Зыбко парит притяжение сквозное.
 Полупрозрачны, как явь, облака...

г. Москва

На следующий день Фред явился в управление.

— Установлено шесть голокамер — по нашему мнению, шести пока достаточно, — которые передают информацию в надежную квартиру в том же квартале, где находится дом Арктора, — объяснял Хэнк, разложив на столе план-схему дома Роберта Арктора. — Оттуда мы ведем наблюдение еще за девятью объектами, так что вам придется встречаться с другими тайными агентами. Обязательно носите костюм-болтуня.

— Но это чересчур близко... — возразил Фред. — Впрочем, я скажу, что встречаюсь там с цыпочкой, если Арктор или кто-нибудь из других торчков меня заметит.

Даже удобно. В любой момент забежать в эту квартиру, прогнать запись, а потом быстренько вернуться...

В свой собственный дом, подумал он. На одном конце улицы я — Боб Арктор, закоренелый наркоман, за которым следит полиция. На другом конце — Фред, бдительно просматривающий мили и мили ленты. Все это действует на нервы. Но обеспечивает ценную информацию личного характера. Скорее всего камеры уличат того, кто за мной охотился, в первую же неделю.

Филип
К. ДИК

ПОМУТНЕНИЕ

Роман

От этой мысли у него улучшилось настроение.

— Отлично, — сказал он Хэнку.

— Запомните, где расположены камеры. Если потребуется обслуживание, вы, очевидно, что-то сможете сделать сами, находясь в доме Арктора. Вы ведь бываеете у него, не так ли?

Черт побери, подумал Фред, я попаду в запись: Роберт Арктор, с расплывшимся на весь экран лицом, возится с забарахлившей голокамерой. Но, с другой стороны, первым запись будет просматривать он. И любой кусок можно вырезать.

Но что вырезать? Вырезать Арктора, полностью? Но Арктор подозреваемый. Значит, вырезать Арктора, только когда тот ремонтирует камеру...

— Я буду себя вырезать. Чтобы вы меня не увидели. Мера предосторожности.

— Разумеется. Все места, где вы появляетесь как информатор. Это что касается видеозаписи. По фонограммам определенных правил не существует. Впрочем, нет нужды беспокоиться. Само собой, вы входите в круг друзей Арктора. Вы либо Джим Баррис, либо Эрни Лакмен, либо Чарлз Фрек, либо Донна Хотори...

— Донна? — Он рассмеялся. Вернее, рассмеялся костюм — по-своему.

— Либо Боб Арктор, — невозмутимо закончил Хэнк, глядя в список. — Но если вы будете вырезать себя систематически, хотим мы того или нет, мы путем исключения установим вашу личность. Словом, вам надо вырезать себя — как бы это выразиться? — изобретательно, артистично, черт побери, творчески!.. Например, в те короткие периоды, когда вы обыскиваете дом, или поправляете камеру, или...

— А вы просто раз в месяц присылайте кого-нибудь в форме, — посоветовал Фред. — Так, мол, и так, доброе утро, мне нужно сделать технический осмотр голокамер и подслушивающих устройств, тайно установленных в вашем доме, в вашем телефоне и в вашей машине.

— Тогда Арктор притаится, а потом исчезнет.

— Если Арктор что-нибудь скрывает, — с нажимом сказал Фред. — Это не доказано.

— Арктор, очевидно, скрывает очень многое. Мы получили и проанализировали новые факты. Практически не остается никаких сомнений — это человек с двойным дном, он насквозь фальшивый.

— Подложить ему наркотики?

— Повременим.

— Арктор обречен, — сказал Фред.

— Скоро мы соберем на него полное досье, — заверил Хэнк. — И тогда мы его посадим. К всеобщей радости.

Запоминая адрес конспиративной квартиры, Фред подумал: а как будет использоваться грязный, но большой дом Роберта Арктора, когда хозяина упрячут за решетку? Скорее всего там расположится еще более крупный узел обработки информации.

— Вам понравится дом Арктора, — сказал он вслух. — Хороший двор, много зелени.

— Наша техническая группа сообщала то же самое. Есть определенные перспективы. К примеру, окно гостиной выходит на перекресток; таким образом можно следить за проходящим транспортом... — Хэнк стал копаться в грудке бумаг на столе. — Но руководитель группы докладывает, что дом настолько ветхий, что его не стоит забирать.

Рисунки
Дмитрия Кедрина

Продолжение. Начало см. в № 4 за 1989 год.

— То есть как это? Как это ветхий?!

— Крыша.

— Крыша совершенно новенькая, с иголки!

— Покраска. Состояние полов и перекрытий. На кухне...

— Чушь! — возмутился Фред, точнее, пробубнил костью. — Они, может, не убирают посуду или, там, не выбрасывают мусор, но в конце концов трое одиноких мужчин! Это — женское дело. Если бы Донна Хоторн переехала, как того хочет, прямо умоляет Боб Арктор, она бы этим и занялась. Так или иначе, если дружно взяться, дом можно привести в идеальный порядок за полдня. Что касается крыши, это меня просто бесит, потому что...

— Значит, вы советуете использовать дом, когда Арктор будет арестован и потеряет право собственности?

Фред застыл.

— Ну? — подстегнул Хэнк, занеся над бумагой шариковую ручку.

— Мне все равно, поступайте как хотите...

Фред поднялся, собираясь уходить.

— Не спешите. Вы должны зайти в комнату № 203.

— Если это по поводу моего выступления...

— Нет, — сказал Хэнк. — Это по какому-то другому поводу.

Фред оказался в белоснежной комнате с привинченными к полу стальными столом и стульями. Она походила на больничную палату — стерильная, холодная и чересчур ярко освещенная. В углу стояли весы. В комнате ждали два человека в полицейской форме, но с медицинскими нашивками.

— Вы Фред? — спросил один из них, с усами.

— Да, сэр, — ответил Фред. Он почувствовал страх.

— Ну-с, Фред, скажите нам, вы принимаете препарат С?

— Вопрос, собственно, излишний, — пояснил другой, — потому что в силу специфики работы вы вынуждены это делать. Подойдите сюда и садитесь. Мы проведем несколько простых тестов. — Он махнул рукой на стол, на котором лежали бумаги и какие-то странные, незнакомые Фреду предметы.

— Что касается моего выступления... — начал Фред.

Проверка вызвана тем, что в последнее время некоторые тайные агенты попали в федеральные невропатологические клиники. Вам известно, что прием препарата С вызывает привычку?

— Безусловно, — сказал Фред. — Конечно, известно.

— Мы начнем с теста...

— К чему все это? — перебил Фред. — Спорю, что из-за моего выступления перед общественностью.

— Среди линий на листке есть рисунок знакомого предмета. Вы можете его найти?

— Я вижу бутылку коки.

— Но правильный ответ — бутылка содовой, — сказал сидящий врач, заменяя листок.

— Вы что-то заметили, прослушивая записи моих встреч с руководством? Какие-нибудь отклонения? Может быть, произнесенная мною речь показала дисфункции головного мозга?

— Нет, обычная проверка. Мы понимаем, что тайный агент по долгу службы вынужден принимать наркотики...

— Вас не беспокоят перекрестные разговоры? — неожиданно вмешался стоящий врач.

— Что?.. — растерянно переспросил Фред.

— Диалоги между полушариями. Порой, если левое полушарие, где расположен речевой центр, повреждено, правое полушарие пытается компенсировать, по мере сил взять на себя его роль.

— Не знаю, — промолвил он. — Не обращал внимания.

— Чужие мысли. Словно за вас думает другой человек. Иногда всплывают даже незнакомые иностранные слова, то есть слова, которые вы когда-то запомнили подсознательно.

— Ничего подобного. Я бы заметил.

— Вероятно, заметили бы. По опыту людей, страдающих повреждениями левого полушария, это крайне неприятно. Ранее считалось, что правое полушарие вообще не управляет речью. Но в последнее время очень многие люди подвергли свои левые полушария разрушительному действию наркотиков, и в отдельных случаях правое полушарие имело возможность заполнить, так сказать, вакуум.

— Теперь я, безусловно, буду начеку, — заверил Фред и услышал свой голос — голос покорного, исполнительного школьника, готового на любое указание, исходящее сверху. Разумное или бессмысленное — не имеет значения.

Просто соглашайся, подумал он. И делай, что тебе говорят.

— Что вы видите на второй картинке?

— Овцу, — сказал Фред.

— Покажите мне овцу. — Сидящий врач склонился над столом и повернул картинку. — Нарушение способности распознавать отличительные признаки приводит к большим неприятностям — вместо того, чтобы установить отсутствие определенной формы, вы воспринимаете ложную форму.

Например, собачье дерьмо, подумал Фред. Собачье дерьмо наверняка можно считать «ложной формой». По всем параметрам... Он почувствовал себя разбитым и уставшим, как во время публичного выступления.

— Значит, не овца? А что? Хотя похоже?

— Это отнюдь не тест Роршаха, где бесформенная клякса может быть истолкована по-разному, — сказал врач. — В данном случае обрисован лишь один предмет, и только один. А именно собака.

— Что? — испуганно переспросил Фред.

— Собака.

— Где вы тут видите собаку? — Он не видел никакой собаки. — Покажите мне.

Сидящий врач показал.

— А что значит, если я увидел овцу?

— Возможно, обыкновенный психологический блок, — ответил стоящий врач, переступая с ноги на ногу. — Только когда мы проведем всю серию...

— В этом и заключается превосходство данного теста перед тестом Роршаха, — перебил сидящий, доставая другую картинку. — Верный ответ только один. Если вы постоянно ошибаетесь, мы определяем функциональное повреждение восприятия и будем приводить вас в форму, пока не пройдете испытание успешно.

— В федеральной клинике? — спросил Фред.

— Да. Ну-с, что вы видите здесь?

— Вы мне скажите, — потребовал Фред, — это из-за той речи?

Врачи обменялись взглядами.

— Нет, — наконец ответил стоящий. — Нас насторожила одна беседа... ну, просто болтовня... Около двух недель назад. Понимаете, при обработке записей возникает временная задержка. Таким образом, мы постоянно изучаем материал примерно двухнедельной давности. До вашей речи еще не добрались.

— Вы несли какую-то околесицу об украденном велосипеде, — подхватил другой врач. — О так называемом семискоростном велосипеде. Вы пытались сообразить, куда подевались еще три скорости, не так ли? — Врачи снова обменялись взглядами. — Вы ведь считали, что они остались на полу гаража?

— Нет, — возразил Фред. — Это все Чарлз Фрек. Он совершенно задурил всем голову. Лично я просто шутил.

БАРРИС (стоит посреди гостиной с новеньким блестящим велосипедом, очень довольный). Поглядите, что я достал за двадцать долларов!

ФРЕК. Что это?

БАРРИС. Велосипед. Гонимый, десятискоростной, абсолютно новый. Я заметил его в соседнем дворе и заинтересовался. Там оказалось четыре таких, и я купил его за двадцать долларов наличными. У цветных. Они даже любезно передали мне его через забор.

ЛАКМЕН. Кто бы подумал, что абсолютно новенький десятискоростник можно купить за двадцать долларов. Просто поразительно, что можно купить за двадцать долларов!

ДОННА. У одной цыпочки в прошлом месяце точно такой украли. Вы должны вернуть его. Пускай она по крайней мере взглянет, не ее ли.

ФРЕК. Почему вы твердите, что он десятискоростной, когда у него только семь шестеренок?

БАРРИС (ошеломленно). Что?

ФРЕК (подходит и указывает). Ну вот пять шестеренок здесь и две на другом конце цепи. Пять плюс две получается семь. Значит, это только семискоростной велосипед.

ЛАКМЕН. Верно. Но даже семискоростной велосипед, безусловно, стоит двадцати долларов. Выгодная покупка.

БАРРИС (оскорбленно). Эти цветные заверили меня, что у него десять скоростей... Грабеж!

(Все обступают велосипед и пересчитывают шестеренки.)

ФРЕК. Теперь я вижу восемь. Шесть впереди и две сзади. Итого восемь.

АРКТОР (*рассудительно*). Но должно быть десять. Семи или восьмискоростных велосипедов не существует. Во всяком случае, я о таких не слышал. Интересно, куда делись пропавшие скорости?

БАРРИС. Должно быть, с великом возились эти цветные. Разбирали его не теми инструментами, без должной технической подготовки. А когда собирали, три шестеренки остались на полу гаража. Так, наверное, там и лежат.

ЛАКМЕН. Надо потребовать их назад.

БАРРИС (*со злостью*). В этом-то и заключается их план: наверняка сдерут деньги! Не удивлюсь, если они еще что-нибудь прикарманили. (*Придирчиво осматривает велосипед.*)

ЛАКМЕН. Если мы пойдем вместе, все отдадут, как миленькие, не сомневайся! Ну, идем? (*Оглядывается в поисках поддержки.*)

ДОННА. А вы уверены, что их только семь?

ФРЕК. Восемь.

ДОННА. Семь, восемь!.. В любом случае надо у кого-нибудь спросить. Прежде чем катить баллон.

АРКТОР. Она права.

ЛАКМЕН. Кого спросить-то? Кто у нас сечет в гоночных великах?

ФРЕК. Остановим первого встречного!

(*Выкатывают велосипед и обращаются к молодому негру, который только что вышел из своей машины. Указывают на семь — восемь? — шестеренок и спрашивают, сколько их, хотя каждому видно — за исключением Чарлза Фрека, — что их всего семь: пять на одном конце цепи и две на другом. Пять плюс два — семь. Это ясно как божий день. Так что же получается?!*)

МОЛОДОЙ НЕГР (*спокойно*). Число шестеренок спереди и сзади надо не складывать, а перемножать. Видите, цепь перескакивает со звездочки на звездочку, а их пять, и мы получаем пять разных передаточных чисел на каждой из двух звездочек впереди. (*Показывает.*) Теперь, если мы повернем рычажок на руле (*показывает*), цепь перейдет на вторую звездочку и опять-таки может перескакивать на любую из пяти сзади. То есть получается еще пять. Итого десять. Имейте в виду, что передаточное число всегда рассчитывается из...

(*Все благодарят его и уходят, молча вкатывая велосипед в дом.*)

— Нам известно, что вы были в этой компании, — сказал сидящий врач. — Никто не мог трезво взглянуть на велосипед и проделать простую математическую операцию по определению числа передач. — В тоне врача Фред почувствовал доброту, даже некоторое сострадание. — Вы все были невменяемы?

— Нет, — ответил Фред.

— Так в чем же дело?

— Забыл...

— Давайте продолжим тестирование, — предложил сидящий врач. — Что вы здесь видите, Фред?

— Пластмассовое собачье дерьмо... Могу я идти? — Он испытывал бешенство. Они его замучают из-за злополучной речи!

Оба врача, однако, рассмеялись.

— Знаете, Фред, — сказал сидящий, — если у вас не пропадет чувство юмора, пожалуй, вы своего добьетесь.

— Добьюсь? — повторил Фред. — Чего добьюсь? Успеха? Времени? Денег? Если вы, ребята, психологи и слушаете мои бесконечные доклады Хэнку, то скажите: как подобрать ключик к Донне? То есть я хочу спросить: как это делается? С такой вот милой, ни на кого не похожей, упрямой цыпочкой?

— Все девушки разные, — рассудил сидящий врач.

— Я имею в виду, как найти эстетический подход? — продолжал Фред. — А не спойти ее, напичкать «красненькими» и изнасиловать, пока она валяется на полу.

— Купите ей цветы, — посоветовал другой врач.

— Что? — удивился Фред, широко раскрыв невидимые за костюмом глаза.

— В это время года можно купить маленькие весенние цветы.

— Цветы... — пробормотал Фред. — Какие? Искусственные или живые?.. Живые, я полагаю.

— Искусственные — дрянь, — сказал сидящий врач. — Они выглядят, как... подделка. Что-то фальшивое.

— Я могу идти? — спросил Фред.

Врачи переглянулись.

— Тест доведем до конца как-нибудь в другой раз, — сказал стоящий. — Не так уж это и срочно. Хэнк вас известит.

По какой-то неясной причине Фреду захотелось пожать им руки, но он этого не сделал. Он просто вышел, молча покачивая головой, с гнетущим чувством тревоги. Они капают в моем досье... И что-то находят, раз есть повод для тестирования.

Весенние цветы, думал он, идя к лифту. Малюсенькие. Они, должно быть, едва поднимаются от земли, и люди их дают... Как они растут — в специальных коммерческих чанах или на природе? Интересно, каково там, на природе? Поля, запахи и все прочее... и где ее найти, эту природу? Куда надо ехать? У кого брать билет?

Я бы с удовольствием взял с собой Донну, когда соберусь ехать. Но как предложить такое девушке, если ты не знаешь, с какой стороны к ней подступиться? Если все время околачиваешься возле нее и ничего не получается?.. Нам нужно спешить, подумал он, потому что скоро все весенние цветы погибнут.

Глава 8

По пути к дому Боба Арктора Чарлз Фрек придумал, как разыграть Барриса. Он скажет, что купил метедриновую мастерскую, спрятанную в гараже у одного хлыща, а Баррис презрительно фыркнет, и тогда он объявит, что получил от дядюшки сорок тысяч и...

Фрек пока не мог сообразить, как закончить, но не сомневался, что сделает все в лучшем виде. Баррис непременно клонет, особенно если у Боба будет народ. И тогда всем станет ясно, что Баррис — вонючий осел.

Баррис и Арктор копались в машине с поднятым капотом.

— Привет! — бросил Фрек, приближаясь флангирующей походкой. — Баррис, — небрежно-покровительственным тоном окликнул он, опуская руку тому на плечо.

— Потом! — прорычал Баррис.

— Я купил сегодня метедриновую мастерскую.

— Большую? — раздраженно спросил Баррис.

— Ну... — растерялся Фрек, не зная, что сказать дальше.

— Сколько дал? — вставил Арктор.

— Примерно десять долларов.

— Джим мог бы достать тебе дешевле, — заметил Арктор, вновь склонившись над мотором. — Да, Джим?

— Их сейчас отдают практически даром, — подтвердил Баррис.

— Целый гараж! — возмутился Фрек. — Настоящий завод! Машины, которые пекут миллионы таблеток в день!

— И все за десять долларов? — широко улыбаясь, спросил Баррис.

— Где она находится? — спросил Арктор.

— Не здесь, — смущенно ответил Фрек. — Эй, черт поде-ри, вы опять меня разыгрываете!..

Из дома вышел Лакмен — в темных очках, пестрой рубашке и обтягивающих джинсах.

— Я узнавал, во что обойдется переборка карбюратора. Они скоро перезвонят, так что я оставил дверь открытой.

— Можно заодно заменить этот двухцилиндровый на четырехцилиндровый, — предложил Баррис.

— Резко возрастут холостые, — сказал Лакмен. — И потом он не будет переходить на высшую передачу.

— Поставим тахометр, — настаивал Баррис. — Как обороты чересчур поднимутся, надо сбросить газ, и тогда автоматически сменится передача. Я знаю, где достать тахометр. Вообще-то он у меня есть...

— Ну да, — саркастически произнес Лакмен. — При обгоне газанешь, а он перейдет на низшую передачу, и обороты так подскочат, что двигатель накроется!

— Водитель увидит, как прыгнула стрелка тахометра, и сразу сбросит газ, — терпеливо возразил Баррис.

— При обгоне-то?!

— Момент! — наставительно заявил Баррис. — Такую тяжелую машину момент поведет по инерции, даже если уб-рать газ.

— А в гору? — поддел Лакмен.

— Машина весит около тысячи фунтов, — сообщил Ар-ктор.

Чарлз Фрек заметил, что он подмигнул Лакмену.

— Тогда ты прав, — согласился Баррис. — При таком весе

момент инерции будет небольшой. Хотя... — Он схватил ручку. — Тысяча фунтов со скоростью восемьдесят миль в час создают силу...

— Тысяча фунтов, — вставил Арктор, — это с пассажирами, полным баком и ящиком кирпичей в багажнике.

— Сколько пассажиров? — спросил Лакмен с серьезным видом.

— Двенадцать.

— То есть шесть сзади, — рассуждал вслух Лакмен, — и шесть...

— Нет, — перебил Арктор. — Одиннадцать сзади и впереди один водитель. На задние колеса давление должно быть больше, чтобы не заносило.

Баррис тревожно вскинул голову.

— Машину заносит?

— Если только сзади не сидят одиннадцать человек, — ответил Арктор.

— Лучше загружать багажник мешками с песком, — назидательно сказал Баррис. — Три двухсотфунтовых мешка с песком. Тогда пассажиров можно разместить равномернее, и им будет удобней.

— А может, один шестисотфунтовый мешок золота? — предложил Лакмен. — Вместо трех двухсотфунтовых...

— Ты отвяжешься?! — гаркнул Баррис. — Я пытаюсь рассчитать силу инерции при скорости восемьдесят миль в час.

— Машина, не дает восьмидесяти, — заметил Арктор. — Один цилиндр барахлит. Я забыл сказать. Вчера что-то случилось.

— Тогда какого черта мы вытаскиваем карбюратор? — возмутился Баррис. — Так вот почему она не заводится...

— Твоя машина не заводится? — спросил Фрек Боба Арктора.

— Она не заводится, — сказал Лакмен, — потому что мы вытащили карбюратор.

— А зачем мы вытащили карбюратор? — растерянно спросил Баррис. — Я что-то забыл...

— Чтобы заменить все пружины и всякие мелкие штуковины, — разъяснил Арктор.

— Если бы вы не тарахтели все время, как зачуханные убудки, — обиженно пожаловался Баррис, — я бы давно закончил расчет. Так что ЗАТКНИТЕСЬ!

Лакмен раздул грудь, расправил плечи и поиграл бицепсами.

— Ну, Баррис, — процедил он, отводя назад правую руку, — сейчас я тебя проучу! Будешь знать, как разговаривать с людьми, которые превосходят тебя во всех отношениях!

Заблевав от дикого ужаса, Баррис выронил ручку и блокнот и зигзагами помчался к дому, на ходу крича:

— Кажется, звонит телефон!..

— Я просто его подкалывал, — пробормотал Лакмен, пощипывая нижнюю губу.

— А если он возьмет свой револьвер с глушителем? — спросил Фрек, совершенно потеряв самообладание. Он потионьку стал отходить к машине, чтобы сразу укрыться, как только Баррис начнет стрелять.

— Ну ладно, давай, — сказал Арктор.

И они принялись за работу, а Фрек околачивался возле своей машины, кляня себя за то, что вообще решил приехать. Сегодня здесь нет той приятной расслабленной атмосферы, как обычно. Он с самого начала почувствовал недоброе. Что же произошло, недоумевал он, садясь в машину.

А ведь как хорошо отдыхалось, как сладко балделось под рок, особенно под «Стоунз»!.. Лакмен набивает сигаретку и разглагольствует о семинаре, который он проведет в УКЛА¹, по приготовлению и употреблению травки. И о том, как он однажды набьет идеальную сигаретку и ее поместят под стекло и в гелий в Музее американской истории рядом с другими реликвиями не меньшего значения... Как было здорово в те дни! А все началось с Джерри и перекинулось сюда.

— Я уезжаю, — заявил Фрек Лакмену и Арктору.

Из дома осторожно выглянул Баррис. В руке он сжимал молоток.

— Ошиблись номером, — сказал он, опасливо приближаясь и зыряка глазами, словно краб.

— Зачем молоток? — спросил Лакмен.

— Для ремонта двигателя, — предположил Арктор.

— Решил прихватить на всякий случай, — смущенно объяснил Баррис. — Попался на глаза...

— Самый опасный человек — это тот, — проговорил Арктор, — кто боится собственной тени.

Чарльз Фрек услышал эту фразу, отъезжая, и задумался: не имее ли он в виду меня? Ему стало стыдно. А впрочем, какого черта здесь ошиваться? «Избегай дурных сцен» — вот мой девиз, напомнил себе Фрек. И уехал, не оглядываясь. Пусть грызутся между собой. Кому они нужны?.. Настроение резко упало. Такая пугающая перемена — чем она вызвана, что это значит?.. Но потом он подумал, что все еще может поправиться, дела пойдут на лад, и воспрянул духом. У него даже пронесся в голове коротенький глюк:

ВСЕ, КАК ПРЕЖДЕ

Собрались все, даже мертвые и выгоревшие, вроде Джерри Фабина. Их заливают белый свет — не дневной, но куда лучше, — целое море света. Слышна музыка, хотя трудно разобрать, с какой пластинки. Может быть, Хендрикс, подумал он. Да, старая вещь Хендрикса... Или нет: Джи-Джи. Джим Крос, и Джи-Джи, и особенно Хендрикс... «Перед тем, как я умру, — напел Хендрикс, — дайте мне пожить, как я хочу...»

И тут вдруг глюк взорвался, потому что он вспомнил, что и Хендрикс, и Джоплин мертвы, не говоря уже о Кросе. Хендрикс и Джи-Джи погибли, сидя на игле, — два великолепных человека, потрясающих-распотрясанных человека... Поговаривали, что менеджер давал Дженис Джоплин сущие гроши — она все пускала на наркотики... Потом в голове у него зазвучала музыка, и Дженис запела свою знаменитую «Одиночество», и он начал плакать. И так, плача, он ехал домой.

...Арктор сидел в гостиной с друзьями и пытался решить, нужно ли брать новый карбюратор или можно обойтись переборкой старого. Всем телом он чувствовал постоянный контроль, электронное присутствие камер. И на душе было хорошо.

— Ты радуешься, — заметил Лакмен. — Я бы не радовался, если бы мне пришлось выложить сотню долларов.

— Я решил найти точно такую машину, как у меня, — объяснил Арктор. — А затем снять с нее карбюратор и ничего не платить. Как делают все, кого мы знаем.

— Особенно Донна, — кивнул Баррис. — Лучше бы ее не было здесь в тот день, когда мы уезжали. Донна крадет все, что может унести. А если сил не хватает, она звонит своим друзьям, и те оказывают ей помощь.

— Расскажу вам одну историю про Донну, — сказал Лакмен. — Однажды она бросила четвертак в машину, что продаст почтовые марки. Машина испортилась и давай эти марки выплывать! В конечном итоге — Донна со своими друзьями-головорезами пересчитала — оказалось больше восемнадцати тысяч пятнадцатидесяти марок. Ну, скажете вы, здорово! Только что с ними делать Донне Хоторн, которая в жизни не написала ни одного письма?! Так или иначе, сидит она с грудой пятнадцатидесяти марок и ума не приложит, куда их деть. Не продавать же обратно почте! Позвонила друзьям, которые на нее работают, и они приехали с каким-то спецобалденным отбойным молотком — с водяным охлаждением и водяным глушителем. Краденый, конечно. Вот... и среди ночи выдрали эту машину прямо из асфальта и увезли к Донне на пикапе. Тоже, наверное, угнанном...

— Ты хочешь сказать, что она продавала марки? — проговорил ошеломленный Арктор. — Через автомат?

— Эта женщина невменяема! — возмутился Баррис. — Ее надо лечить! Ты понимаешь, что у нас повысились налоги из-за того, что она украдала машину?!

— Напиши об этом властям, — неприязненно посоветовал Лакмен. — Попроси у Донны марку для письма, она тебе продаст.

— За полную стоимость, — сказал Баррис, кипя негодованием.

Голокамеры, подумал Арктор, накрутят десятки миль подобных записей на своих дорогих лентах... А потом ему в голову пришла ужасная, чудовищная мысль: предположим, просматривая записи, я увижу, как Донна забирается в мой дом, открыв окно вилкой или лезвием ножа, и крадет или портит все мое имущество. Другая Донна, такая, какая она есть на самом деле, когда уверена, что за ней никто не наблюдает... Не превращается ли внезапно милая, добрая, очень добрая девушка в нечто кошмарное? Не увижу ли я перемену, которая разобьет мое сердце? Перемену в Донне или в Лакмене — в близких мне людях?

¹ УКЛА — Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

Черт возьми, подумал он, а может, Боб Арктор встает среди ночи и выкидывает дикие колена? Сношается со стеной. Или вступает в заговор с ошизевшими торчками, чтобы взорвать на вокзале мужской туалет...

Боб Арктор, рассуждал он, может узнать такое, к чему он совершенно не готов, — о Донне, о Лакмене, о Баррисе. Например, что Баррис отправляется спать, когда никого вокруг нет. И спит, пока кто-нибудь не появится.

Но вред ли. Скорее Джим Баррис выуживает из каких-нибудь закоулков своей комнаты спрятанный передатчик и посылает закодированный сигнал своим коллегам, с которыми тайно злоумышляет, — уж по каким там причинам тайно злоумышляют такие типы, как Баррис...

Говорят, что, когда слушаешь запись, невозможно узнать собственный голос. Или распознать себя на видео. Вы представляли себя высоким, толстым, темноволосым мужчиной, а оказываетесь худенькой лысой женщиной... Уверен, что я узнаю Боба Арктора, думал он, если не по одежде, то путем исключения. Тот, кто живет в этом доме и не является Баррисом или Лакменом, — Боб Арктор. Если не кошка и не собака...

— Мне надо идти, — сказал он. — Лакмен, твоя машина на ходу?

— Нет, — подумав, ответил Лакмен. — По-моему, нет.

— Можно мне одолжить твою машину, Джим?

— Я сомневаюсь, что ты сумеешь ею управлять...

Это возражение возникало всякий раз, когда кто-нибудь хотел воспользоваться машиной Барриса. Оказывается, Баррис внес кое-какие секретные изменения в

- а) подвеску;
- б) двигатель;
- в) трансмиссию;
- г) электросистему;
- д) а также в часы, зажигалку, пепельницу и в бардачок.

Особенно в бардачок. У Барриса он всегда был заперт. Радиоприемник тоже был хитроумно переделан. Нажатие любой кнопки вызывало только треск. И, как ни странно, рок-музыка не ловилась никогда. Порой, когда они вместе ехали за покупками и Баррис выходил из машины, он включал определенную станцию на полную громкость. Если во время его отсутствия они меняли настройку, он в бешенстве что-то бессвязно орал, а потом молчал всю дорогу и отказывался объяснять свое поведение. Возможно, настроенный на некую частоту, его приемник вел передачу

- а) властям;
- б) общественной военно-политической организации;
- в) синдикату;
- г) инопланетянам.

— То есть я хочу сказать... — начал Баррис.

— А, заткнись! — оборвал Лакмен. — У тебя самая обычная машина. На стоянку ее загоняет сторож. А почему ею не может пользоваться Боб? Жмот ты проклятый!

— Пойду пешком, — сказал Арктор.

— Ты куда? — спросил Лакмен.

— К Донне. — Добраться до нее пешком было почти нелегко, и, значит, ни Лакмен, ни Баррис за ним не увяжут. Он набросил плащ и подошел к двери. — До скорого.

— Моя машина...

— Если б я попробовал вести твою машину, — перебил Арктор, — то нажал бы ненароком не на ту кнопку и улетел бы из Лос-Анджелеса к чертовой матери.

— Я рад, что ты понимаешь мое положение, — виновато сказал Баррис.

Фред в костюме-болтуня бесстрастно наблюдал за голографическим изображением. В соседних кабинках просматривали записи другие агенты. Фред, однако, смотрел прямую передачу из дома Боба Арктора.

Баррис сидел в лучшем кресле гостиной, склонившись над гашишной трубкой, которую он мастерил уже несколько дней, и виток за витком наматывал белую проволоку. Лакмен скрючился за кофейным столиком и жадно заглывал ужин, не отрывая глаз от экрана телевизора. На столе валялись четыре пустые жестянки из-под пива, сплюснутые его могучим кулаком; теперь он потянулся за пятой, опрокинул, пролил пиво и выругался. Баррис отрешенно поднял голову, а потом снова склонился над работой.

Внезапно Лакмен выронил ложку, вскочил, пошатываясь, на ноги и отчаянно замахал руками, пытаясь что-то сказать. Его рот открылся, и на одежду полетели куски полупереже-

ванной пищи. С радостным мяуканьем к нему бросились кошки.

Баррис возвел глаза на несчастного Лакмена. Тот закачался, схватился рукой за столик и свалил все на пол. Кошки испуганно бросились наутек. Баррис оставался в кресле, не сводя взгляда с Лакмена. Лакмен сделал несколько нетвердых шагов к кухне, зашарил в темноте, нашел стакан, попытался наполнить его водой. Охваченный ужасом, Фред отпрянул от монитора и зачарованно смотрел на сидящего спокойно Барриса. Через несколько секунд Баррис опустил голову и стал невозмутимо и сосредоточенно наматывать проволоку.

Динамики доносили душераздирающие звуки, стоны, хрипы, клокотание и грохот посуды — Лакмен сбрасывал горшки, кастрюли, утварь, стараясь привлечь внимание Барриса. Баррис методично работал.

На кухне тем временем Лакмен упал на пол — не медленно, на колени, а резко, ничком, с тяжелым стуком. Баррис продолжал мотать проволоку. На его лице, в уголках рта, появилась легкая злорадная усмешка.

Фред поднялся и застыл, парализованный и возбужденный одновременно.

Несколько минут Лакмен недвижно лежал на кухонном полу, а Баррис все мотал и мотал проволоку, склонившись над трубкой, как старушка над вязаньем, и все улыбался и улыбался и даже немного раскачивался. Затем Баррис резко отбросил трубку, встал, и на его лице отразился ужас. Он в беспомощном испуге всплеснул руками, бестолково заметался и наконец подбежал к Лакмену.

Входит в роль, понял Фред. Слово он только что пришел. Лицо Барриса приняло скорбное выражение. Он рванул к телефону, схватил трубку, уронил ее, поднял... Какой кошмар, Лакмен лежит на полу в кухне, подавившись куском пиццы!.. И теперь Баррис отчаянно пытается вызвать помощь. Увы, поздно...

Баррис говорил по телефону — медленно, необычно высоким голосом.

— Девушка, куда надо звонить: в ингаляторную или в реанимационную?

— Сэр, — пропищало рядом с Фредом подслушивающее телефонное устройство, — у кого-то затруднено дыхание? Вы хотите...

— Полагаю, что это инфаркт. Либо инфаркт, либо нарушение проходимости дыхательных путей вследствие...

— Ваш адрес, сэр? — прервала телефонистка.

— Адрес? — забормотал Баррис. — Сейчас, надо подумывать, адрес...

— Боже, — выдавил Фред.

Внезапно Лакмен зашевелился, судорожно дернулся и раскрыл затуманенные глаза.

— Кажется, с ним все уже в порядке, — затараторил Баррис. — Спасибо, помощь не требуется. — Он быстро положил трубку.

— Господи... — прохрипел Лакмен, трясая головой, кашляя и хватая ртом воздух.

— Ну, как ты? — участливо спросил Баррис.

— Наверное, подавился. Я что, вырубился?

— Не совсем. Твое сознание, однако, перешло на другой уровень. На некоторое время. Очевидно, в альфа-состояние.

— Боже, я обделался!

Покачиваясь от слабости, Лакмен с трудом встал и схватился за стенку.

— Я совсем опустился... Как старый пьяница, — с отвращением выдавил он и, шатаясь, направился к ванной.

Наблюдая за происходящим, Фред почувствовал, как ужас отступает. Лакмен охушается. Но Баррис! Что это за человек?!

— Так и очокуриться можно, — сквозь плеск воды донесся голос Лакмена. — У меня очень крепкий организм... Что ты делал, пока я там валялся? Пасьянс раскладывал?

— Ты же видел — говорил по телефону, — сказал Баррис. — С врачами. Я стал действовать, как только...

Скрежет тормозов. Гудок. Боб Арктор быстро обернулся. В темноте у тротуара спортивная машина с работающим двигателем, за рулем — девушка. Машет рукой.

Донна.

— Я тебя напугала? Ехала к вам, смотрю — ты плетешься. Ну я и остановилась. Садись.

Он молча забрался в машину и захлопнул дверцу.



— Ты чего здесь ошиваешься? — спросила Донна. — Машину еще не починил?

— У меня только что было жуткое шугало, — медленно произнес Боб Арктор. — Не просто глюк, а... — Он содрогнулся.

— Я достала.

— Что?

— Тысячу таблеток смерти.

— Смерти? — непонимающе повторил он.

— Да, высококачественной смерти.

Она врубила первую передачу и тут же разогнала до высшей. Донна всегда ездил слишком быстро.

— Проклятый Баррис! — сказал Арктор. — Ты знаешь, как он действует? Сам не убивает, нет. Он просто околачивается поблизости и ждет, пока возникнет ситуация, когда человек отдаст концы. Сидит сложа руки, пока тот не издохнет. То есть он подстраивает все так, чтобы остаться в стороне. Но я понятия не имею, как это ему удается. — Арктор замолчал, уйдя в свои мысли. Да, Баррис не будет подкладывать бомбу в машину. Он всего лишь...

— У тебя есть деньги? — спросила Донна. — За товар? Мне нужно получить прямо сейчас. Тут кое-что наклеивается.

— Конечно.

— Я не люблю Барриса, — сказала Донна, ведя машину, — и не доверяю. Знаешь, он сумасшедший. Когда ты рядом с ним, ты тоже становишься сумасшедшим. А когда его нет, ты нормальный. Сейчас ты сумасшедший.

— Я? — удивленно спросил Арктор.

— Да, — невозмутимо ответила Донна.

Он растерянно молчал. А что говорить? Донна никогда не ошибается...

— Послушай, — с внезапным энтузиазмом предложила Донна, — ты не можешь сводить меня на рок-концерт?

— Запросто, — машинально отозвался Арктор. А потом до него дошло: Донна *просит*... — Конечно, сходим! — радостно воскликнул он. Снова — в который раз! — маленькая темноволосая цыпочка, которую он так страшно любит, вернула его к жизни. — Когда?

— В воскресенье днем, на стадион Анахейм. Я прихвачу гаш и хорошенько забалдею. Там это раз плюнуть; торчков будет тысячи. — Она окинула Арктора критическим взглядом. — Только ты нацепи что-нибудь клевое, а то ходишь в каких-то тряпках... — Ее голос смягчился. — Я хочу, чтобы ты выглядел классно... потому что ты сам классный.

— Хорошо, — потрясенно вымолвил он.

— Едем ко мне, — сказала Донна. — Ты отдашь деньги, закинемся парочкой таблеток и забалдеем. А может, купишь вина — мы еще и кайф словим.

— Здорово, — искренне произнес Арктор.

— Больше всего я хочу сегодня вечером съездить в киношку, — продолжала Донна, загоня машину на стоянку. — Купила газету посмотреть, что идет, но везде одна муть. Можно поехать в Торрансоновскую «на колесах» — там крутят все одиннадцать фильмов «Планеты обезьян». С полвосьмого до восьми утра. Оттуда я завтра сразу на работу, так что сейчас надо переодеться. Будем балдеть всю ночь. Ты как?

— Всю ночь! — мечтательно повторил он.

— Ну да! — Донна выскочила из машины и открыла дверь с его стороны. — Когда ты их в последний раз видел? Я почти все смотрела в начале года, кроме последней серии, где показывают, что знаменитости вроде Линкольна были на самом деле обезьянами. Этот обалденный фильмца я прозвала — отравилась бутербродом из тамошнего автомата. Поэтому когда мы в следующий раз туда поехали — только ты ни гугу! — я заснула в автомат гнутую монету. Специально. Мы с Ларри Таллингом — помнишь Ларри? я тогда с ним гуляла, — погнули целую пригоршню монет и уделали все автоматы. Именно той фирмы, конечно. А потом и остальные, если честно.

Они наконец пришли, и Донна открыла дверь.

— На этот ворсистый ковер не наступай, — предупредила она.

— Куда же мне можно?

— Стой смироно или иди по газетам. Когда-нибудь, — сказала Донна, сняв кожаный пиджак и встряхнув длинными волосами, — я выйду замуж, и тогда мне все пригодится, вот почему я ничего не выбрасываю. Когда выходишь замуж, нужно иметь практически все. К примеру, вот это большое зеркало мы увидели в соседнем дворе; еле-еле уволокли втроем, час возились.

— Сколько из того, что у тебя есть, ты купила, — спросил Арктор, — и сколько украли?

— *Купила*? — Она в замешательстве посмотрела ему в глаза. — Что ты хочешь этим сказать — «*купила*»?

— Как ты покупаешь наркотики, — объяснил Арктор. — Секи. — Он достал бумажник. — Я даю тебе деньги, а ты мне за них даешь товар. Под словом «купить» я подразумеваю распространение товарно-денежного обмена на всю сферу человеческих отношений.

— Кажется, понимаю, — произнесла она.

— Вот сколько ты содрала кока-колы с грузовика, за которым ехала в тот день? Сколько ящиков?

— Хватило на месяц, — ответила Донна. — Мне и моим друзьям.

Арктор бросил на нее укоризненный взгляд.

— Это форма товарообмена, — пояснила она.

— А что... — Он улыбнулся. — Что ты дала взамен?

— Себя.

Теперь он расхохотался.

— Кому? Водителю грузовика, который не имеет никакого...

— «Кока-кола» — это капиталистическая монополия, как и телефонная компания. Тебе известно, — ее темные глаза сверкнули, — что формула приговления кока-колы заскречена и веками передается из рук в руки в одной семье? Где-то в сейфе хранится запись этой формулы. Интересно, где... — задумчиво добавила она.

— Твоим дружкам-головорезам в жизнь не найти.

— На кой черт нужна эта формула, если сколько хочешь можно утащить с их грузовиков?! У них уйма грузовиков. Куда ни плюнь — везде грузовики с кока-колой, причем

плетутся еле-еле. А я, как только выпадает случай, еду следом. Они прямо бесятся от злости.

Донна улыбнулась ему тайной, милой улыбкой, словно пыталась заманить его в свой странный мир, где она тащится и тащится за каким-нибудь грузовиком, а потом, когда грузовик останавливается, просто крадет все, что там есть. Не потому, что она прирожденный вор. Даже не из мести. Просто она так насмотрится на ящики с кокой, что наперед решит, как ими распорядиться...

— Хочешь пересчитать? Тысяча ровно.

Арктор взял пакеты, передал деньги и подумал: Донна, вновь я могу тебя сейчас заложить, но, наверное, никогда этого не сделаю, потому что жизнь возле тебя полная, и удивительная, и радостная; я не решусь перечеркнуть ее.

— Можно мне взять десяток? — попросила Донна.

— Десяток? Десяток таблеток? — Он открыл пакет и отсчитал ей ровно десяток. А потом десяток для себя. Завязал пакет и отнес к своему плащу в прихожей.

— Представляешь, что придумали теперь в магазинах? — возмущенно начала Донна. Таблеток нигде не было видно, она уже упрятала их в заглазник. — С кассетами?

— Забирают, — сказал Арктор. — За кражу.

— Да нет, они всегда забирали. А теперь... Ну, ты знаешь, выбираешь кассету или диск, подходишь к продавцу, и тот отлепляет ярлычок с ценой. Так что ты думаешь?! Я чуть не накололась. — Она плюхнулась в кресло и достала завернутый в фольгу маленький кубик, в котором Арктор сразу распознал гаш. — Оказывается, это не просто ярлычок. Там есть крошечка какого-то сплава, и, если ты обошел продавца и идешь к двери, начинает реветь сирена.

— С чего ты взяла?

— Передо мной одна соплячка пыталась вынести кассету под пальто. Заревела сирена, ее заграбастали и сдали фараонам.

— Сколько у тебя было под пальто?

— Три.

— А в машине наркотики? — спросил Арктор. — Если б тебя взяли за кассеты, то обыскали бы и машину. Причем спорю, что ты делаешь это не только здесь, но и...

Он хотел сказать: «и там, где тебе не могли бы помочь знакомые из полиции». Но не сказал, потому что имел в виду себя. Если Донна попадет, он из кожи вон вылезет, чтобы ей помочь. Но ему ничего не удастся сделать в другом округе... В голове закрутился глюк, настоящее шугало: Донна, подобно Лакмену, умирает, и всем, как Баррису, плевать. Ес спрячут в тюрьму, и там ей придется отвыкнуть от препарата С, и выйдет она совсем другой Донной. Вернее, участливое выражение ее лица, которое он так любит, преобразится бог знает во что, но в любом случае во что-то пустое и слишком часто используемое...

— Когда есть гаш, я обо всем забываю. — Донна достала маленькую керамическую трубку и смотрела на него широко раскрытыми, лучистыми и счастливыми глазами. — Садись. Я в тебя вдую.

Арктор сел, а Донна поднялась, раскурила трубку, подошла не спеша, наклонилась и, когда он раскрыл рот — словно *птенец*, мелькнула мысль, — выдохнула в него струю серого дыма. Она наполнила его своей горячей, смелой, неиссякаемой энергией, которая в то же время успокаивала, расслабляла и смягчала их обоих.

— Я люблю тебя, Донна, — сказал Арктор.

Это вдувание, этот суррогат секса, возможно, был даже лучше, чем все остальное. Такое интимное и такое странное... Равноценный обмен, пока не кончится гаш.

— Да, ты меня любишь. — Она мягко рассмеялась и села рядом, чтобы наконец затянуться из трубки самой.

Глава 9

— Послушай, Донна, — произнес он. — Тебе нравятся кошки?

Она мигнула; ее глаза были красными и воспаленными.

— Гадкие маленькие твари. Гадят за мебелью.

— Хорошо, а маленькие весенние цветы?

— Да, — ответила она. — Это я понимаю — маленькие весенние цветы. Которые появляются первыми.

— Самыми первыми, раньше всех.

— Да. — Она отрешенно кивнула с закрытыми глазами. — Раньше, чем на них наступят — и их нет.

— Ты знаешь меня, — проговорил он. — Ты понимаешь меня всего, без остатка.



Она откинулась назад, отложив выкуренную трубку. Ее улыбка медленно потухла.

— Что-нибудь случилось?

В ответ она лишь покачала головой.

— Ничего.

— Можно я обниму тебя? Я хочу приласкать тебя. Хорошо? Приголубить.

Донна заторможенно перевела на него темные расширенные зрачки.

— Нет! Нет! Ты слишком уродлив.

— Что? — сказал он.

— Нет! — резко выкрикнула она. — Я много вдыхаю коки. Мне надо быть сверхосторожной, потому что я много вдыхаю коки!

— Уродлив?! — ошеломленно повторил он. — Будь ты проклята!

— Оставь меня в покое, — не сводя с него взгляда, прошипела Донна.

— Конечно. — Арктор вскочил и попятился. — Конечно. Уж не сомневайся. — Внутри все кипело, хотелось вытащить пистолет и прострелить ей башку, размазать ее по стенке... а потом так же внезапно ярость и ненависть, вызванные гашишем, прошли. — Черт побери... безжизненно выдохнул он.

— Не люблю, когда меня лапают. Мне приходится быть начеку... Ты куда? — встрепенулась Донна.

— Я ухожу.

Взъерошенная, полусонная, она достала из шкафа свой кожаный пиджак.

— Я отвезу тебя домой.

— Не пойдешь, — отрезал Арктор. — Ты не в состоянии

проехать десяти футов, а за руль своего паршивого самоката никога не пускаешь.

Она обернулась к нему и взбешенно закричала:

— Потому что ни один сукин сын не может вести мою машину! Никто ни черта не понимает, особенно мужики! В машинах и во всем остальном! Посмей еще распускать рву...

А потом он оказался в темноте на улице, в незнакомой части города. Один. Совершенно один, подумал он и услышал догоняющую его Донну. Она задыхалась, потому что так много курила и закидывалась, что ее легкие были забиты смолами. Арктор остановился, застыл, не поворачиваясь, в ожидании и тоске.

Приблизившись, Донна замедлила шаги и, еще не отдышавшись, проговорила:

— Прости, что я тебя обидела. Я не хотела.

— Хм! — горько воскликнул он. — Слишком уродлив!

— Когда я проработаю весь день и дико-дико устану, я могу отключиться от первой же затяжки... Хочешь вернуться? Или в кино? Ну что ты хочешь? Или купи вина... Мне не продадут, — сказала она и, помолчав, добавила: — Я не совершеннолетняя.

Они направились назад.

— Хороший гаш, правда? — Донна взглянула ему в лицо.

— Черный липкий гаш — значит, он пропитан алкалоидами опиума. То, что ты курила, — опиум, а не гашиш. Ты понимаешь это? Вот почему он стоит так дорого, ты понимаешь? — Арктор словно со стороны услышал, как поднялся его голос. — Ты наживаешь себе привычку на всю жизнь ценой... почему сейчас фунт этого «гаша»? Скоро ты дня не сможешь обойтись...

— Уже не могу, — перебила Донна. — Утром перед работой, в полдень и сразу же после возвращения домой. Вот почему я стала толкачом — чтобы иметь на гаш.

— Опиум, — повторил Арктор. — Почему сейчас твой «гаш»?

— Десять тысяч за фунт, — ответила Донна. — Хорошего.

— Боже мой! Почти как героин!

— Я никогда не сяду на иглу, ни за что! Ты протягиваешь от силы шесть месяцев, как начнешь колотиться. Что бы ни колоты, хоть воду. Сперва наживаешь привычку...

— Ты уже нажила.

— Не я одна. Мы все. Ты глотаешь препарат С. И что с того? Какая разница? Я счастлива. Я прихожу домой и каждый вечер курю гаш... Это мое. Не пытайся изменить меня. Никогда-никогда не пытайся изменить меня. Я это я. Это моя жизнь.

— Ты видела фотографию заядлых курильщиков опиума? Как в старину в Китае? На кого они похожи?..

— Я не собираюсь долго жить. — Донна пожалала плечами. — Ну и что? Я не хочу тут задерживаться. Зачем? Что хорошего в этом мире? А ты видел — да, черт возьми, вспомни Джерри Фабина! — что становится с теми, кто чересчур далеко зайдет на препарате С? Скажи мне, Боб, в самом деле, ну что такого в этом мире? Вчера я едва не накрылась по пути на работу. Ехала, слушала музыку и курила гаш и не заметила форд «император»...

— Ты дура, — сказал Арктор. — Потрясающая дура.

— Знаешь, я умру рано. Может быть, на шоссе. Мой «МГ» почти без тормозов. За этот год меня уже четырежды штрафовали за превышение скорости. Теперь придется пересдавать на права — такая неудача!

— Значит, однажды я тебя никогда больше не увижу, да? Никогда-никогда больше не увижу...

— Из-за пересдачи? Нет, через шесть месяцев...

— Уничтоженная еще до того, как по калифорнийским законам, по проклятым калифорнийским законам, тебе разрешат купить банку пива или бутылку вина...

— Верно! — воскликнула Донна. — Бутылку вина! Возьмем бутылку вина и пойдем посмотреть «Обезьян»! Осталось еще серий восемь, включая ту...

— Послушай, — сказал Боб Арктор, положив ей на плечо руку.

Донна отпрянула.

— Знаешь, что им следовало бы сделать один раз? Единственный раз? Разрешить тебе взять банку пива.

— Почему? — удивилась она.

— Подарок. Потому что ты хорошая.

— Однажды меня обслужили! — восторженно поделилась Донна. — В баре! Официантка — я была вся разодела и накрашена и с такими клевыми парнями — спросила, чего я хочу, и я сказала: водку-коллинз. Это было в Ла-Пасе,

в одном потрясном местечке. Можешь себе представить? Я ей так спокойненько выдаю: водку-коллинз!

Она внезапно взяла его за руку и прижалась к нему, чего почти никогда не делала.

— Тогда, полагаю, — проговорил он, — ты уже получила свой подарок. Свой единственный подарок.

— Конечно, мне потом сказали те парни, что я должна была заказать что-нибудь мексиканское, потому что мы были в мексиканском баре, понимаешь, в Ла-Пасе. В следующий раз буду знать. У меня тут, — она постучала по голове, — все записано, на подкорке... Когда-нибудь я переберусь на Север, в Орегон, и буду жить в снегах. Каждое утро буду чистить дорожку. Маленький домик и сад, где я посажу овощи.

— Для этого надо копить. Откладывать деньги.

Донна бросила на него смущенный взгляд.

— Это все он мне даст, — робко произнесла она.

— Кто?

— Ты понимаешь. — Ее голос был тихим, мягким. Она раскрывала душу и делилась самым сокровенным со своим другом Бобом Арктором, которому можно доверять. — Тот, кого я жду. Я знаю, каким он будет. Он придет на «Астон-Мартине» и увезет меня на Север. А там, в снегах, стоит простой маленький домик. — Она замолчала. — Снег... это ведь считается здорово, правда?

— А ты не знаешь?

— Я никогда не видела снега, кроме одного раза в Сан Берду, в горах. И то слякоть какая-то, я чертовски больно шлепнулась. Не хочу такого снега. Я хочу настоящего.

Бобу Арктору стало тяжело и тоскливо.

— Ты уверена, что так будет?

— Конечно! Мне нагадали.

Они шли в молчании. Донна погрузилась в мечты и планы, а Арктор — Арктор вспоминал Барриса, и Лакмена, и Хэнка, и Фреда...

— Послушай, — внезапно сказал он. — Можно мне с тобой? Ну, когда ты соберешься в Орегон?

Она улыbnулась — грустно и с безмерной нежностью, — подразумеваемая «нет».

И, зная ее, Арктор понял, что все решено. И ничего не изменить... Он поехался.

— Тебе холодно? — спросила Донна.

— Да, — ответил он. — Очень холодно.

Она взяла его руку, сжала... и выпустила.

Но прикосновение осталось, запечатленное в его сердце. На все долгие годы жизни, которые ждали его впереди, на все долгие одинокие годы, когда он не знал, счастлива ли Донна, здорова ли, жива ли... Все эти годы он ощущал это прикосновение, навеки оставшееся с ним. Одно прикосновение ее руки.

В ту ночь Арктор привел к себе домой симпатичную маленькую наркоманку по имени Конни.

Конни оказалась здесь впервые — они познакомились на одном бардаке несколько недель назад и едва знали друг друга. Конни сидела на игле и, естественно, была фригидна, но это не имело значения. К сексу она относилась безразлично, сама ничего не испытывая, но, с другой стороны, ей было наплевать, чем именно заниматься.

Конни сбросила туфли и безжизненно глядела вдаль — полуголая, с заколкой во рту. Ее удлинное лицо выражало силу и целеустремленность, потому что под сухой кожей отчетливо выступали кости. На правой щеке горел прыщ. Она не обращала на него внимания, разумеется; прыщ, как и секс, не имел для нее никакого значения.

— У тебя есть лишняя зубная щетка? — спросила Конни. — А впрочем, к черту...

Она поднялась, машинально продолжая расчесывать волосы.

— Что за люди здесь так поздно? Смолят травку и болтают без умолку... Живут с тобой? Ну да, точно. — Остекленные глаза Конни повернулись к Арктору. — Ты гомик?

— Вроде нет.

Она кивнула.

— Ложись. Хочешь, я тебя раздену? Лежи, лежи, я сама...

Он очнулся. Рядом, едва различимая в темноте, храпела Конни. Все торчки спят, как граф Дракула, подумал он. Лежа на спине и глядя прямо вверх, словно готовые в лю-

бой момент резко сесть. Как автомат, робот, рывком передвигающийся манипулятор из положения А в положение В.

Арктор снова задремал, размышляя о том, что в конце концов торчку, если это цыпочка, остается только продавать свое тело. Вот как Конни.

Он открыл глаза, повернулся к лежащей рядом девушке и увидел Донну Хоторн.

Донна! Отчетливо видно лицо. Бесспорно. Боже мой! Он потянулся к выключателю и свалил лампу... Арктор бесильно смотрел на спящую девушку, и вдруг стало медленно проступать изможденное, скуластое лицо Конни. Конни, а не Донна. Одна, а не другая...

Он тяжело упал на кровать и забылся коротким тревожным сном...

— Мне плевать, что от него несет,— сонно пробормотала девушка.— Я все равно его любила.

Интересно, кого она имеет в виду? Парня? Отца? Кота? Незабываемую детскую игрушку?... Но она сказала «все равно любила», а не «все равно люблю». Очевидно, его, кто бы это ни был, сейчас нет. Может быть, подумал Арктор, они, кто бы «они» ни были, заставили ее отказаться от него, выбросить. Потому что от него несло так сильно...

Может быть. Сколько ей лет — этой хранящей о ком-то память наркоманке, которая лежала рядом?

Глава 10

Фред в костюме-болтуня наблюдал за голографическим изображением Джима Барриса. Баррис сидел в гостиной дома Боба Арктора и внимательно читал книгу о грибах. Откуда такой интерес к грибам, подумал Фред и перемотал ленту на час вперед. Баррис все так же сосредоточенно читал, делая какие-то пометки.

Наконец Баррис отложил книгу и вышел из дома. Вернулся он с коричневым бумажным пакетом и стал по одному выбирать оттуда сушеные грибы и сравнивать с цветными фотографиями в книге. Один невзрачный гриб он положил в сторону и растолок, а остальные всыпал в пакет; из кармана достал пригоршню капсул и методично стал набивать их растолченным грибом.

После этого Баррис начал звонить. Подслушивающее телефонное устройство автоматически фиксировало номера.

— Привет, это Джим.

— Ну?

— Я достал.

— Не заливаешь?

— Psilocybe mexicana.

— Что это такое?

— Редкий галлюциногенный гриб. Тысячу лет назад в Южной Америке его использовали в мистических обрядах. Начинаешь летать, становишься невидим, понимаешь язык зверей...

— Не надо.

Отбой. Другой номер.

— Привет, это Джим.

— Джим? Какой Джим?

— Бородатый... в зеленых очках. Мы встречались у Ванды.

— А, понял. Джим.

— Интересуют психоделики органического происхождения?

— Гмм, не знаю... — С сомнением: — Это точно Джим? Что-то не похоже.

— Есть шикарная вещь. Редчайший органический гриб из Южной Америки, использовавшийся в индейских мистических культах тысячу лет назад. Летаешь, становишься невидим, твоя машина исчезает, понимаешь язык зверей...

— Моя машина исчезает все время. Когда я не ставлю ее на стоянку. Ха-ха.

— Могу достать раз на шесть.

— Почему?

— По пять долларов.

— Обалдеть! Ты не шутишь? Надо встретиться. — Затем подозрение. — Кажется, я тебя помню — ты меня однажды наколот. Откуда у тебя эти грибы?

— Они были провезены в глиняном идоле. Среди тщательно охраняемой партии произведений искусства для музея. Болваны-таможенники ничего не просекли. Если ты не словишь кайф, я верну деньги, — добавил Баррис.

— А если я выжгу себе мозги?

— Два дня назад я сам закинул, — сказал Баррис. — Для пробы. Приход сказочный — богатейшая цветовая гамма... Куда лучше мескалина. Фирма гарантирует.

Из-за спины Фреда на изображение смотрел другой костюм-болтуня.

— Что он толкает? Мескалин?

— Грибы, — ответил Фред. — Нашел их где-то в окрестностях.

— Некоторые грибы чрезвычайно ядовиты, — заметил костюм-болтуня.

Из соседней кабинки вышел третий костюм-болтуня.

— В определенных грибах есть токсины, которые расщепляют красные кровяные тельца. Смерть наступает через две недели, противоядия не существует. Чтобы собирать грибы, надо прекрасно в них разбираться.

— В чем его можно обвинить? — спросил Фред.

— Искажение фактов в рекламе.

Костюмы-болтуня засмеялись и разошлись по кабинкам. Фред продолжал наблюдать.

Монитор № 4 показал вошедшего в дом удрученного Боба Арктора.

— Привет.

— Добрый день, — отозвался Баррис, рассовывая капсулы по карманам. — Как твои дела с Донной? — Он захихикал. — По-всякому?

— Отвяжись, — буркнул Арктор и вышел из поля зрения камеры № 4, чтобы появиться в спальне на мониторе № 5. Он захлопнул дверь и извлек несколько мешочков с белыми таблетками. Секунду Арктор стоял в нерешительности, а потом засунул их под постельное белье и снял плащ. Вид у него был самый несчастный.

Наконец он встрепенулся, пригладил волосы и вышел из комнаты. Тем временем Баррис спрятал пакетик с грибами под кровать и поставил книгу на полку. Оба встретились в гостиной и на мониторе № 2.

— Чем занимаешься? — спросил Арктор.

— Исследованиями.

— Какого рода?

— Некоторыми микологическими исследованиями деликатного характера, — усмеаясь, ответил Баррис. — Что, не ладится?

Арктор молча смерил его взглядом и прошел на кухню, чтобы поставить кофе. Баррис ленивым шагом последовал за ним.

— Где Лакмен?

— Должно быть, собрался очистить таксофон. По крайней мере взял инструменты.

— Инструменты... — повторил Арктор.

— Послушай, — сказал Баррис, — я могу оказать профессиональную помощь в твоих усилиях соблазнить Донну...

Фред перемотал ленту часа на два вперед.

— ...либо ты платишь за жилье, черт подери, либо немедленно берешься за ремонт цефаскопа, — горячо заявил Арктор Баррису.

— Я уже заказал необходимые резисторы...

Фред снова перемотал ленту. Еще два часа.

Теперь монитор № 5 показывал Арктора в спальне. Арктор валялся на кровати, слушал музыку по радио. Монитор № 2 показывал гостиную — Баррис читал о грибах. Так продолжалось довольно долго. Раз Арктор потянулся к приемнику и увеличил громкость — видимо, понравилась песня. Баррис все читал и читал, застыв в одной позе. Арктор, не шевелясь, смотрел в потолок.

Зазвонил телефон, и Баррис снял трубку.

— Да?

Мужской голос из подслушивающего телефонного устройства произнес:

— Мистер Арктор?

— Да, слушаю, — сказал Баррис.

Будь я проклят, подумал Фред и обратился в слух.

— Мистер Арктор, простите, что беспокою так поздно, но вы дали мне чек на закрытый счет...

— Я сам собирался вам позвонить, — перебил Баррис. — Дело вот в чем. У меня тяжелейший приступ кишечного гриппа с резко выраженными гипотермией, желудочными спазмами, судорогами... Мне сейчас совершенно не по силам выписать новый чек. Честно говоря, я и не намерен это делать.

— Что? — грозно произнес невидимый мужчина.

— Да, сэр. — Баррис кивнул. — Вы не ослышались, сэр.

— Мистер Арктор, — сказал мужчина, — банк вернул ваш чек на двадцать долларов. А симптомы, которые вы описываете...

— Я думаю, что мне подсунили какую-то гадость, — промолвил Баррис. На его лице застыла улыбка.

— А я думаю, что вы один из... из... — Мужчина запнулся, подыскивая слово.

— Думайте, что угодно, — любезно разрешил Баррис, подложив ухмыляться. И повесил трубку.

Подслушивающее устройство автоматически зафиксировало, откуда звонил неизвестный, и на электронном индикаторе появился номер телефона и адрес: «Ингельсон, слесарь. Анахейм, Харбор 1343».

— Слесарь... — пробормотал Фред, списав данные в блокнот. — Слесарь... Двадцать долларов — кругленькая сумма. Очевидно, работа на выезде — например, подобрать ключ к замку.

Версия: Баррис позвонил Ингельсону, представился Арктором и попросил подобрать ключ — в связи с «утерей» — к дому или к машине. А может, и к дому, и к машине. За работу он выписал чек, взяв незаполненный бланк из чековой книжки Арктора. Но почему банк вернул чек? Арктор кое-что имел. Однако если бы банк оплатил чек, то рано или поздно Арктору попался бы на глаза корешок и он сразу бы понял, что чек выписал Джим Баррис. Поэтому Баррис предусмотрительно нашел в хламе старую чековую книжку на давным-давно закрытый счёт. Теперь Баррис по уши в дерьме.

Но почему он не заплатил наличными? Разозленный кредитор непременно обратится в полицию, и Арктор все узнает. Баррису век не отмыться. Своим разговором он только еще больше разъярил кредитора. Баррис его будто нарочно дразнил... Более того, симптомы «гриппа» как две капли воды повторяли симптомы героинового отходняка, и это ясно каждому младенцу. Баррис дал знать, что он отъявленный наркоман и ему все по нулям. А представлялся Бобом Арктором...

Таким образом, слесарь знает, что один торчок всунул ему необеспеченный чек, гордится этим и не собирается пальцем шевельнуть, чтобы исправить дело. Совершенно ошизевший наркоман, которому на все наплевать. А это уже оскорбление Америке. Гнусное и умышленное.

Собственно говоря, Баррис открыто бросил вызов государственной системе и всем добропорядочным. Причем в Калифорнии, где полно берчистов и минигменов. Ждущих именно таких номеров от бородастых подонков.

Баррис спровоцировал их на действия. Ничего не подозревающего Арктора попросту закидают бомбами.

Из сосредоточенного раздумья Фреда вывел подошедший костюм-болтуня.

— Ты знаешь кого-нибудь из этих парней?

— Знаю, — буркнул Фред.

— Надо бы их предупредить. Этот паяц в зеленых очках всех перетравит. Можешь им шепнуть пару слов, не выдавая себя?.. На отравление грибами часто указывает острый приступ тошноты.

Внезапно Фредом овладел ужас — он вспомнил день посещения Кимберли Хокинс, «день собачьего дерьма», когда его затоснило в машине.

— Я скажу Арктору. Ему надо все разжевывать. Этот придурок сам ни о чем не догадается.

— Он к тому же еще и урод, — добавил костюм-болтуня и ушел.

Фред пустил запись и вновь задумался.

Что я должен сделать, решил он, это вернуться сейчас домой, прямо сейчас, немедленно, пока не забыл, без колбаний подойти к Баррису и застрелить его.

При исполнении.

Или скажу ему: «Послушай, я на нуле, дай чинарик». И он даст, и тогда я его арестую, брошу в машину, выеду на автостраду и, угрожая пистолетом, заставлю выйти перед несущимся грузовиком. Можно заявить, что он пытался бежать. Такое случается сплошь и рядом.

Потому что, если этого не сделать, мы все окочуримся от ядовитых грибов, а Баррис потом объяснит, как мы собирали все подряд в лесу и как он нас отговаривал, но мы его не слушали, потому что не учились в колледже...

На мониторе № 2 Баррис назидательно обращался к мертвецки пьяному Лакмену, который только что ввалился в дверь.

— Число хронических алкоголиков в США, — сообщил Баррис Лакмену, мучительно искавшему вход в свою комнату, — превышает число наркоманов. Ущерб, наносимый пещени...

Лакмен исчез, так и не заметив, судя по всему, присутствия Барриса. Желая ему удачи, подумал Фред. Только на одной удаче далеко не уедешь...

Нужно что-то придумать, но что? Разве перемотать ленту назад и попасть на место происшествия первым, раньше Барриса?.. Именно! Тогда то, что сделаю я, будет предшествовать тому, что сделает Баррис. Если он вообще сможет что-нибудь после меня сделать.

И тут ожила вторая половина его мозга.

— Надо успокоить слесаря, — благожелательно посоветовала она. — Завтра первым делом отправляйся к нему, заплати двадцать долларов и верни чек. Займись этим с самого утра, прежде всего. Понятно?

Да, начать надо с этого. А потом уже браться за более серьезные вещи, подумал Фред.

Он перемотал ленту вперед, судя по счетчику, до ночной сцены. Камеры работали в инфракрасном свете. Спальня Арктора: Арктор рядом с девушкой.

Так, посмотрим. Конни... забыл фамилию. На нее есть досье. Наркоманка, сидит на игле. Конченный человек.

Он продолжал наблюдать. И вдруг обратил внимание на то, чего сперва не заметил: *В постели лежит Донна Хоторн!*

Такого просто не может быть... Фред отмотал ленту назад, снова запустил проектор: Арктор с цыпочкой, но никак не с Донной! Он был прав: Арктор и Конни сопят бок о бок.

Резкие черты лица Конни растаяли, растеклись, словно воск, и застыли в лик Донны Хоторн.

Он вырубил проектор и ошеломленно замер. Не понимаю, думал Фред. Как будто... кинотрюк! Он снова отмотал ленту назад, остановил на подходящем кадре и дал увеличение. Безмятежно спящий Боб Арктор и рядом неподвижная девушка. Наполовину еще Конни; и наполовину уже Донна.

Надо передать ленту в лабораторию, специалистам. Мне подсунули фальшивую запись. Кто-то вставил в пленку Донну. Наложил ее изображение на изображение Конни. Подделал доказательство, что Арктор спит с Донной. Зачем?

А может быть, техническая неполадка? Часть записи с одного слоя ленты пропечаталась на другой слой? Если пленку с высоким уровнем записи хранить очень долго, такое случается.

Фред пустил проектор. Конни превратилась в Донну. Донна... Донна... И вдруг сопящий рядом с ней человек, Боб Арктор, встрепенулся, сел и включил лампу. Так он и сидел, глядя на спящую девушку, на спящую Донну.

Когда вновь проступило лицо Конни, Арктор тяжело вздохнул, расслабился и, наконец, заснул.

Значит, монтаж и неисправности исключены. *Арктор видел это тоже.*

Господи, подумал Фред и выключил аппаратуру.

— С меня достаточно, — произнес он хриплым голосом. — Сыт по горло.

— Что, насмотрелся чудного секса? — спросил костюм-болтуня. — Ничего, привыкнешь.

— Я никогда не привыкну к этой работе, — сказал Фред. — Никогда.

Глава 11

На следующее утро, воспользовавшись такси — так как теперь не только цефаскоп, но и машина нуждалась в ремонте, — он оказался на пороге дома Ингельсона. На сердце лежала тяжесть, в кармане — сорок долларов.

Его приветствовала полная пожилая женщина.

— Доброе утро, сэр.

— Я пришел, чтобы заплатить по своему чеку, который вернул банк, — начал Арктор. — По-моему, чек был на двадцать долларов.

Женщина открыла железную коробку и сразу же нашла чек с припиленной записочкой.

— Мистер Арктор?

— Да, — подтвердил он, уже протягивая деньги.

— Правильно, двадцать долларов. — Она отделила записку и стала усердно вносить туда запись о его приходе и о том, что чек выкуплен.

— Мне очень жаль, — сказал Арктор. — По досадной ошибке я выписал чек не на текущий, а на закрытый счет.

— Ммм, — улыбнулась женщина, продолжая писать.

— Я был бы весьма признателен, если бы вы сообщили моему мужу, который звонил мне вчера...

— Это мой брат Карл. — Женщина снова улыбнулась, теперь смущенно. — Он иногда выходит из себя... Я прошу простить, если он говорил чересчур резко...

— Передайте ему, — излагал Арктор заранее приготовленную речь, — что во время его звонка я сам был не в своей тарелке и тоже прошу прощения.

— Я припоминаю, он что-то говорил, да.— Она протянула чек; Арктор вручил деньги.

— Какая-нибудь дополнительная плата?

— Что вы!

— Я был не в своей тарелке,— повторил он, взглянув на чек, прежде чем положить его в карман,— потому что как раз перед этим неожиданно скончался мой друг.

— О, боже! — воскликнула женщина.

— Задохнулся,— помедлив, добавил Арктор,— подавившись куском мяса. Он был один в комнате, и никто не видел.

— А знаете, мистер Арктор, от этого гибнет гораздо больше людей, чем можно подумать. Я где-то читала, что если во время обеда с другом он или она долгое время молчит, то надо непременно выяснить, в состоянии ли ваш друг говорить. Потому что друг может задохнуться, а со стороны не заметно.

— Да,— сказал Арктор.— Спасибо. Это верно. И спасибо за чек.

— Так ужасно! — посетовала женщина.— Сколько лет было вашему другу, мистер Арктор?

— Чуть за тридцать...— Лакмену было тридцать два.

— Кошмар! Я скажу брату. Спасибо, что пришли.

— Вам спасибо. И поблагодарите, пожалуйста, за меня мистера Ингельсона. Огромное спасибо вам обоим.

Арктор сел в такси и уехал, чрезвычайно довольный тем, что выбрался из ловушки Барриса практически без осложнений. Все могло быть гораздо хуже, отметил он про себя. Чек теперь на руках, и мне не пришлось столкнуться с самим братцем.

Арктор достал чек, желая посмотреть, как Баррис подделал его подпись. Да, этот счет давно закрыт. Он сразу распознал цвет корешка — счет закрыт давным-давно. Банк поставил штамп «СЧЕТ ЗАКРЫТ». Неудивительно, что Ингельсон совсем рехнулся. А потом, взглядевшись, Арктор понял, что роспись его.

Ничего общего с рукой Барриса. Идеальная копия. Он никогда бы не заподозрил подделку, если бы только не помнил, что такого чека не выписывал.

Боже мой, подумал Арктор, сколько же моих росписей сварганил Баррис? Он, должно быть, обобрал меня до нитки!

Арктору пришла в голову другая мысль: что если я выписал этот чек сам? Что если его выписал Арктор? Наверное, я его и выписал. Наверное, распрोकлятый чужок Арктор сам выписал этот чек. Причем в спешке — буквы прыгали, значит, он куда-то торопился. В спешке схватил старую чековую книжку, а потом забыл, забыл напрочь.

Но это никак не извиняет Барриса за то, что он выдавал себя за Арктора и так вызывающе держался при этом... Черт побери! А если Баррис прибалдел тогда и к телефону подошел случайно? Ну, и просто подыгрывал, потому что его помутившимся мозгом это казалось отменной шуткой. Баррис вел себя безответственно. Ничего больше.

А может, Баррис и вовсе пытался загладить участвовавших промахи Арктора? Баррис делает что в его силах, но и у него в голове сплошной сумбур. У них у всех все помутилось. Помутившиеся ведут помутившихся. Прямоком в тартарары.

Вполне вероятно, что это Арктор перерезал провода в своем цефаскопе. Ночью. Но с какой целью?

Да, сложный вопрос: зачем? Впрочем, что с них взять, с этих помутившихся? Ими может двигать целое множество лишь закрученных, как провода, побуждений. За время работы в полиции ему всякое доводилось видеть. Так что конкретная трагедия далеко не в новинку. В памяти компьютера она будет фигурировать лишь очередным делом. Эта стадия непосредственно предшествует федеральной клинике; как у Джерри Фабины.

Они ходят по одному игровому полю. Стоят на разных квадратиках, на разном расстоянии от цели. Каждому осталось свое число ходов; но рано или поздно все достигнут цели: федеральной клиники. Это записано у них в нервных клетках.

И в первую очередь Боб Арктор. Таково было мнение Фреда, так говорила профессиональная интуиция.

Не зря его руководство решило сосредоточить внимание на Аркторе. У них, без сомнения, есть причины, о которых он и не подозревает. Вероятно, факты подтверждают друг друга. Растущий интерес к Арктору со стороны руководства — в конце концов установка следящей системы обошлась в кругленькую сумму — согласовывается с необычным вниманием со стороны Барриса.

Любопытно, что известно Баррису... Может, его следует хорошенько потрясти? Впрочем, лучше собирать материалы независимо от Барриса, иначе мы просто будем дублировать его сведения, кем бы он ни был, кого бы ни представлял.

А потом Фред подумал: что, черт побери, я несу? Не иначе, как я спятил! Я же прекрасно знаю Боба Арктора — мировой парень! Ничего он не злоумышляет. Напротив, он тайно работает на полицию. Наверное, оттого Баррис на него и окрысился.

Но тогда не ясно, почему им интересуются полиция до такой степени, что устанавливают всю эту голоаппаратуру и приставляют агента для наблюдения. Концы с концами не сходятся.

Он расплатился с водителем и вошел в дом. И тут же почувствовал на себе незримые глаза голокамер. Едва переступив собственный порог. Каракули на стене общественного туалета: «УЛЫБАЙТЕСЬ! ВАС СНИМАЮТ СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ!..»

— Дома кто есть? — по обыкновению громко спросил он, представляя, как это записывается.

Ему всегда приходилось быть настороже — ведь нельзя даже догадываться... Слово актер перед камерой — надо вести себя так, будто никакой камеры нет и в помине. Иначе все завалишь. Дубли исключены.

Что видит камера, спросил он себя. Проникает взглядом в голову? В сердце? Инфракрасная камера, последняя новинка, видит меня — нас — ясно? Надеюсь, ей видно все, потому что я сам не могу больше в себя заглянуть. Я вижу одну муть. Муть снаружи, муть внутри. Ради нас всех — пусть у камер получится лучше. Потому что если и для камер мутно, тогда мы все прокляты, трижды прокляты, зная так мало и не понимая даже этой смехотворной малости.

Из книжного шкафа в гостиной он вытащил первый попавшийся том — «Иллюстрированную книгу половой любви». Он открыл ее наугад — мужчина на фотографии блаженно присосался к правой груди томной красавицы — и произнес нараспев, словно читая или цитируя слова древнего философа: «Каждый человек видит лишь крошечную долю полной истины и очень часто, практически все время умышленно обманывает себя в отношении этой крошечной доли тоже. Часть человека оборачивается против него и поражает изнутри».

Кивая головой, как будто соглашаясь с мудростью напечатанных слов, он закрыл толстую, в красном переплете с золотым тиснением «Иллюстрированную книгу половой любви» и поставил ее на место.

Чарлз Фрек, подавленный тем, что происходит со всеми его знакомыми, решил покончить с собой. В кругах, где он вращался, покончить с собой было проще простого: берешь большую дозу «красненьких» и, отключив для спокойствия телефон, глотаешь их с дешевым винцом.

Главное — запланировать, как обставить смерть, какие иметь при себе вещи. Чтобы археологи, которые найдут их позже, смогли определить, к какой социальной прослойке ты принадлежал. И где в этот момент находилась твоя голова.

На отбор вещей Фрек потратил несколько дней — гораздо больше, чем понадобилось, чтобы прийти к решению покончить с собой. Его найдут лежащим в постели с книгой Айан Ренд «Источник» (доказательство того, что он был непонятым гением, отверженным толпой и в некотором роде убитым ее презрением) и с незаконченным письмом, протестующим против взвинчивания цен на газ. Таким образом, он обвинит систему и достигнет своей смертью чего-то еще, помимо того, чего достигает сама смерть.

Говоря по правде, он не очень ясно представлял себе, чего достигает смерть, так же, как и то, чего достигнут эти два артефакта. Так или иначе все определилось, и он стал готовиться, как зверь, нутром почувшавший, что пришел его конец, и инстинктивно выполняющий программу, заложенную от природы.

В последний момент Чарлз Фрек решил запить «красненьких» не дешевым винцом, а изысканным дорогим напитком. Поэтому он сел в машину, отправился в магазин, специализирующийся на марочных винах, и купил бутылку «Мондави Каберне Совиньон» урожая 1971 года, которая обошлась ему в тридцать долларов — почти вся его наличность.

Дома он откупорил бутылку, наслаждался ароматом вина, выпил пару стаканчиков, несколько минут созерцал свою любимую фотографию в «Иллюстрированной энциклопедии

секса» (позиция «партнерша сверху»), затем достал пакетик «красненьких» и улегся на кровать. Он хотел подумать о чем-нибудь возвышенном, но не смог — из головы не выходила партнерша. Тогда он решительно проглотил таблетки, запил стаканом «Каберне Совиньон» и положил себе на грудь книгу и незаконченное письмо.

Однако его наколоди. Таблетки содержали вовсе не барбитураты, а какой-то психоделик, новинку, таким он еще не закидывался. Вместо того, чтобы медленно умереть от удущья, Чарлз Фрек начал галлюцинировать. Что ж, философски подумал он, вот так у меня всю жизнь. Вечно накальваются. Надо смириться с фактом, учитывая, сколько таблеток он глотнул, что его ждет глюк из глюков.

Следующее, что он увидел, было явившееся из иных измерений чудовище. Оно стояло у кровати и смотрело на него с неодобрением. У чудовища были несметное множество глаз и ультрасовременная, супермодная одежда. Оно держало огромный свиток.

— Ты собираешься зачитывать мои грехи,— догадался Чарлз Фрек.

Чудовище кивнуло и распечатало свиток.

— И это займет сто тысяч часов,— закончил Фрек, беспомощно лежа на кровати.

Уставившись на него всеми глазами, чудовище из иных измерений сказало:

— Мы покинули бранный мир. В этой Вселенной такие низменные понятия, как «пространство» и «время», лишены смысла. Ты вознесен в трансцендентальную область. Твои грехи будут зачитываться тебе вечно. Списку нет конца.

Тысячу лет спустя Чарлз Фрек все так же лежал в постели с книгой и письмом на груди.

— И далее...— зачитывало чудовище.

Что ж, подумал Чарлз Фрек, по крайней мере раз в жизни я выпил приличного вина.

Глава 12

Двумя днями позже Фред изумленно наблюдал, как Роберт Арктор явно наугад выбрал книгу из книжного шкафа в своей гостиной. Может, за ней спрятаны наркотики, предположил Фред. А может, там записан номер телефона или адрес? Ясно, что Арктор выгадил книгу не для чтения; он только что вошел в дом и даже еще не снял плащ. У Арктора был странный вид — напряженный и одновременно ошарашенный.

Камера показала разворот книги крупным планом: цветная фотография запечатлела мужчину, прикинувшего ртом к соску женщины; оба индивида были голы. Но Арктор, не обращая на фотографию внимания, надтреснутым голосом стал декламировать какую-то мистическую тарабарщину, вероятно, для того чтобы озадачить тех, кто мог его слышать. Очевидно, он думал, что его дружки дома, и хотел их таким образом выманить.

Никто не появлялся. Фред знал, что Лакмен закинулся «смесью» и вырубился, полностью одетый, у себя в спальне, в нескольких шагах от дивана. Баррис давно ушел.

Чем занимается Арктор, недоумевал Фред. С каждым днем этот тип ведет себя все более странно. Теперь я понимаю, что имел в виду тот информатор, который нам звонил.

А вдруг произнесенная Арктором фраза является командой для некоего электронного устройства, установленного в доме? Команда на включение или выключение. Может быть, на создание помех наблюдению...

Нет, он псих. Просто повредился. С того дня, как обнаружил поломанный цефаскоп. Или — это уж наверняка — с того дня, как едва не угробился на машине. Он и раньше был малость тронутый, и точно свихнулся со «дня собачьего дерьма» — выражение Арктора.

Если только он надо мной не издевается, тревожно подумал Фред. Может, он каким-то образом догадался о наблюдении и... замечает следы? Просто развлекается? Что ж, время покажет.

Голос Арктора разбудил Лакмена. Он поднялся, приглади волосы и зашел в гостиную.

— Привет. Как дела?

— Я проезжал мимо здания Мейлорской корпорации микрофотоснимков.

— И какой же величины это здание?

— С дюйм высотой,— ответил Арктор.

— Сколько оно весит, по-твоему?

— Вместе со служащими?

Фред включил перемотку вперед. Когда по счетчику прошел час, он остановил ленту.

— ...около десяти фунтов,— сказал Арктор.

— А как же ты все узнал, просто проезжая мимо, если оно с дюйм высотой и весит десять фунтов?

Арктор теперь сидел на диване, поджав ноги.

— У них огромная вывеска.

Боже, подумал Фред и отмотал ленту еще минут на пятнадцать.

— ...похоже? — спрашивал Лакмен. Он развалился на полу и крошил травку.— Небось неоновая? Интересно, я ее видел? Она приметная?

— Сейчас покажу,— сказал Арктор и засунул руку в нагрудный карман рубашки.— Я прихватил ее с собой.

Фред снова включил перемотку.

— ...а знаешь, как провезти микрофотографии контрабандой?

— Как угодно,— небрежно отмахнулся Арктор, выплюнув изо рта сигаретку. В воздухе клубился дым.

— Нет, так, чтобы никто не допер! — горячился Лакмен.— Мне Баррис сказал, по секрету. Он пишет об этом в книге.

— В какой книге? «Распространенные домашние наркотики и...»?

— Нет. «Простые способы ввоза и вывоза контрабанды в зависимости от того, куда вы направляетесь: в США или обратно». Микрофотографии надо везти с наркотиками. Например, с героином. Понимаешь, они такие маленькие, что в пакете с наркотиком их не заметят. Они такие...

— Тогда какой-нибудь торчок вкатит себе дозу микрофотографий!

— Это будет самый разбавленный торчок на свете.

— Смотря что было на фотографиях.

— У Барриса есть клевый способ провоза наркотиков через границу. Знаешь, на таможене всегда спрашивают, что вы везете. А сказать «наркотики» нельзя, потому что...

— Ну, ну!

— Так вот. Берешь огромный кусок гашиша и вырезаешь из него фигуру человека. Потом выдалбливаешь нишу и помещаешь заводной моторчик, как в часах, и еще маленький магнитофон. Сам стоишь в очереди сзади и, когда приходит пора, заводишь ключ. Эта штука подходит к таможеннику, и тот спрашивает: «Что везете?» А кусок гашиша отвечает: «Ничего», — и шагает дальше. Пока не кончится завод, по ту сторону границы.

— Вместо пружины можно поставить батарею на фотоэлементах, и тогда он может шагать хоть целый год. Или вечно.

— Какой толк? В конце концов он дойдет до Тихого океана. Или до Атлантического. И вообще сорвется с края земли...

— Вообрази стойбище эскимосов и шестифутовую глыбу гашиша стоимостью... сколько такая может стоить?

— Около миллиарда долларов.

— Больше, два миллиарда. Эти эскимосы обгладывают шкуры, и вырезают по кости, и вдруг на них надвигается глыба гашиша стоимостью два миллиарда долларов, которая шагает по снегу и без конца талдычит: «Ничего... ничего... ничего...»

— То-то эскимосы обалдеют!

— Что ты! Легенды пойдут!

— Можешь себе представить? Сидит старый хрыч и рассказывает внукам: «Своими глазами видел, как из пурги возникла шестифутовая глыба гашиша стоимостью два миллиарда долларов и прошагала вот в этом направлении, приговаривая: «Ничего, ничего, ничего». Да внуки улескут его в пихушку!

— Не, слухи всегда разрастаются. Через сто лет рассказывать будут так: «Во времена моих предков девяностофутовая глыба высокопробнейшего афганского гашиша стоимостью восемь триллионов долларов вдруг как выскочит на нас, изрыгая огонь, да как заорет: «Умри, эскимосская собака!» Мы бились и бились с ней нашими копытами, и наконец она издохла.

— Дети этому не поверят.

— Нынче дети вообще ничему не верят.

— Разговаривать с ребенком — одно расстройство. Меня какой-то папан попросил описать первый автомобиль... Черт побери, да я родился в 1962 году!

Наступило молчание. Двое мужчин курили травку в задымленной комнате. Долго, мрачно, молча.

Зазвонил телефон. Один из костюмов-болтуня снял трубку и протянул ее Фреду.

— Помните, на прошлой неделе вы проходили проверку? — произнес голос в трубке.

— Да,— после короткой паузы ответил Фред.

— Мы обработали очередной материал...— На том конце линии тоже пауза.— Вы должны подвергнуться всестороннему психиатрическому обследованию. Вам назначено на завтра, в три часа в той же комнате. Помните номер комнаты?

— Нет,— сказал Фред.

— Как вы себя чувствуете?

— Нормально,— твердо ответил Фред.

— Какие-нибудь неприятности? На работе или в личной жизни?

— Я поссорился со своей девушкой.

— Испытываете ли вы чувство растерянности? Не сталкиваетесь ли с трудностями в опознавании людей и предметов? Не кажется ли вам что-нибудь вывернутом шиворотом? И, кстати говоря, не наблюдаете ли за собой языковой дезориентации?

— Нет,— мрачно произнес Фред.— Нет — по каждому из поименованных пунктов.

— Итак, завтра в комнате № 203,— сказал врач.

— Какой материал...

— Поговорим завтра. Не расстраивайтесь, Фред! — *Клик.*

Клик тебе, подумал Фред и повесил трубку.

Он раздраженно включил проекторы, и застывшая сцена ожила цветом и движением.

— Эту крошку,— бубнил Лакмен,— обрюхатили, и она решила сделать аборт, потому что пропустила цикла четыре и подозрительно распухла. Но сама палец о палец не ударила, а только канючила, как все дорого. Как-то я к ней забегая, а там одна ее подружка твердит, что у нее *истерическая* беременность. «Ты просто хочешь верить, что беременна. Это комплекс вины. А аборт, расходы на него — это комплекс наказания». А крошка — она мне дико нравилась — и говорит спокойненько: «Ну что ж, если у меня истерическая беременность, то я сделаю истерический аборт и заплачу истерическими деньгами».

— Интересно, чья физиономия красуется на истерической пятерке,— задумчиво произнес Арктор.

— А кто был у нас самым истерическим президентом?

— Билли Фалкс. Он только *думал*, что его избрали президентом.

— И когда ж был его срок?

— Он воображал, что его избирали на два четырехлетних периода начиная с 1882 года. После длительного курса лечения ему стало казаться, что он президентствовал только один...

Фред со злостью перемотал запись на два с половиной часа вперед. Сколько они будут нести эту ахиною, спросил он себя. Весь день? Вечно?

— ...берешь ребенка к врачу, к психиатру, и жалуешься, что ребенок все время заходится в крике.— На кофейном столике перед Лакменом стояла банка пива.— Кроме того, ребенок постоянно врет. Придумывает самые несуразные истории. Психиатр осматривает ребенка и ставит диагноз: «Мадам, у вас истерический ребенок. Но я не знаю, почему». И тогда ты, мать, настал твой час, ты ему эдак: «Я знаю, почему, доктор. Потому что у меня была истерическая беременность».

Лакмен и Арктор покатались со смеху. Им вторил Джим Баррис; он вернулся и теперь сидел в гостиной, намазывая на трубку белую проволоку.

Фред перегнал пленку еще на час вперед.

— ...этот парень,— рассказывал Лакмен,— выступал по телевидению как всемирно известный самозванец. В интервью он заявил, что в разное время представлялся великим хирургом из медицинского колледжа Джона Гопкинса, физиком-теоретиком из Гарварда, финским писателем, лауреатом Нобелевской премии в области литературы, свергнутым президентом Аргентины, женатым на...

— И все это сходило ему с рук? — поразился Арктор.— Его не разоблачили?

— Парень ни за кого себя не выдавал. Просто он выдавал себя за всемирно известного самозванца. Об этом писали в «Лос-Анджелес Таймс» — они проверяли. Работал дворником в Диснейленде, а потом прочитал биографию всемирно известного самозванца — такой действительно был — и сказал себе: «Да ведь я тоже могу выдавать себя за всех этих экзотических парней!» А после подумал и решил: «На кой черт? Лучше просто выдавать себя за самозванца». Он огреб

на этом деле немалую монету, писали в «Л. А. Таймс». Почти столько же, сколько настоящий всемирно известный самозванец.

— Самозванцев пруд пруди. Мы сталкиваемся с ними на каждом шагу. Только они выдают себя не за физиков-теоретиков,— заметил Баррис, тихонько сидящий в углу.

— Ты имеешь в виду нарков¹, этих гадов из отдела по борьбе с наркоманией,— сказал Лакмен.— Интересно, среди наших знакомых есть нарки? Как они выглядят?

— Все равно что спрашивать: «Как выглядит самозванец?» — отозвался Арктор.— Я как-то болтал с одним толкачом, которого взяли с десятью фунтами гашиша на руках. Ну и спросил, как выглядел обманувший его нарк. Знаете, как это делается: нарк выдает себя за друга одного друга и просит продать ему гаш.

— Точь-в-точь, как мы,— бросил из угла Баррис.

— *Даже больше!* — воскликнул Арктор.— Этот толкач — его уже приговорили и на следующий день должны были отправить в тюрьму — сказал мне: «Волосы у них еще длиннее, чем у нас». Так что мораль, я полагаю, такова: держись подальше от типов, которые выглядят точь-в-точь, как мы.

— Бывают и женщины-нарки,— вставил Баррис.

— Я бы хотел познакомиться с нарком,— сказал Арктор.— Если точно знать, что это нарк.

— Когда он наденет на тебя наручники,— сказал Баррис,— будешь знать точно.

— Я что имею в виду? — продолжал Арктор.— Какая у них жизнь? Знают ли их жены?

— У нарков нет жен,— заявил Лакмен.— Они живут в пещерах и крадутся за тобой по пятам, выглядывая из-под машин. Как тролли.

— Что они едят?

— Людей.

— Как это им удается выдавать себя за нарков? — спросил Арктор.

— *Что?!* — в один голос вскричали Баррис и Лакмен.

— Черт, я совсем обалдел,— улыбаясь, сказал Арктор.— «Выдавать себя за нарка»,— бр-р...— Он потряс головой.

— ВЫДАВАТЬ СЕБЯ ЗА НАРКА? — повторил Баррис, не сводя с него глаз.

— Сегодня у меня в мозгах каша,— пожаловался Арктор.— Я лучше сосну.

Фред остановил ленту.

— Перекур? — спросил костюм-болтуня.

— Да. Я устал. Эти бредни рано или поздно доканиваются.— Он поднялся и достал сигареты.— Я не понимаю и половины из того, что они несут. Я так устал... Устал.

— Когда находишься вместе с ними, даже легче, правда? — сказал костюм-болтуня.— Ты ведь вхож в их компанию?

— Ни за что не буду иметь дела с такими ублюдками! — горячо сказал Фред.— Талдычат одно и то же без конца.

«Выдавать себя за нарка»,— подумал Фред. «Что это значит? Одному богу известно».

Выдавать себя за самозванца. За того, кто живет под машинами и питается грязью. Не за хирурга, или писателя, или политического деятеля. Нормальному человеку это и в голову...

Так или иначе вот что надо вырезать из ленты и передать по инстанциям — таинственную фразу «выдавать себя за нарка». Дружки Арктора тоже удивлены. Значит, круглослучайная слежка за ним ведется не зря.

Значит, я был прав.

Арктор проговорился. Выдал себя.

Что это значит, мы пока не знаем. Но узнаем непременно. Мы будем идти за Арктором, пока он не упадет замертво, подумал Фред. Как бы ни было тошно все время лицемерить и слушать его и его дружков. И как только я мог сидеть с ними?!

На следующий день Фред, чувствующий себя еще хуже, чем накануне, явился в кабинет, где его ждали два врача — другие, незнакомые.

— Вы увидите ряд хорошо известных предметов, которые будут показаны сперва перед вашим левым, а потом перед вашим правым глазом. Одновременно на панели перед вами

¹ Нарк — «легалый», доносчик, шпик (жарг.).

будут высвечиваться изображения аналогичных предметов. С помощью указки вам необходимо выбрать то изображение, которое соответствует показываемому предмету. Учтите, объекты будут чередоваться быстро, так что долго не размышляйте. Счет ведется и по точности, и по времени. Ясно?

— Ясно, — ответил Фред.

Перед его левым глазом стали мелькать знакомые предметы, и он тыкал указкой в светившиеся фотографии. То же самое повторили с правым глазом.

— Теперь мы закрываем ваш левый глаз и мельком показываем изображение знакомого предмета перед правым глазом.левой рукой, повторяю, левой рукой вы должны выбрать из группы предметов только что увиденный.

— Ясно, — сказал Фред.

Ему показали картинку игральной кости; левой рукой он шарил в россыпи безделушек, пока не отыскал игральную кость.

— В следующем тесте вы должны, не глядя, нащупать левой рукой буквы и сложить из них слово, а правой рукой написать это слово.

Он все сделал.

— Теперь, с закрытыми глазами, нащупайте левой рукой предмет и назовите... Ваши глаза закрыты, в руках по предмету. Определите на ощупь... Вам будет показан ряд треугольников в разных позициях. Вы должны сказать...

Ощупай, скажи, посмотри одним глазом, выбери. Ощупай, скажи, посмотри другим глазом, выбери. Запиши, нарисуй.

Через два часа ему велели выпить чашечку кофе и обожать в приемной.

Спустя некоторое время, показавшееся ему невыносимо долгим, в приемную вышел один из врачей.

— Найдите внизу комнату с табличкой «Патологическая лаборатория» и сдайте кровь на анализ. Потом снова возвращайтесь сюда и ждите.

— Ладно, — мрачно сказал Фред и поплелся по коридору.

Вернувшись из лаборатории, он подошел к одному из врачей и спросил:

— Можно мне пока сходить к начальнику? А то он скоро уйдет.

— Пожалуй, — разрешил врач. — Мы позвоним. Вы идете к Хэнку?

— Да, я буду у Хэнка.

— Сегодня настроение у вас гораздо хуже, чем в нашу первую встречу, — заметил врач.

— Простите? — сказал Фред.

— В нашу встречу на той неделе. Вы все время шутили и смеялись. Хотя чувствовалось, что внутри напряжены.

Ошарашенно глядя на него, Фред узнал одного из тех двух врачей. Но промолчал. Лишь хмыкнул и направился к лифту. Эти проверки действуют на меня угнетающе, подумал он. Интересно, с кем я разговаривал? С усачом или... Должно быть, с другим, с безусым. У этого нет усов.

— Вы вручную нащупаете предмет левой рукой, — пробормотал Фред, — и в то же время посмотрите на него правой. А затем своими собственными словами скажете нам...

Большой околесицы он придумать не мог. Самостоятельно. Без их помощи.

В кабинете Хэнка лицом к Фреду сидел посетитель.

— К нам пришел информатор, который звонил насчет Боба Арктора, — представил Хэнк.

— Так, — промолвил Фред.

— Он снова позвонил нам, и мы предложили ему явиться. Вы его знаете?

— Еще бы, — сказал Фред, глядя на Барриса, с широкой ухмылкой на лице вертевшего в руках ножницы. — Джеймс Баррис, не так ли? Что вы хотите сообщить?

— Я располагаю информацией, — негромко произнес Баррис, — что Боб Арктор — член огромной секретной организации, не ограниченной в средствах, с арсеналами оружия, пользующейся шифром и кодовыми словами. Организация, по всей видимости, ставит целью свержение...

— Это уже домыслы, — перебил Хэнк. — Где доказательства?

— Я могу представить записи телефонных разговоров Боба Арктора.

— Что за организация? — потребовал Фред.

— Я считаю... — начал Баррис, но Хэнк раздраженно взмахнул рукой. — Она носит политический характер. — Бар-

рис вспотел, но сохранял довольный вид. — Ее деятельность направлена против нашего государства.

— Какова связь Арктора с источником препарата С? — спросил Фред.

Учащенно моргая, то и дело облизывая губы и гримасничая, Баррис сказал:

— Изучив мои сведения, вы придете к выводу, что препарат С изготавливается в некоей стране, которая намерена расправиться с США, и что мистер Арктор — заметная часть сложнейшего механизма...

— Можете ли вы назвать имена других членов этой организации? — спросил Хэнк. — Контакты Арктора?.. Преду-преждаю, что дача ложных показаний является преступлением.

— Понимаю, — сказал Баррис.

— Итак, сообщники Арктора?

— Мисс Донна Хоторн. Под всевозможными предлогами он регулярно входит с ней в сношения.

Фред рассмеялся.

— В сношения! Что вы имеете в виду?

— Я выследил его, — медленно отчеканил Баррис.

— Он часто ее посещает? — спросил Хэнк.

— Да, сэр, очень часто. Не реже...

— Она его подружка, — перебил Фред.

Хэнк повернулся к Фреду.

— Каково ваше мнение?

— Нам определенно следует взглянуть на доказательства.

— Приносите, — велел Хэнк Баррису, — все приносите.

Прежде всего нам нужны имена. Имена, телефоны, номерные знаки автомашин. Имеет ли Арктор дело с большими партиями наркотиков?

— Безусловно, — подтвердил Баррис.

— Каких именно наркотиков?

— Разных. У меня есть образцы. Я предусмотрительно брал пробы... Для анализа.

Хэнк и Фред переглянулись.

Баррис, устремив вперед отсутствующий взгляд, улыбался.

— Что вы желаете добавить? — обратился Хэнк к Баррису. Затем повернулся к Фреду. — Может быть, следует послать с ним за доказательствами полицейского?

Хэнк боялся, как бы он не передумал, не струхнул, не смылся, оставив их с носом.

— Вот еще что, — сказал Баррис. — Мистер Арктор — неизлечимый наркоман. Без препарата С он не в состоянии прожить и дня. Рассудок его помутился. Арктор опасен.

— Опасен, — повторил Фред.

— Да! — торжественно объявил Баррис. — У него случаются провалы памяти, которые типичны для вызываемых препаратом С повреждений мозга. Вероятно, не осуществляется оптическая инверсия в связи с ослаблением ипсилатерального компонента...

— Я просил вас воздержаться от беспочвенных высказываний. Так или иначе мы пошлем с вами полицейского. В штатском.

— Меня... — Баррис кашлянул, — могут убить. Мистер Арктор, как я говорил...

Хэнк кивнул.

— Мистер Баррис, мы ценим ваши усилия и осознаем риск, которому вы подвергаетесь. Если информация послужит доказательством на суде, тогда, разумеется...

— Я пришел не ради денег, — вставил Баррис. — Этот человек болен. Его мозг поврежден препаратом С. Я пришел, чтобы...

— Цель вашего прихода для нас не имеет значения, — оборвал Хэнк. — Для нас имеет значение лишь информация. Остальное — ваше личное дело.

— Благодарю вас, сэр, — сказал Баррис.

И улыбнулся.

Перевод с английского
В. БАКАНОВА

(Окончание следует)

— Скажите, а бывает так, что мертвые не возвращаются?

— Нет, они не умирают никогда.

Исаак Б. ЗИНГЕР
(«Суббота в Португалии»)

Алла ГЕРБЕР

МАМА И ПАПА

Дом, в котором мы живем

Как же нам хочется остаться одним! Как ждем того часа, когда они уйдут и можно будет пригласить гостей! «Свободная хата», «мать с фатером отвалили», «предки слиняли», «мамы с папой дома нет...» Прошли годы, и ничего не осталось в памяти от той долгожданной свободы, кроме подгнивших продуктов в помойном ведре, черных подтеков на паркете, окурков под диваном и винных пятен на зеленом сукне папиного письменного стола...

А запомнилось совсем другое — то, что было на самом деле ДОМОМ, нашим общим домом, который вижу, слышу, чувствую по сей день.

Написала: «вижу», но тут же подумала, что прежде всего, конечно, слышу. Дом начинается с музыки.

Папа не стал певцом, хотя, как утверждали специалисты, у него был редкостного тембра баритон, а мама так и не закончила консерваторию. Сбившись на государственных экзаменах, она убежала со сцены. Навсегда. Это была ее непроходящая боль, которая мучила всю жизнь, но преодолеть пережитый страх она не смогла. Музыка осталась ее неразделенной любовью, которой она открывалась только на концертах в консерватории. Вот там, уже не сдерживаясь, не скрываясь, она отдавалась своей любви. И всегда это был юношеский восторг, как бы первое переживание, первый удар любви, первое от нее потрясение. После концерта она спешила домой, чтобы не расплескать услышанное, тут же, самой, воспроизвести... Но старый «Бехштейн» держал ее на расстоянии, так и не простив давнего предательства.

В сорок девятом, после ареста отца, в дом пришла нужда. Надо было что-то продать, но продавать особенно было нечего. Мама запеленала онемевший со дня ареста папы инструмент, и его унесли пропахшие вином люди. Стыдно писать, но я сочла это предательством — мама всегда аккомпанировала отцу, когда он пел. Я тогда не понимала, что для того, чтобы сохранить дом, она отдавала самое дорогое — их общую мечту, их пожизненную страсть.

Деда со стороны отца я не помню. Рассказывают, что он был ортодоксальным и деспотичным. С юности работал как вол в прямом смысле слова, ибо сначала батрачил на чужой земле, а потом арендовал ее у разорившегося помещика, но возделывал своими руками. А потом и мельницу построил. Папа не без гордости рассказывал, что он, как, впрочем, и три других его брата, действительно пахал землю с четырнадцати лет, совсем как те книжные герои, которые, поучая своих детей, любят повторять: «Я в твои годы землю пахал...» Отец не поучал, но считал, что работать с детства — норма. Учиться, говорил он, тоже работа. Он терпеть не мог безделья, просто физически уставал от ничегонеделания. Я не помню его отдыхающим, разве что дважды за всю жизнь ездил лечиться в санаторий, но, судя по письмам, места себе там не находил и считал минуты до возвращения домой.

Но больше всего папа любил петь. Рассказывают, что, когда отец пел, дед плакал и благодарил бога, что у него такой одаренный сын. Но... обещал проклясть его, если тот вздумает поступать в консерваторию.

«Еще большой вопрос, — говорил дед отцу, — что тебя, сына мельника Хаима из Березовки, возьмут в актеры, а в инженеры возьмут... Техника, если, конечно, иметь голову на плечах, не подведет. Техника, юриспруденция, медицина и экономика...»

Вот так мельник Хаим распределил четыре перспективные профессии между своими четырьмя сыновьями. Отцу досталась «техника». Он никогда не занимал больших «постов», был, что называется, типичным производственником. Сказать, что «горел» на работе, тоже нельзя, потому что это было его естественное состояние во всем: работать так работать, гулять так гулять. Но из всех подарков, грамот, благодарностей «за честный труд» он, по-моему, больше



Журнальный вариант.

всего ценил письма деда, который до самой смерти аккуратными печатными буквами выписывал на конверте — «Инженеру Герберу». Но я, по-видимому, унаследовала дедовский максимализм и не могла ему простить, что папа не стал певцом. И слышу, как будто не вчера, не когда-то, а сейчас, в эти минуты, когда пишу эти строки: «Постой, выпьем, ей-богу, еще...» И вижу ту заснувшую реку, по которой «с тихой песней проплыли домой рыбаки...» И тот цыганский табор, с которым ушла неверная Земфира, и того цыганского барона, который был влюблен... И ту неведомую Бетси, за которую пили полные бокалы, и «...легко на сердце стало, забот как не бывало...»

«О, если б навеки так было...» Если бы можно было вернуть те минуты, когда мама брала ноты и, волнуясь, как школьница на экзаменах, садилась на краешек стула, опускала свои мягкие длинные пальцы на клавиши «Бехштейна» и, глубоко вздохнув, начинала... «Что наша жизнь? Игра», — без надрыва, на улыбке пел папа, словно не веря герою, что жизнь — и впрямь игра, не предполагая, как далеко «игры» в жизни могут завести людей и как надолго они уведут его от нас.

Голос спас отца от смерти. Метр девяносто роста и сорок пять килограммов веса — какие уж тут песни! А он пел в лагере таким же измученным людям, как он сам: «Когда ж домой товарищ мой вернется... любимый город другу улыбнется...» И вернулся, но петь не мог — голос пропал, и я никогда не смогу его услышать: в моем детстве не было магнитофонов. Но и сейчас засыпаю под те колыбельные, которые, сдерживая силу своего могучего голоса, напевал мне он. И теперь, в бессонные ночи, я сама себе пою: «Полушко-поле, полушко — широкое поле... едут да по полю герои, эх, да Красной Армии герои...» И всякий раз плачу, потому что папа пел эту походную отрядную песню с такой печалью, как будто представлял себе этих героев, которые полегли на полушке-поле, заснули на нем вечным сном...

Звуки дома... Половицы не скрипели, ставни не стучали, мыши не скреблись... Но были другие звуки, которые тоже — дом. У каждого они свои. Приглушенные ночные голоса в соседней комнате, когда считалось, что я сплю и не слышу, что они говорят. В этих ночных разговорах я угадывала тревогу, которая исчезала или скрывалась днем. Так было перед самой войной, так, уже совсем приглушенной, тревога вселилась в дом в конце сороковых... Но наутро все забывалось — утренние звуки были веселые звуки. И возникали тот самый мышиный шорох и скрип половиц, под которые медленно и чинно сходили со страниц капитаны, и каждый был отважный, и каждый знаменит... По утрам черная тарелка репродуктора призывала закаляться, шагать левой и правой, улетать в океан голубой высоты... И та же тарелка сотрясалась от разрывающих ее первых взрывов войны, от всенародного стоны-плача — вставать на смертный бой! Ночью в своей комнатке я чувствовала себя выброшенной на необитаемый залитый белым лунным светом остров. Почему-то казалось, что комната совсем пустая — только я, спрятанная за белой сеткой кровати, и репродуктор, ставший вдруг похожим на громадную черную медузу. Я плакала от страха. И с ужасом ждала, когда тарелка ударит приказом-сводкой, завоюет воздушной тревогой. Еще недавно — «Дай, Джим, на счастье лапу мне...» Еще вчера — «Здравствуй, Нетте! Как я рад, что ты живая...» И не думалось, не понималось, что быть живым — чудо. Пришло время, когда нормой становилась не жизнь, а смерть, и те звуки, которые были жизнью дома, надолго покинули его. Война унесла старые письма и записки «в несколько строчек», потушила костер, который «светил в тумане» на воскресных дачных чаепитиях, обратила в сказку, в еще неоткрытую планету из другой галактики и раньше-то загадочные Сочи... Замолчал наш скрипучий патефон, и только после войны его раскрутил пришелец из другой жизни — таинственный лиловый негр, который подавал прекрасной незнакомке нечто совсем странное, на телогрейку мало похожее, судя по всему, ее заменяющее, под названием манто. И пошли-поплыли звуки из «бананово-лимонного Сингапура», из синего и далекого океана, из подлунного мира, где болеет музыка, а на прощальный ужин приглашают... тишину.

Но сколько иных звуков, иных песен вошло в мою жизнь, прежде чем черная медуза превратилась в радиоприемник, вернувший нам школьные вальсы, часы свиданий, ожиданий, упоительных мирных разлук. Прошло совсем немного лет, и дом снова затих, застал по ночам от подлинной, а не эстрадной тоски, замер в ожидании писем, и не сокращались

большие расстояния (поверьте, нет) оттого, что где-то далеко под неведомым мне городом Тайшетом отец пел про город, который спал спокойно, но долго, бесконечных семь лет, не было покоя в нашем сне. И снова ожил, зашумел, скинув годы, дом, когда отец вернулся, а вместе с ним — серебристый звон балетно изогнутых, дымчато-миражных, как стая лебедей в «Лебедином озере», хрустальных бабушкиных бокалов.

ДОМ — это не только звуки, но и вещи, одухотворенные людьми. Вещи, которые впитали в себя суть и дух тех, кто держал их в руках, кто на них смотрел, кто их любил и хранил. Вещь, которая обогащает душу, но при этом не нарушает честную пустоту кармана, — это тоже дом, в котором мы жили.

Немцы были уже совсем рядом, под Москвой, тянуть с отъездом больше было нельзя — отец настаивал, чтобы мы с мамой немедленно эвакуировались (сам же оставался с заводом). Времени на сборы не было, мама набрала в чемодан все, что оказалось под рукой, а в корзину, еще совсем недавно привезенную из Киева с клубничкой, уложила, как грудного, закутанного для гулянья ребенка, реликцию дома, всеобщую любимицу, тяжелую от рождения, но с годами точно отяжелевшую вазу-лодку, подаренную еще моей прабабушкой на мамину свадьбу. Товарищ отца, который пришел за нами (папа смог приехать только на вокзал), посмотрел на маму, мягко говоря, с недоумением. «Это наш дом, — сказала мама. — Пока она с нами — мы дома».

В Ташкенте мама устроилась на завод разнорабочей, таскала мешки с опилками, чтобы получать рабочую карточку. Бабушка делала из патоки конфеты-подушечки, и мы продавали их на Алайском базаре. В школе, по болезни, мне давали дополнительную порцию жмыховой каши (я уже давно из довоенного «жиртреста» превратилась в «Алкупалку»). Все, что можно было продать, мы продали. Все — это два отреза, подаренных папой маме ко дню рождения, два ярких, цветастых крепдешиновых полотнища, о которых мама, не избалованная красивыми вещами, давно мечтала, и чисто по-женски, не взяв самого необходимого — например, теплого пальто, — их все-таки в последнюю минуту засунула в ту же «клубничную» корзину. И еще — мои лакированные туфельки, предмет зависти всего нашего двора, присланные какой-то мифической троюродной сестрой Надей — манекенщицей из Парижа. Но вазу мама не тронула. Когда я заболела малярией, мама по совместительству устроилась ночным вахтером. Но ваза стояла. Помню день, когда мама совсем было собралась нести ее на баракхолку. Тщательно закутала, как тогда, в день отъезда из Москвы, с нежностью уложила в ту же корзину, а потом решительно отправилась куда-то, оставив вазу на своем месте. Она пошла к дальнему родственнику — занять деньги, чего не делала никогда.

Есть люди, которым легко брать в долг, — папа, например, делал это весело. С его размахом жить, тратить, угощать — нам вечно ни на что не хватало. Это был их постоянный спор с мамой (после смерти папы мы еще долго отдавали его «веселые» долги, которые брались для наших общих радостей).

Мама тоже, как сейчас говорят, «не умела жить», но и занимать не умела. Она не считала, не экономила копейки — жили как жили, а когда не на что было жить — тоже почему-то жили. Помню (папы уже не было в живых), к нам зашел мой друг — журналист из Польши, аккредитованный от своей газеты на три года в Москву. Он готовился к приезду жены и пришел к маме поговорить на хозяйственные темы.

— Фанья Яковлевна, — вкрадчиво, осторожно, как бы извиняясь за свое вторжение в «государственные» тайны частной жизни, начал он, — Фанья Яковлевна, скажите, пожалуйста, как вы строите свой домашний бюджет?

— Что строю? — переспросила мама, сморщив от напряжения лоб, что позволяла себе крайне редко: во-первых, морщины, во-вторых, вообще некрасиво...

Юрек достал из папки аккуратную книжечку в золотистом переплете с таким же аккуратным золотым карандашом и стал медленно, по складам, зачитывать вопросы, подготовленные его бережливой женой:

— Скажите, пожалуйста, сколько рублей в день вы расходуете на... молоко, масло, крупу, муку, сыр?

Мама смотрела на него ясными синими глазами, в которых было столько вопросов и столько ответов, что Юреку

все равно их никогда не понять. Но не перебивала. Выслушав до конца длинный список, где ничего не было забыто — ни чай, ни хлеб, ни сахар, ни картошка, — улыбнулась и спокойно сказала:

— Не знаю, Юрек, выкручиваемся как-то...

Ее сберегательную книжку я храню как завет внукам и правнукам: там никогда не было больше семидесяти рублей, а после ее смерти осталось три. Но вазу так никогда не продала, потому что ваза была не материальной, а духовной ценностью. И далеко от дома ваза была нашим ДОМОМ, который она спасла.

Родители воспитали во мне спокойную независимость от сбережений и накоплений. Спасибо им за это! Но вещь, которая душа дома, узелок в его ткани, кирпич в его кладке, эту вещь надо беречь. Она держит дом. Она — его зашифрованная память, простейший, но незаменимый организм его флоры и фауны. Отдайте ее другому — и она погибнет.

С детства помню бронзовую люстру. Она свисала с потолка на длинных, заплетенных в тяжелые косы цепях, на которых покоилась плоская тарелка-клумба, усаженная по бокам свечками, спрятанными в бутонах оранжево-красных, из тончайшего венецианского стекла плафонов. Во время бомбежек люстра раскачивалась, и красные бутоны опадали, покрывая пол мелкими осколками лепестков. Но приходил отбой — и затихала, обретая покой, много повидавшая на своем веку, все еще красивая люстра. Осиротевшую, с потухшими свечами, наполовину разбитыми фонариками, мы, уезжая, оставили ее охранять дом, держать на своих тяжелых цепях его пошатнувшуюся крышу. Когда мы вернулись, в доме мало что осталось, но люстра, потерявшая былой блеск (перед праздниками мама всегда начищала ее зубным порошком), расплескавшая свой свет (как же она горела, когда на ней зажигались все свечи и все лампочки!), — люстра, чуть покачиваясь на согнутых цепях, встретила нас, как встречает собака своих хозяев, надолго оставивших ее сторожить дом.

После смерти отца, когда мы с мамой переехали на новую квартиру, я подло предала нашу старую люстру. Зачем она нам теперь, тяжелая, неповоротливая, в квартире с низкими потолками, где она, такая, не предусмотрена ни типовым проектом, ни условиями новой жизни? Уставшая от потерь и перемен, мама, не выдержав моего натиска, согласилась. Люстра осталась у новых хозяев нашей бывшей комнаты в коммуналке.

Потом я часто возвращалась в наш переулок, затерявшийся в лабиринте Харитоньевских тупиков старой Москвы, где, по преданиям, гулял когда-то Пушкин, а вот теперь, не прижившаяся на новом шумном проспекте, бродила в поисках прошлого какая-то я... И всякий раз видела в окне одинокую люстру, которая освещала мое детство, дарила мне фейерверки огня и света, а теперь, брошенная, обременительная для чужих людей, покорно ждала, когда ее окончательно выбросят из жизни, в которой она со своей поистине светлой памятью оказалась никому не нужна.

И я не выдержала, я вернулась за ней. Новые жильцы, люди молодые, так и не успевшие разобраться в истинной стоимости «бандуры», как они ее называли, отдали люстру с удовольствием: «И куда вы ее? Только мешать будет...»

Она не мешала — она помогала. Часто по вечерам, когда не стало мамы, она высвечивала в памяти любимые с детства предметы, которые пользовались когда-то ее теплом, а теперь проявлялись лучиками-пестиками оголенных, без красных бутонов, свечей. И возникал диван с разноцветными подушками. А над диваном в прямоугольных и овальных рамках — молодые лица моих родителей: с доверчивыми глазами, с благородным спокойствием и немного показной — для птички, которая вылетала в этот миг из щели аппарата всем известного в Киеве фотографа, — улыбчивой сдержанностью. И профиль красавицы бабушки с немислимыми валунами на голове и роскошным корсетным бюстом. И благородный фас голубоглазого химика дедушки Яшани — так в семье называли маминого отца Якова. И стянутое густой седой бородой, жесткое, волевое лицо мельника Хаима. И тихое, к нему обращенное, навек отдавшее ему свою женственность и когда-то южную красоту лицо моей бабушки Фанни... Я не увижу другой ее фотографии, которую, не исключено, сделал на память расторопный немецкий офицер, когда ее, грузную старуху, которая уже не могла сама передвигаться, немцы привязали к телеге и поволокли по Дерибасовской в гетто. А за телогой бежали ее дочери — две папины сестры, которые остались в Одессе, потому что не могли бросить мать. И мои двоюродные братья, чемпионы

математических олимпиад, победители шахматных турниров. Все они погибли в гетто, куда бабушку, как рассказывали очевидцы, «не дотянули» — она умерла «в пути».

Я смотрю на люстру с надеждой, что она вернет, извлечет из небытия то, что безвозвратно ушло. И вижу...

Детскую кровать с сеткой, а рядом — сложенный пополам ломберный столик, много лет заменявший туалетный, и лишь когда пришла пора с ним расстаться (столик был красного дерева, и его вынесли из дома все те же пропахшие вином люди, что унесли мамин «Бехштейн»), — так вот, когда пришла пора с ним расстаться, мы его разложили и обнаружили в маленьком ящике пожелтевшие от времени брюссельские кружева, рассыпавшуюся в руках бисерную накидку и прозрачную, на свет просвечивающую шелковую черную шаль. Столик достался маме от ее бабушки, и с тех пор его никто не открывал. И потянулась тонкая невидимая ниточка к той маленькой куколке-старушке, к которой меня, трехлетнюю, подводили и чье восковое личико сжалось папирусом, когда она, почти столетняя, не то заплакала, не то рассмеялась, увидев меня. А я испугалась и закричала: «Не хочу!» — и убежала из комнаты, приняв прабабушку за бабу-ягу. И вот теперь она, словно обернутая в прозрачную шаль, легкая, молодая, еще не успевшая подарить жизнь пятнадцати детям, совсем не страшно улыбалась мне, прощая и мое бегство, и ужас перед ее почти вековым возрастом. И мне больше не было стыдно за тот позор, и я навсегда потеряла страх перед старостью.

Я сижу за стеклянным журнальным столом, таким стандартно-современным, таким прозрачно-холодным, и вижу несуразный, похожий на перевернутый шкаф папин письменный стол с неподъемным чернильным прибором, в чашечках которого я разводила для своих кукол манную кашу. Пресс-папье заменяло весы в моем магазине, зеленая поверхность стола была его прилавком, а в глубоких ящиках хранились крупа, картошка, конфеты — такое маленькое домашнее сельпо. После закрытия «магазина» папа никогда не мог найти нужных ему бумаг — за ненадобностью они извлекались из ящиков и оказывались под столом.

Мама предлагала немедленно принять меры: «В конце концов сколько можно?!» — металлическим голосом спрашивала она. После, в школе, за этот «металл» и педагогическую требовательность ученики называли маму «богиней зла». «Богиней» — потому что красивая, а «зла» — потому что строгая, но, как все говорили, справедливая. Сколько лет прошло, а я, случайно встречая ее учеников, от академиков до журналистов, узнаю, что они часто вспоминают свою «богиню», которая научила их любить немецкий в те времена, когда иностранные языки вообще считались никому не нужными, а тем более немецкий.

У папы, как я теперь понимаю, была своя система воспитания. По этой системе, прежде чем наказать, надо было обязательно похвалить. И хвалил — за то, что так удачно приспособила письменный стол для... продовольственного магазина. Только после этого он напоминал, что у стола есть еще одно назначение: например, за столом можно писать, читать... Постепенно я полюбила сидеть за шкафом-столом, размазывая на белых листах ватмана каракули-иероглифы, которые папа называл красивым словом — рукопись. Вообще папа полагал, что игра требует жертв, и никак не мог согласиться с мамой, что изящный маникюрный набор в коробке, обшитой вишневым бархатом, нельзя использовать для такого полезного дела, как сапожная мастерская. Пилочками и щипчиками с белыми перламутровыми ручками я «чинила» толстые подошвы туфель и надрезала резину на галошах. Это было чистейшее варварство. Однажды, когда погнулись маленькие ножнички, я почувствовала жалость к их слабости и беззащитности и с тех пор уже никогда не пользовалась ими для починки обуви. Но по-прежнему мечтала: по утрам быть сапожником, днем — хирургом, а вечером — балериной... Грубый кухонный нож потрошил кукол, а белоснежная тюлевая накидка для подушки заменяла газовый, «для сцены», плащ. Каждый день мама задавала один и тот же вопрос: «Где нож?» И каждую неделю стирала накидку. Но, наверное, именно потому, что вещи в доме из вождельных и недоступных становились дозволенными предметами детских игр, в которых принимала участие вся наша дворовая команда, — именно потому я так хорошо их помню. Как помню, вижу, будто и сейчас передо мной, черную шелковую ширму, расшитую пурпурно-зелено-синими поугамами. Потому что это была ширма нашего кукольного театра и занавес «Художественного». И кто только не участвовал в представлениях — тапочки, кувшины, дурилка-



ги, выбивалка для зимней одежды, папина сеточка для волос, бабушкина шляпка с вуалью, мамина черная в блестящих маскарадных юбка, которую я тоже храню по сей день... И, наконец, самая бесценная, ну просто незаменимая для игр вещь, прославленная удивительным, печальным певцом (о чем я узнала значительно позже), — шиншилла. Не шиншилла, что правильно, а именно — ШИНШИЛЛЯ. Таинственный мех прекрасных незнакомок! Присланный когда-то из Парижа все той же загадочной манекенщицей Надей, в нашей жизни он был тем, чем и должен был быть, — воротником маминогo дважды перелицованного зимнего пальто. Но пока шиншилла еще не пришили к пальто и мех с присущей маме аккуратностью хранился в мешочке, на дне которого мерцали хрусталики нафталина, он играл главную роль во всех наших представлениях. Мы ценили воротник за его бесконечную способность быть неузнаваемым. Количество сыгранных им «ролей» невозможно перечислить. Мех одинаково легко справлялся с «образами» кошки и льва, девочки, затерявшейся на плавучей льдине, и мальчика из Якутии, приехавшего в «Артек»... Я уже не говорю о всевозможных дамах, королевах, разбойницах, волшебницах — они бы много потеряли, если бы не шиншилла!

Мало что сохранилось из тех дорогих моему сердцу вещей, но они — знаки дома, отпечатки его души, видимые следы его маленькой истории, которая незаметно вливается в общую и всегда будет напоминать моим внукам и правнукам, что они не сами по себе. Что они — продолжение и утверждение жизни уникального, в каждом отдельном случае, заповедника, сохранить и сберечь который дано лишь им, наследникам.

Вещи можно сохранить, звуки — воспроизвести, но нельзя перенести в будущее запаха ДОМА. Их возвращают и лишь ненадолго удерживают (как тепло у зимнего костра) щедрые на быстрый огонь, набегающие и тут же куда-то ускользающие ассоциации.

У запахов дома свой нрав, свой характер.

Когда для удобства и простоты я покрыла пол лаком и в дом вошел его ядовитый, злой запах, я вдруг почувствовала на губах вкус мастики, свежее, как в морозный январский день, дыхание воска. У мамы был «культ» пола. Он сверкал, как зеркало, по нему можно было скользить, как по

свежему льду катка на Чистых прудах. Поставив ноги на суконки, мы с папой выделявали на полу немислимые пируэты, кружились в вальсе, пролетали в танго из одного конца комнаты в другой... И каждый, кто приходил в дом, считал себя обязанным проскользнуть на маминых суконках — отдать дань необременительному «культу». Запах мастики — это преддверие воскресенья, канун Нового года, начало весны... Запах мастики — это запах разодетой елки, громадного, на полстола, кренделя — благоухая ванилью и корицей, он первым поздравлял меня в детстве с днем рождения.

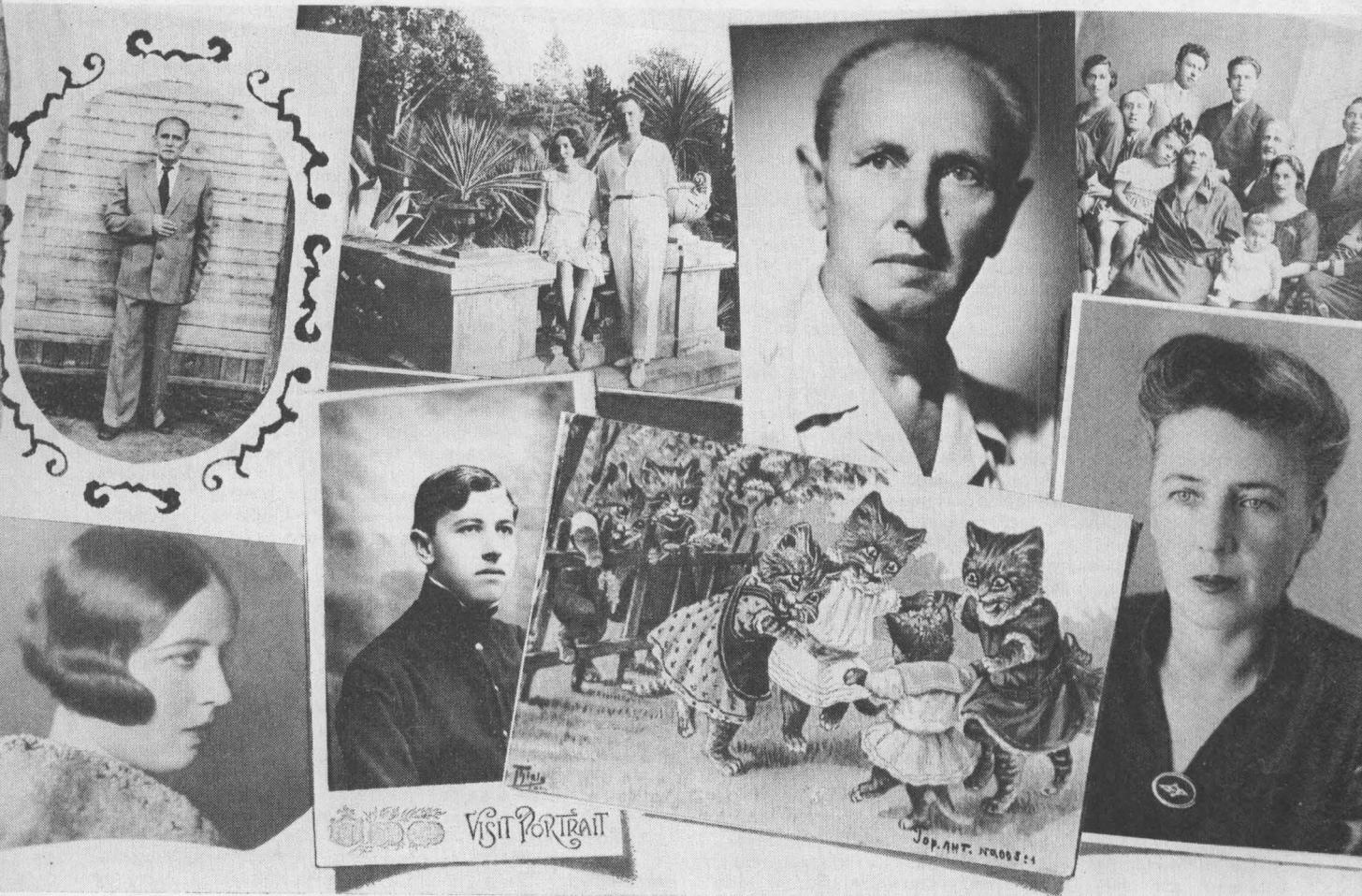
Но запах мастики был и в тот день (Восьмое марта 1949 года. Праздник!), когда пришли ОНИ. Он стал вдруг въедливым и неприятным, точно вобрал в себя запахи их галوش, их пота, их папирос. И сколько потом ни натирала пол, сколько ни пыталась вернуть дому его былую свежесть, миазмы той нескончаемой ночи не выветривались, окутывая болотной тоской, как бывает в пасмурные предвесенние дни, когда кажется, что воздух остановился и дышать нечем.

И так же надолго застрял в доме всегда утренний, бодрящий, а с того дня до тошноты приторный запах кофе. Никогда не изменяющая своему правилу угощать каждого, кто входит в дом, бабушка осмелилась угостить и этих «гостей». Она наивно полагала, что любой человек, если его накормить, становится добрей. Пятый час шел обыск. (Господи, что они искали?!) Незаметно исчезнув из комнаты, хотя приказано было всем оставаться на своих местах, бабушка появилась с подносом, на котором она разложила бутерброды... лепенкой, и на каждом в венчике зелени — аккуратные ломтики колбасы, сыра, а рядом в красных с белым горошком чашках — пахучий кофе, какой умела делать только бабушка.

— Мы на работе... не положено, — сухо отозвался на ее просьбу «перекусить», по-видимому, главный у них и, облизнув сухие губы (ведь всю ночь «работали»), отвернулся.

Кофе так и простоял весь день на столе, мучая сладким, каким-то вокзальным запахом, и немало дней прошло, прежде чем к нему вернулся прежний — утренний, домашний...

Дух ДОМА... Это аромат кофе и чая, корицы и ванилина, поджаренного хлеба, кипящего подсолнечного масла, в котором розовела, но никогда не подгорала нарезанная «лапшичкой» картошка. Это еле уловимый запах пудры «Красный мак» и маминых любимых духов «Красная Москва»...



...До отхода поезда «Москва — Ташкент» оставались считанные минуты. Мы стояли около вагона, высматривая в толпе, которая покрывала перрон черной густой массой, нашего Пипина Длинного (так я потом, в школе, называла его в противовес Пипину историческому, но Короткому). Мама, испугавшись, что меня, еще совсем маленькую, сомнет толпа, схватила, подняла на руки, и... тут я его увидела. Поверить в это было невозможно, но он бежал к нам (если это пробивание сквозь густой поток можно было назвать бегом), держа высоко над головой инопланетный на этом перроне, в этой стонущей, кричащей, ревом ревущей толпе букетик цветов. Каких — не помню, но это были ЦВЕТЫ. Как будто он провожал нас на лето в Киев (там уже давно были немцы, и никто не знал, жива ли киевская бабушка, удалось ли ей эвакуироваться). Поезд качнуло, и, как бы выведенные этим толчком из оцепенения, люди с новой силой заголосили, завывли, и вместе со всеми истошно закричала я: «Папа!» Он подбежал в ту секунду, когда чьи-то руки затащили нас на площадку. Он вскочил на подножку, и я увидела, что он плачет. Я тогда впервые узнала, что папа умеет плакать, а второй раз увидела его слезы, когда уже не мы уезжали, а его вводили от нас.

Поезд, точно сдвинутый стоном тех, кто провожал, сотрясаемый криком тех, кто уезжал, поплыл, оставляя на берегу любимый город и самого любимого на земле человека. Бежать за поездом, как обычно — наперегонки с поездом, папа не мог: толпа захватила его, отгеснила, надолго отбросив от нас, от прежней жизни, от пахучего мирного дома. В руках мамы остался растерзанный букетик и маленький пакет в фирменной бумаге «Мосторга» на Петровке. Когда наконец мы устроились на боковой скамейке рядом с двумя зареванными мальчишками и толстой, обернутой в две шубы женщиной, — только тогда мама вспомнила о пакете. Смущенно оглянувшись по сторонам, как будто боясь, что содержимое пакета может обидеть соседей, мама, отвернувшись, надорвала бумагу. В пакете оказалась красная корбочка, вызывающая своей мирностью, своей душевной непричастностью ни к этому зловонному вагону, ни тем более к тем событиям, которые назывались в сводках «Немцы под Москвой» и которые гнали нас неизвестно куда, и, кто знает, может быть, навсегда. Но словно всем бедам вопреки в корбочке золотился флакон любимых маминих духов «Красная Москва».

А когда через два года мы вернулись домой, нас встретил резкий парикмахерский дух одеколора «Шипр», полоснувший чужим, враждебным миром. В нашей квартире, в бывшей нашей комнате, где когда-то сверкала, упираясь в потолок, елка, где за длинным, раздвижным на три доски дубовым столом по праздникам садилось не меньше сорока человек, где на блестящем паркете папа учил меня танцевать вальс-бостон... В нашей комнате, которая помнила столько смеха, шуток, гостей, театров, маскарадов... В нашей комнате, где на стенах висели портреты бабушек и дедушек, а в книжном шкафу стояли те книги, которые мне еще предстояло прочесть... В нашей комнате, где после scarlatины, закутанная в платок, я слушала папину любимую песню про черного баби и не могла представить себе, что, если верить песне, отец и мать могут оказаться в чужом краю... В нашей комнате поселился толстый, с гнилыми зубами человек, который доказал мне, что — могут.

Этот человек, по-моему, никогда не мылся. Какой-то шутник, наверное, в отместку за «добрые» дела, убедил его, что вода «высушивает». Он был героем прошлого, как оказался в будущем — фиктивный. А в настоящем — управдом. Пока папа делал для фронта «катушки», а мама таскала на заводе опилки, он, воспользовавшись нашей задолженностью за квартиру (не до того было), самовольно вселился в комнату, которая ему, всесильному управдому, имела несчастье понравиться. Нам же мило оставил вторую, поменьше, шестнадцатиметровую. Борьба за возвращение нашей бывшей комнаты стоила папе семи лет жизни вне дома. Своей упорной тяжбой за правду отец утомил «героя». Сочинив очередной донос (как после выяснилось, не впервые освобождался таким способом от неугодных ему людей), управдом избавился и от докучливого соседа. Тогда, конечно, мы этого не знали, как не знали, что папа собирался прямо из Москвы, только ему ведомым путем, перейти границу и попасть в Израиль, чтобы стать там... министром иностранных дел... «Если вам так хочется, чтобы я был министром, то для большего правдоподобия сделайте меня по крайней мере министром тяжелой промышленности. Я хороший инженер, но в политике разбираюсь слабо», — говорил папа следовательно. Но того правдоподобие волновало мало. Для обвинительного заключения «министр иностранных дел» звучало посольней и тянуло на больший срок. Впрочем, согласно приговору еще до перехода границы папа вместе с другими

членами этой антисоветской организации, которую возглавляли Михоэлс и Эренбург, «намечалась нанести прямой удар в спину Советской власти и лично товарищу Сталину». Поверить в эту абракадабру сегодня невозможно, но именно она и легла в основу «состава преступления» и отправила папу в тайшетские, особого режима, лагеря.

Семь лет, а в общей сложности двенадцать, мы дышали «Шипром». Ели суп, котлеты, компот, пропитанные одеколоном. Он спрыснул нас зеленой жижей, как опрыскивают клопов и тараканов, но мы были живы, задушить нас управдому не удалось. Отец вернулся ровно через неделю после того, как бывшего героя отвезли в больницу. Ко всему привычных санитаров покачивало, когда они выносили его из квартиры. «Он не мылся, что ли?» — пошутил один из них, не ведая, что в этой шутке была не доля, а вся правда.

На дверях комнаты повис тяжелый замок, который очень быстро был снят, и вместе с извинениями за «ошибку» мы получили обратно нашу комнату, где некогда, когда-то... А теперь стоял с ног валяющий, глаза режущий парикмахерский дух. С тех пор, когда я слышу этот запах, я вижу перед собой кривоногого осанистого человечка в защитного цвета, без единой морщинки френче, с черными, по-кавалерийски закрученными усами, которые не прикрывали, а почему-то обнажали его гнилые зубы... Вижу его неслышную, кошачью походку, его желтые, в крапинку руки, его серую папаху и маленькую тубетеечку, в которой он ходил дома. Вижу нашего ласкового («как здоровыце...»), музыкального («Ой, Галина, ой, дивчина» — и так каждый вечер), услужливого («чашек кипит, выкипает, всю плиту заливает, я его вылил...»), нашего всеми ненавидимого домоуправа, который для сохранения здоровья поливал себя «Шипром» и задохнулся в нем.

Нет, он не умер, как установили врачи, а лишь заснул летаргическим сном. Проснулся в морге, отчего лишился рассудка, но продолжал жить и мучиться. Его тихая блаженная племянница рассказывала нам, что дядя по ночам забивался под кровать, все прятался от каких-то врагов... А наш ДОМ снова стал нашим, хотя иногда казалось, что из какой-то щели вдруг повеет тошнотворным запахом «Шипра», но это, наверное, только казалось.

Как же в юности нам хочется остаться дома одним, без родителей. И вот они ушли — теперь уже навсегда. Но всякий раз возвращаются, когда я натираю зубным порошком старую люстру. И ставлю на стол вазу-лодку, и спрашиваю сжатые крахмалом складки белой скатерти. И прячу конфеты в тайник, о котором все знают. И еду в Столешников за пирожными, которые, как уверяют, стали хуже некуда, а мне все равно, для меня они все те же... И зову гостей, и чем больше, тем лучше, хотя говорят, что это уже не в моде. И надеваю красивое платье, когда иду в театр (хотя давно никто не одевается в театр), а в антракте, как когда-то с папой, иду в буфет и пью подслащенный теплым лимонад... И покупаю в дом цветы, и уступаю место пожилым женщинам в метро, которые смотрят на меня с удивлением, потому что я давно не девочка и вправе надеяться, что кто-то уступит место и мне, но что-то не много охотников его уступать... И поздно вечером, когда прихожу из консерватории, я повторяю мамино: «Какой был вечер, какой удивительный был сегодня вечер...» И когда опускаю иглу на пластинку и слышу: «О, если б навеки так было...», я знаю — они возвращаются.

Как твоя фамилия?

Поезд должен был прийти рано — что-то около девяти утра. Когда объявили, что он опаздывает на час, я вздохнула с облегчением. Мама волновалась, нервничала: «Ну как же так... Семь лет ждали, а теперь еще целый час». Я пробурчала, что вот именно — семь лет, какую роль может играть какой-то час... Но когда через час стало известно, что поезд «Тайшет — Москва» прибывает с опозданием на три часа, и мама, не выдержав напряжения, расплакалась, я обрадовалась, что еще целых три часа отделяют меня от того момента, которого я больше всего ждала и больше всего боялась. Нет ничего хуже долгого ожидания, равно как провожания, но на сей раз я была благодарна «порядкам» на железной дороге. Никогда и никому не рассказывала я о своем позоре, а сейчас, в этой книге, считаю долгом рассказать.

Мама что-то заметила, но, видно, решила, что я стараюсь, держу себя в руках, подаю, так сказать, положительный пример. Она даже смугилась своих слез и виновато посмотрела на меня, не догадываясь, что это я виновата перед ней. Мама думала: я сильная, а я на самом деле — слабая, трусливая, потому что боялась. Боялась, что увижу другого папу, а ДРУГОГО я не хотела. Я сознавала свою жалкость и ничтожность, но не находила в себе мужества встретить ЛЮБОГО. Изжитого жизнью, забытого, затравленного, потерявшего свой быллой облик — пусть! Мне не страшно, я приму его, каким бы он ни стал, я крикну: «Папа!», даже если этот человек будет... другим человеком. Но нет — я не хотела ДРУГОГО, я малодушно хотела только прежнего. Во всем — и в том, как появится на площадке вагона, и как приветственно помашет рукой, и как весело подмигнет, и как кинет нам на руки какой-то пакет, в котором будет что-то такое, чего еще никогда ни у кого... Я прекрасно понимала, что этого не может быть, ибо этого быть не может. Но в глубине души, сама того не сознавая, я УЖЕ стеснялась этого наверняка другого человека. Потому и обрадовалась отсрочке долгожданной встречи, а когда сообщили, что поезд прибывает на платформу и встречающие могут... Я не могла пошевельнуться. Быть может, что-то подобное происходило и с мамой, потому что, когда поезд подошел к перрону и все кинулись к вагонам, мы стояли, как приклеенные, не в силах отодраться подошвы от расплавленного под летним солнцем вокзального асфальта. На какую-то секунду показалось, что его вообще нет в поезде — ведь всегда первым выбегал — или, бог мой, неужели он так изменился, что мы его не узнали! Стоит рядом, смотрит на нас, а мы его не видим?! Уже все вышли, и перрон почти опустел, когда он появился на площадке — высокий, прямой, в сером бумажном костюме, какие носили тогда трактористы-механизаторы, в тщательно завязанном ярком, попугайском галстуке (за песню «Спят курганы темные...») подарил какой-то угольничок. В широкополой шляпе (заработанной участием в симфоническом концерте «Тот, кто с песней по жизни шагает...»), с деревянным чемоданчиком в руке (подарок ссыльного хирурга Ивана Моноха, который дважды спас его от смерти). Все эти подробности мы, конечно, узнали потом. А тогда увидели не ДРУГОГО, а прежнего — худого, постаревшего, но все такого же — родного до каждой морщинки у глаз, которые в эту минуту сквозь слезы улыбались нам, — нашего Длинного ПИПИНА.

У него была любимая шутка, которую я долго не понимала: она мне казалась сначала смешной, не более того. Встретит на улице какого-нибудь мальчишку (чем позамурзанней, тем ему интересней, а мимо плачущего вообще никогда не пройдет) и обязательно спросит, как его зовут. Одни тут же убежали, другие огрызались: «А вам зачем?» В любознательности чужого дяди они усматривали непонятную им хитрость, какой-то подвох, который наверняка хорошо не кончится. И все-таки одни, кривляясь, другие, смущаясь, и лишь немногие спокойно, с достоинством говорили, как их зовут, — правда, тут же убежали, не дожидаясь, что будет дальше.

— А фамилия? — не унимался отец. — Как твоя фамилия?

— Фигушки! — кричали ребята, как будто боясь выдать государственную тайну.

Папа был невозмутим.

— Так как твоя фамилия? — спрашивал он нового знакомого, и, если тот называл, радости папы не было предела; можно было подумать, что он всю жизнь только о том и мечтал, чтобы познакомиться с этим Петровым или Ивановым. — Иванов? — переспрашивал папа, словно что-то припоминая, а «вспомнив», с удовольствием говорил: — Так ты сын ТОГО САМОГО ИВАНОВА?

— Да, — смущенно отвечал Иванов, — того самого...

— Это прекрасно, я так и думал, передавай отцу привет. И мы шли дальше, оставляя Ивана или Петрова в полном недоумении.

— Ты ведь не знаешь его отца, — удивлялась я. — Зачем ты передавал ему привет?

— Ну как ты не понимаешь? Если он считает, что у него замечательный отец, то ему будет приятно, что не он один так считает. Ну, а вдруг он думает, что у него неважный папа — профессия у него не такая, какой принято у мальчишек гордиться, и вообще он не похож на актера Алейникова, а ему хочется только такого... А теперь он знает, что он

сын САМОГО ИВАНОВА, что кто-то на земле — чужой, прохожий — знаком с его отцом и относится к нему с уважением, и к нему, Пете, с уважением, потому что он — сын своего отца.

Это была наивная шутка, но это была и мудрая педагогика.

Первое, что помню в жизни, — это подарки. Не дорогие, не особенные, а те, в которые вкладывают талант, которые задумывают, сочиняют...

Ни за что не забуду темные, зимние рассветы в дни своего рождения, которых я ждала задолго, ибо знала: когда открою глаза, то увижу рядом с кроватью на стуле... Я засыпала в ожидании чуда и просыпалась, им пораженная. И какая же это была радость — разбирать, разглядывать, кричать родителям, их купившим: «Смотрите, да смотрите же вы!» И они смотрели так, как будто и сами не знали, что там, в этих пакетах.

Потом, уже перед маминым днем рождения, я сама вступала в заговор, в тайное общество, цель которого была одна — подготовить подарочный взрыв, который на сей раз потрясет маму. Куда бы папа ни уезжал, пусть на день, он обязательно привозил с собой сувениры. И даже когда был лишен возможности не только что-то посылать, но даже писать, он умудрился (через два года) непонятно как, с кем, но точно к маминому дню рождения прислать из лагеря (!) подарок — пустую коробку из-под конфет, яркую металлическую коробку японского происхождения, которую, как и мамину сберегательную книжку, я храню для будущих поколений нашей семьи. А еще через год папа прислал коробочку с какими-то дешевыми духами, но это были самые дорогие духи, дорожке «Коти» и «Шанели» — им просто цены не было. Я думаю, мало есть женщин, которые получили бы в подарок ТАКИЕ духи, заработанные в ТАКИХ условиях и ТАКИМ трудом (вот флакон этот не сохранился...). А за год до освобождения, 8 апреля 1955 года (мамин день!), нам принесли из цветочного магазина, что на Пушкинской, традиционную корзину цветов, какую в этот день приносили раньше всегда. Потом мы узнали, что корзина стоила его годовой зарплаты. Как обидно, что пропала и эта корзина, что я не засушила в какой-нибудь толстой книге хотя бы один из нее цветков!

О том, что людям надо оказывать внимание, я слышала, кажется, со дня своего рождения. «Большое спасибо», — говорил папа, когда повода для БОЛЬШОГО спасибо не было — так, для самого обыкновенного, а то и совсем маленького. Или ну просто ни за что: «Я вам очень благодарен». «А чего это вы меня благодарите?» — удивлялся прохожий, который послешно, не задумываясь, отвечал, что не знает, как пройти на ту улицу, о которой его спросил папа. «Ну, хотя бы за то, что остановились», — удивлялся в свою очередь отец. В таких случаях на него смотрели с недоумением, как будто подозревали в чем-то нехорошем.

В нашей маленькой угловой булочной хлеб отпускала Варька-рыжая — женщина лет сорока, с осипшим, прокуреным голосом и всегда красными глазами. Варька с остервенением швыряла батоны и французские булки на дно сумок, а бывало, и мимо них. То ли ее раздражал покупатель, как человек по другую сторону прилавка, то ли ей тогда уже было известно, что хлеб есть вредно, — не знаю. Но хорошо помню ее толстые, с желтыми ногтями пальцы, которые впились в розовое тело булок. «Большое спасибо», — упрямо повторял папа, на лету захватывая авоськой плюшку. Оскорбленная его неуместной вежливостью, Варька в конце концов не выдержала и рявкнула: «Вы что надо мной издеваетесь?! Вы что мне все свое спасибо тычете... Вон жалобная книга, пишите, мне наплевать...»

Папа сказал, что жалобная книга ему не нужна, впрочем, спасибо, и с сожалением посмотрел на пылающую от гнева и без того огненную Варьку. У двери он оглянулся и сказал Варьке: «До свидания». «Псих ненормальный», — прохрипела Варька.

Тут и я не выдержала: «Папа, ведь она вредная, противная, за что ты все время говоришь ей спасибо?» «Привычка», — улыбнулся папа. — Привычка».

Надо сказать, что, унаследовав от отца эту «нелепую» привычку, я часто натываюсь на глухую тоску в глазах, а то и откровенную ненависть. Наверное, когда мы говорим хаму спасибо, он прекрасно понимает, что заслуживает других, более знакомых ему слов, которые куда результативнее всех этих «интеллигентских штучек». Он вовсе не намерен ме-

няться, а вежливость других только раздражает. Этими наивными, как учили в детстве, волшебными словами никого не исправишь, а то и вызовешь неприязнь... Но... «людям надо оказывать внимание...» И я говорю — «большое спасибо», когда для него нет даже маленького повода, и говорю «здравствуйте», и говорю «до свидания», хотя никто не заметил, что я вошла, ни тем более что ушла. Но в конце концов кто-нибудь да улыбнется и скажет «пожалуйста», и с теплой улыбкой встретит, и пожелает вслед всего хорошего, не подозревая, что это не моя, а папина победа, что это тот самый случай, когда человека нет, а дело (суть его, дух его) живет.

Удивляло даже не то, что надо оказывать внимание, а мгновенная реакция на это «надо». Женщина еще не успеет подняться в трамвай — папа уже вскакивает. Сама еще не поймет, как ухватить тяжелые пакеты двумя руками — а на их количество требуется по меньшей мере четыре, — папа уже подхватывает ее сумки и авоськи, шутя помогает справиться с их неуправляемым количеством. Если у него было плохое настроение, он не позволял себе перекладывать собственную хмурию на другого. Кто бы и когда ни позвонил, в каком бы при этом он сам ни был состоянии (болеет, не выспался, с мамой повздорил, на работе неприятности), — все равно моментально брал себя в руки и говорил, как всегда, приветливо и доброжелательно. Телефон в нашем доме звонил часто, наверное, слишком часто для не знающей праздности трудовой семьи. Но папа строго-настрого запрещал его выключать (это когда они жили с мамой в отдельной малогабаритной квартирке — недолгая радость последних лет).

«А вдруг что-то случится, а я, видите ли, отключилась...» — и, вздыхая, прерываясь на полуслове, шел на очередной телефонный звонок — один из многих, часто не обязательных, но вдруг...

Для меня и по сей день загадка, как он слышал, что нужен, что зовут, а сам был далеко, иногда в другом городе — только телефонный звонок раздавался тогда, когда папа был необходим.

«Как ты узнал?» — спрашивала я. «Ничего не знал. Просто подумал...»

Действительно, просто подумал... Нет, не просто, как с годами выясняется, уезжая в другой город, ежедневно «давать о себе знать». И не как-нибудь, а с выдумкой, с фантазией, потому что и это «давание» требовало дарования. Он не ленился выискивать смешные открытки — с кошечками и собачками, с розово-сиреневыми влюбленными, пронзенными стрелами амура, а сбоку каллиграфическим почерком — бессмертные фразы: «Люблю тебя, как ты меня» или «Жду ответа, как соловей лета»... Я берегу эти открытки в той самой японской коробке. И сейчас, разглядывая их, смеюсь и думаю: и где он их только покупал, на каком рынке находил и как, наверное, сам смеялся, опуская в щель почтового ящика, предвкушая наш смех. А ведь мог бы послать обыкновенную почтовую карточку, но это было бы слишком просто и слишком скучно...

Отец никогда не приходил домой с пустыми руками. Еще одно правило: в дом — свой ли, чужой — «с пустыми руками не приходите». Вот что он особенно артистически мог делать — это тратить деньги, приводя в ужас маму, которая была хозяйкой, и, как я уже писала, расплачиваться за папину необузданную страсть делать подарки надо было ей. Он мог выйти из дома с двадцатью рублями, мог — с тремя: разница не было никакой. Домой все равно возвращался с полными сумками и с одной копеей (копеейкой — обязательно). Только повзрослев, я поняла, как бедно мы всегда жили, но, сколько ни стараюсь, не могу вспомнить, чтобы в детстве дома говорили о деньгах. О том, как трудно они достаются, я догадывалась — видела, сколько родители работают. Но деньги прожигались, а не собирались, не откладывались ни на черный, ни на светлый день.

Родственники, дяди и тети, с осуждением говорили, что мама и папа не умеют жить. Но я думаю, что умели. Вот как раз ЖИТЬ они умели.

Уезжаю от них вечером к себе домой (сама — жена, мать, хозяйка, не очень хорошая, но хозяйка) — и нахожу в кармане пальто три рубля с записочкой: «Это тебе на глупости». Папа любил «глупости», нецелесообразные, бессмысленные, как могло показаться, вещи. Но какой бы скучной была без них наша жизнь! В ней не было многого, что считается для жизни обязательным: например, очень долго — холодильник, пылесос... Стиральную машину, например, я до сих пор не соберусь купить. Но зато сколько было замечательных

«глупостей!» Устроить торжественный обед по случаю и без случая (повод всегда находился: хорошая погода, например, тоже повод) или всей семьей — в Большой театр, а в антракте — буфет с шампанским, и нам, женщинам, коробку конфет — это пожалуйста, на это почему-то хватало...

Он не покупал внуку дорогие книги — из тех, что лучший подарок и запираются в шкафу. Зато сын хорошо помнит, как дедушка ходил с ним в один и тот же книжный магазин к продавщице Танечке. Для Тани всегда была припасена ее любимая ванильная шоколадка — не какая-нибудь, а любимая, и это надо было не полениться узнать, запомнить, чтобы маленький подарок доставил УДОВОЛЬСТВИЕ.

Дружба с Таней продолжалась несколько лет, пока был жив папа. Прихода деда с внуком она всегда ждала, и, конечно, не шоколадка была тому причиной. Тане нравилось смотреть, как дед помогает внуку выбирать книжку, нравилось самой участвовать в этом маленьком спектакле — ей было интересно с ними дружить. Тогда еще детские книжки не были дефицитом, и Танечке не приходилось тайком доставать их из-под прилавка. Поход в магазин к Тане — еженедельный ритуал, который сын никогда не забудет.

Это была его первая дорога к книгам, по которой дальше он пошел сам, но, оглядываясь назад, знаю: видит у самого ее начала высокого улыбающегося человека в неизменной шляпе, который машет ему рукой...

Мужчины и женщины

Маме было сорок три, когда папу забрали. Я тогда и думать не думала, что для женщины — это расцвет ее красоты и первые шаги прощания с ней. И только спустя много лет, когда мы пели: «...это значит — очень скоро бабье лето, бабье лето...» — я поняла, что эта ранняя осень, это бабье лето — оно все еще в цветку, в солнце, в красках — пришло к маме с холодным одиночеством, ночной тоской и утренними пробуждениями, когда нет сил начать день и нет права его не начинать. Но именно в эти годы она была особенно красива. Она не молодилась, но и не носила маску трагического пренебрежения к себе. Ее красота не опускалась до самоуничтожения, но и не отпугивала искусственной яркостью. Даже в то, тогда еще далекое утро, когда ей стало плохо и два веселых парня в мятых белых халатах навсегда унесли ее, она шепотом, стесняясь непривычной для себя беспомощности, попросила: «Сотри мне крем с лица... душно... дышать нечем...»

Ее лицо с нежным румянцем, с ясными васильковыми глазами, ее золотисто-каштановые волосы, хотела она того или нет, невольно обращали на себя внимание. Ее называли «русской красавицей», на что она неизменно мягко отвечала: «Насчет красавицы не знаю, вам видней, но только я еврейка». Но самым удивительным в те годы было даже не ее лицо, а статья — свободная, гордая осанка, прямая, не согнувшаяся под тяжестью лет спина. Это потом, уже под конец жизни, она чуть сутулилась, хотя и старалась, как говорила, «держат спину». Но в те годы ее еще издали узнавали по спине.

Мамы уже не было в живых, когда я с группой журналистов попала в Соединенные Штаты... Я сейчас не об Америке, а лишь об одном эпизоде, который на долю секунды вернул мне маму и заставил многое понять в себе. Было это в Лос-Анджелесе, сразу после рождества.

По всему городу, от магазинов-гигантов до маленьких магазинчиков, шла послепраздничная распродажа — Большой «Сейл». Захваченная эйфорией дешевого обогащения, я вместе со всеми металась между гигантами и лавочками, проклиная «Сейл» и себя, которая, вместо того чтобы смотреть Америку, сверяет размеры, высчитывает цены, меряет какие-то кофточки...

Довольно, сказала я себе, выйдя из очередного «супермаркета», довольно всей этой суеты, беготни... В конце концов ты женщина, ты турист, уважаемый журналист (в ту минуту мне искренне казалось, что это так). Вот видишь, перед тобой знаменитый отель Гордона, туда каждый при желании может войти, а желания у тебя хоть отбавляй.

С этими словами я гордо вошла в знаменитый отель. Но если «Сейл» — это безумие, расщепленное по всему городу, то отель Гордона — это безумие, сосредоточенное в одном месте. Взлетев в открытой кабине лифта, как на подъемнике в горах, на вершину отеля, я смогла обозреть его разнообразный ландшафт — магазины, концертные и кино-

залы, рестораны, теннисные корты, сады, бассейны... А сквозь них, вокруг, под, над, в середине, сбоку и прямо — бело-красные, зелено-голубые, золотисто-бежевые, черные, матовые, прозрачные, какие хотите: к глазам, к губам, к шляпе, к зонтику, к настроению, к мироощущению — всевозможные бары и кафе. В толстом, здесь не по сезону, теплом пальто, в сапогах, которые давно натерли ноги («Туризм — это обувь», — еще в Москве говорили многоопытные «вояжеры»), но что нам чужой опыт, пока мы не набьем собственные мозоли!), обвешанная пакетами, я чувствовала себя в этом раю, как в крошечном аду. Не помогли ни собственная гордость, ни то, что журналист и женщина, — не помогло ничто. И тут я вспомнила, как мой первый редактор — уставший и много чего на своем веку повидавший человек — любил повторять, что главное в нашей жизни — это воспитание воли и одновременно характера. Мысль не новая, но если вспомнить ее вовремя, очень полезная.

Уже у самого выхода я оглянулась и увидела то, чего здесь не увидеть было нельзя, — очередное кафе в стиле не то рококо, не то барокко. Правда, белое дерево и красный бархат не гармонировали ни с цветом моего лица (серым от усталости), ни с цветом пальто, но... отступить было поздно.

Через секунду я сидела на полукруглом мягком диванчике, а еще через секунду передо мной возникла красно-белая чашечка кофе, и красный язычок зажигалки вспыхнул прежде, чем я успела поднести сигарету к губам. Я закрыла глаза, вытянула гудящие ноги... За белым роялем пианист, не обременяя слух посетителей, будто бы для себя, наигрывал вальс Шопена, и я вспомнила, как папа нарочито театрально, с пафосом провинциального актера декламировал: «...Королева играла — в башне замка — Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж...» Я уже совсем было расслабилась, как вдруг...

Как вдруг я услышала очаровательное щебетанье. Отключившись и предавшись воспоминаниям, я не заметила, что рядом со мной на диванчик кто-то сел. Диванчик был достаточно большой, он как бы опоясывал несколько маленьких столиков. Чуть скосив глаза, я увидела спину очаровательной (судя по голосу) женщины, которая щебетала на непонятном мне французском языке. Ну почему, почему я не учила языки?! Почему не слушалась маму, которая знала и немецкий, и французский, а я упрямо не хотела знать никакой другой, кроме русского...

Неожиданно щебетунья с французского перешла на немецкий. Я опять скосила глаза. Я не могла оторваться от ее естественно прямой, обтянутой мягкой коричневой тканью спины. Не голос и даже не напевная картавость языка Гейне и Гете, на котором так любила говорить мама, а именно эта благородная линия спины потянула меня в далекое, почти забытое, и я увидела другую спину, за которой шла, стараясь не отставать, по скользким ступенькам крутой лестницы, ведущей на мост. Мост, переброшенный через пути подмосковной станции Мытищи. Мост, по которому нужно было пройти-проскользнуть и потом так же осторожно, чтобы не упасть, спуститься вниз с тяжелыми сумками и ящиками посылки. Раз в месяц и только отсюда, выстояв многочасовую очередь, мы отправляли ее по адресу, где не было ни города, ни улицы, а был номер, и еще один номер, и только потом — фамилия. Как же скользко было в тот день — мост никогда не посыпали песком, а держаться за перила было нечем: в руках драгоценные сумки, содержимое которых продумывалось и собиралось целый месяц. Было раннее серенькое утро, только-только рассвело. Мы уже поднялись на мост и, неловко балансируя, медленно двигались по вздыбленной ледяной горке. И вдруг я увидела, что спина мамы как-то странно накренилась, и в следующую секунду мама рухнула на лед, и если бы не две быстрые, ловкие руки маленького, в сером ватнике человека, она на моих глазах соскользнула бы вниз. Но один из ящиков, неумело и наспех сколоченный, ударившись о твердый лед, развалился, и оттуда посыпались под стремительно идущий поезд вызывающе желтые в серости дня пузырьчатые лимоны, присланные для папы его другом из солнечной Грузии.

Я не боюсь, что читатель упрекнет меня в литературности, то, что бывает на самом деле, всегда кажется выдуманной выдуманным. Но именно здесь, в красно-белом барочном кафе, под звуки Шопена, которого наигрывал пожилой, в черном фраке пианист, я, не в силах оторвать глаз от спины женщины, лица которой так и не увидела, вспомнила тот мост, желтые лимоны на грязном снегу и поняла, что никуда и никогда мне не уйти от нашей жизни, от своей

биографии. Быстро расплатившись за невыпитый кофе и сигареты, спутулившись и тяжело волоча ноги, я уходила из отеля Гордона. Уходила навсегда.

Я гордилась маминой красотой, жалела, что больше похожа на папу, но комплексы меня не мучили. И когда мне говорили: «Какая у тебя красивая мама», — я про себя думала: а какая еще у меня могла быть мама — только такая. Я прекрасно понимала, что мама должна нравиться, что в нее должны влюбляться. Но в реальной, сегодняшней жизни был папа, и только папа, даже тогда, когда его не было, ибо я хорошо изучила биографию жен декабристов и считала, что жена должна идти за мужем, а если такое невозможно, она должна ждать. Вот так — должна, обязана... И все-то я знала, на все у меня были готовые решения.

Окончив юридический институт, я решила, что юристом не буду. Причин тому было много, но главная — я хотела стать журналистом. Я уже вкусила обманчивую сладость собственного напечатанного слова, игра с которым на бумаге затягивала в свои иллюзорные возможности. Первый напечатанный в центральной газете очерк назывался «Зачем инженеру Чайковский?», что дало повод моим друзьям еще несколько лет спрашивать меня: «А действительно, зачем?» Тогда были в моде диспуты о физиках и лириках, и проблема духовного развития казалась самой животрепещущей. Так или иначе, благодаря «смелой» и своевременной постановке вопроса меня, юриста по образованию, пригласили корреспондентом в новый журнал. Но Чайковский сыграл в моей жизни двойную роль: с одной стороны, помог выйти в профессиональную журналистику, с другой — долго не отпускал от себя, ибо меня считали специалистом по музыке (что было глубокой ошибкой) и поручали задания, с нею связанные. Я же тогда мечтала об экспедициях в тайгу, о полетах за Полярный круг, о стройках, где палатки, дожди, снегопады... «Романтика» будней, «фантастика» дальних дорог... А вместо этого брала интервью у начинающего композитора или руководителя детского хора.

Однажды все-таки повезло — перед самым конкурсом имени Чайковского мне доверили беседу с «корифеем советской школы пианизма» (так сказала моя заведующая, которая любила награждать деятелей культуры характеристиками типа «корифей», «аксакал», «основоположник», «родоначальник», «рулевой», «флагман» и т. д.). На сей раз «флагманом» и «рулевым» оказался Генрих Густавович Нейгауз, который обедал в Киеве у моей бабушки и учил играть на рояле мою маму. Знакома я с ним не была и тогда еще не знала, что мама была влюблена в него, а он — в нее. К встрече с «корифеем» я тщательно готовилась — надела ситцевое с большим вырезом платье, в котором казалась себе неотразимой, туфли на самых высоких каблуках, причесалась в парикмахерской на Кузнецком. О том, чтобы прикинуть, как провести интервью, я и думать забыла. Мне очень хотелось понравиться «флагману», о чем обаянии ходили легенды и на концертах которого в консерватории я не раз бывала с мамой. Но мама никогда не заходила к Генриху Густавовичу в артистическую, почему-то всегда торопилась уйти...

Итак, Москва, лето, Садовое кольцо. Жара 33 градуса. Звоню в дверь, при этом считаю до пяти, чтобы не волноваться.

— Кто там? — недовольно спрашивает простуженный женский голос.

— Из журнала... о встрече было договорено... — с несвойственной мне робостью отвечаю я.

Дверь открывает закутанная в толстую шаль маленькая горбатенькая женщина.

— У нас грипп, — с гордостью объявляет она. — На улице жара, а у нас грипп.

Последнее уже без гордости, а с давним смирением, что в этом доме, у этого человека все, не как у людей.

Меня проводили в удлиненную полупустую комнату, посередине которой мерно раскачивалось кресло-качалка. В углу стояла узкая кушетка, на ней, как показалось сначала, никого не было. Я недоуменно посмотрела на свою спутницу.

— К вам пришли, — недовольно сказала женщина и, чихая, удалилась.

В ответ раздалась три взрывных чиха, и кушетка зашевелилась. Из-под яркого, небывалого в те годы, знакомого только по романам Диккенса клетчатого шотландского пледа высунулась сначала белая всклокоченная голова, а затем буро-красный нос «корифея», который выбежал на сцену Большого зала консерватории стремительной походкой юно-

ши и, взмахнув белой гривой, еле прикасаясь к клавишам, начинал...

— Садитесь, душенька, и не обращайтесь на меня никакого внимания... — После чего, не поднимаясь, он закапал в нос капли, которые стояли на тумбочке рядом с его кушеткой, и весело спросил: — Ну-с, какие новости?

Так началась наша беседа. Говорила больше я, чем он, потому что он умел спрашивать и слушать, а я тогда не умела ни того, ни другого. Судя по всему, ему до смерти надоело болеть, и он был рад возможности поболтать и не спешил меня отпускать. Так, не торопясь, мы наконец подошли к тому, ради чего я сюда пришла, — конкурс имени Чайковского и его советские участники. Среди них был мой двоюродный, а точнее, троюродный брат, но у нас в семье что двоюродные, что троюродные — все едино. И когда я, наконец, уже в десятый раз довольно настырно спросила: — А что вы, Генрих Густавович, думаете о...?

Нейгауз кокетливо улыбнулся:

— Вы, душенька, похоже, влюблены в него...

Мне ничего не оставалось делать, как признаться, что Г. — мой двоюродно-троюродный брат.

— Как — брат?! — удивился Нейгауз, хотя почему, собственно, он не мог быть моим братом.

— Потому что у меня есть тетька, — обиженно ответила я.

— С какой же, позвольте узнать, стороны? — не унимался Нейгауз, явно заинтересовавшись моей родословной.

— Со стороны мамы, — с некоторым вызовом ответила я.

— Так кто же ваша мама?! — вскричал Нейгауз с таким неподдельным интересом, как будто я сейчас открою ему неизвестные страницы личной жизни Шопена.

— Моя мама... — И тут я очень спокойно, совершенно забыв о бабушкиных обедах и маминой консерватории, назвала ему имя и фамилию моей мамы.

— Кто? Кто? Фанни..?! — вскрикнул он, как-то особенно легко и вальяжно произнося непривычную для нормального человека девичью фамилию мамы.

Предусмотреть дальнейшее было невозможно. Откинув царским жестом плед и стремительно перейдя из горизонтального положения в сидячее, он вознес руки к небу и красивым молодым голосом торжественно произнес:

— Фанни... — Дальше следовала невыговариваемая мамина фамилия. — Боже мой! Какая у нее была спина!!!

Признаться, мне стало не по себе. С одной стороны, я испытывала гордость за маму, чью спину запомнил «флагман» и «корифей». С другой — мне было неприятно, что этот сморкающийся и кашляющий «старикашка» так интимно вспоминает мою маму. Папа недавно вернулся, и в этом далеком воспоминании Нейгауза мне почудилось покушение на их с мамой счастье.

Я никогда не прощу себе сурового взгляда, который приводил мою бедную маму в замешательство, заставлял ее краснеть, когда я замечала, что за ней кто-то пытается ухаживать и ей это (господи, да как же иначе!) небезразлично. Чего тут было больше — моей собственной ревности или ревности за папу, не знаю. Но понять, что она еще так молода и что прежде всего — ЖЕНЩИНА, а потом уже учительница, хозяйка, наконец, мать, я не желала.

Мама и сама была воспитана в традициях истинно высокой морали, она бы дождалась папу, чего бы ей это ни стоило, но даже малейшие отклонения от стоической прямой вызывали у меня неосознанный ужас и безотчетный страх перед самой возможностью того, что я не допускала.

Если бы я могла сейчас рассказать ей все, что годами меня мучило и даже сегодня, когда пишу, не освобождает от вины... Если бы она могла сказать мне: «Бог с тобой, я тебя прощаю!»

Рано утром школа. Ученик Ванякин, который писал на доске: «Бей фашистов и жидов!» Великий немецкий — шести классам 310-й средней школы, двумстам пятидесяти ее ученикам, из которых, дай бог, пятнадцать хотели его учить, а еще пятнадцать не сопротивлялись. Немецкий — детям войны, для которых, как мама ни старалась, он оставался языком врагов, и только через два поколения стал просто иностранным языком, но к тому времени мама из школы давно ушла. После уроков — дополнительные занятия, школьный театр и литературный кружок. А дома — тетради, тетради, тетради... И ночью, когда мы с бабушкой уже спали, мама сидела, прикрыв лампу темной салфеткой (ведь в одной комнате), и проверяла эти тетради, которым не было конца.

Мама всю жизнь была «профессиональной отличницей». Добросовестность была стилем ее жизни. «Человек — это

стиль», — любил повторять папа. Мама была олицетворением порядка и организованности. Быть может, любовь к немецкому языку привила ей эти чисто немецкие черты характера. Порядок в доме, порядок на работе, порядок в отношениях с людьми. Даже в ту последнюю ночь жизни, не подозревая, что идут ее последние часы, она, словно желая мне в наследство оставить свой порядок, аккуратно разложила по полкам принесенное днем из прачечной белье...

— Мама, ведь поздно... — рассердилась я. — Можно подумать, что ночью придет комиссия по проверке чистоты.

Она не ложилась спать, пока не приведет ДОМ в порядок. Только сейчас я понимаю, что этот порядок помогал ей выжить, сохранить себя, выстоять психически и физически, когда внутри все рушилось, теряло точки опоры, и не за что было удержаться. Она держалась — за свой порядок, выстояла, когда жизнь валила с ног. Но она принадлежала к тому редкому племени педантов, которые легкомысленные педанты. Точная во времени, она не считалась со временем, если гости, праздник, вечернее застолье, ночное чаепитие... В этом легкомыслии она была прежде всего очаровательной женщиной и оставалась такой до самой смерти. Но в ее легкомыслии была унаследованная от деда-талмудиста моральная устойчивость. Она исповедовала верность мужу не как мучительную догму, а как нечто само собой разумеющееся. Но возможен был не случай, а любовь к другому. Сотым чувством я это понимала и страдала, заранее страдала, что может нарушиться гармония нашей семьи. Отсутствие папы казалось мне таким временным и случайным, что я каждый день ждала его возвращения.

И когда мама на встрече Нового года танцевала с красивым пианистом, я вместе со всеми восхищалась: какая пара! Но, не успев порадоваться, тут же осуждала, а мама, поймав мой надушенный взгляд, смущенно опускала голову — я отбирала у нее праздник. Когда в доме появился обаятельный умный режиссер из театральной студии, я поначалу ликовала — с ним было интересно и весело, и моя уставшая мама забывала о Ванякине, о тетрадках, которые «росли» на подоконнике (письменный стол был отдан мне), о зимнем пальто, которого в этом году опять не будет. Но чем больше радовалась мама, тем решительнее сопротивлялась я. И обаятельный режиссер со своими интересными разговорами очень скоро исчез. И когда однажды я встретила его на улице, он сказал мне: «Все не просто, понимаешь?» Да, конечно, все не просто. Но я не понимала.

Теперь — да, теперь понимаю, а тогда — только страх и ужас перед возможной бедой и ненависть к «болтуну» (еще вчера интересному человеку), и непонятный стыд за то женское, требующее своей жизни, которое я чувствовала в маме, когда приходил этот острый, увлекательный человек. Годы привели к смирению мой ум и продиктовали эти строки, на которые потребовалась почти вся моя жизнь, а здесь их всего ничего — три страницы.

Последняя глава

Казалось, что они будут всегда. Даже подумать было невозможно, что их когда-нибудь не станет.

В детстве мы не любим кладбища. Днем там скучно, вечером страшно. Сколько раз в книгах, да и в жизни, ребята, чтобы доказать свою храбрость, вызываются на спор провести на кладбище ночью несколько часов, а потом рассказывают жуткие, до дрожи в коленках истории о покойниках, которые выходят по ночам из своих могил... И даже в сказках, добрых спутниках нашей жизни, покойники всегда внушают ужас. Но я на всю жизнь запомнила сказку, где встреча с умершими — бабушкой и дедушкой — была светлой радостью воспоминания, а прощание с ними — горькой тоской. То была «Синяя птица» во МХАТе, на которую мы ходили с папой несколько раз. И всякий раз, когда Тильтиль и Митиль покидали дом бабушки и дедушки, я в слезах шептала: «Не уходите». Но дом на глазах погружался в голубоватую дымку ускользающего воспоминания. Страшно было не остаться в нем, страшно было покинуть его.

Никогда больше ни в одном детском театре мне так наглядно, как тогда, в Художественном, не продемонстрировали не просто уважение к старикам, а нашу прямую к ним причастность, нашу бесконечную с ними связь. Это потом я смогла прочесть и понять, что любовь и уважение к своим предшественникам возвышают и нас, потомков. А тогда не поняла — почувствовала. Не высказала — пере-

жила. И, потрясенная, не бежать хотела от них, покойных, а к ним, воскрешенным памятью детей, вернуться.

...Этого старика я заметила давно, лет десять назад. Он возникал, будто из-под земли, и, не произнося ни слова, стоял некоторое время рядом, не нарушая, но как-то незаметно вторгаясь в мое уединение. Потом так же молча уходил. Иногда наши глаза встречались. В моих было недоумение, даже раздражение. В его — извинение, что помешал, и одновременно уверенность, что иначе не мог, что он просто обязан мне помочь, хотя я его об этом не просила.

«Ничего, ничего... Вы, пожалуйста, не беспокойтесь...» — тихо говорил старик.

Я заранее знала, что он скажет дальше, знала, что отвечу, и малодушно опускала глаза. Наступала тягостная пауза, и тогда он робко спрашивал: «Вам не нужна молитва?» Это его хлеб, его на еврейском кладбище святое дело, и грех было отказывать ему. Но, колеблясь, мучаясь, чувствуя, что обижаю его, я все-таки отрицательно качала головой. Старик не уговаривал. Он учтиво приподнимал шляпу, которую не снимал ни летом, ни зимой, кланялся — сначала могиле, потом мне — и, выбрасывая вперед палку, удалялся. Я смотрела ему вслед — на его прямую спину, на запрокинутую седую, в серой шляпе голову, на развевающийся, всегда расстегнутый белый плащ.

Он часто подходил ко мне. С годами, не дожидаясь вопроса, я поспешно бормотала: «Спасибо, не надо». Он приподнимал шляпу и молча уходил. Иногда мне хотелось догнать его, остановить, объяснить, почему вот уже несколько лет я так упорно отказываю ему. Но если бы я могла это объяснить! Да и не нужные ему были мои объяснения. И вот однажды, когда он опять подошел и был в тот день, как показалось, особенно замерзшим и неприятным, я начала что-то быстро и бессвязно бормотать: мол, понимаете, мои родители... ну, вы понимаете... Он поднял руку, как будто хотел остановить этот неуместный поток слов. Ему и так все было ясно и, наверное, не хотелось, чтобы я доводила до конца кощунственную для него мысль. Но меня уже несло — я говорила, говорила: о вере, о боге, о том, что у каждого он свой, что...

— Разве я спорю, — грустно улыбнулся старик. — Разве я на чем-нибудь настаиваю... Я очень уважаю ваших родителей и вашу веру...

— Мою веру?!

— Дай вам бог, — сказал он. — Пусть у вас будут большие радости, большая семья и очень маленькие неприятности... Дай вам бог... — На сей раз он резко повернулся и, взмахнув палкой, быстро пошел по дорожке.

Через несколько месяцев я спросила у тетки Полины, которая вот уже много лет убирает могилы моих родителей и моего мужа. Кто на кладбище не знает тетку Полину с серо-белыми, как больничная простыня, волосами, черную от кладбищенского солнца, с синими прожилками на тумах-ногах от тяжелых ведер с песком, которым она посыпает дорожки к «своим могилкам», с незатухающей «беломориной», зажатой в беззубом рту...

— А где старик? — спросила я у тетки Полины, которая все знает, потому что, как сама говорит, родилась на Востряковке и помирать пока еще не собирается.

— Лазарь, что ли? — прохрипела Полина.

— Может, и Лазарь, я не знаю, как его звали.

— Лазарь... Я видела, он всегда к тебе подходил. Небось жмотничала, не брала у него молитву. Хороший был старик, только бедный очень — работать не умел... Вон Изю видела, тоже из ваших. Тот за горло возьмет, а от своего не отступится — даже одному православному свою молитву читал, да так душевно, что все плакали. Лазарь не такой, дурной ваш Лазарь, но мужик хороший. Помирать он и, видать, не выкрутится... Мы тут с бабами денег ему собрали, апельсинов купили, курочку... Он курицу любил, только ел редко... Изька ему, бывало, кричит: «Вы, Лазарь, идиот, вы не умеете обращаться с клиентом!» И орет, визжит, по-вашему ругается. Лазарь ему ни слова. А мне потом говорит (мы с ним вроде как подружки были): «Товарищ Поля, не надо обижать вас на Изю, у него умерла единственная дочь, и он совсем один на этой замечательной земле...» А у самого ни кола, ни двора — комнату родственнице какой-то отдал, а сам у Катьки-цветочницы в подсобке спал.

Больше я его не видела. Рассказывали, когда умирал — просил похоронить его на другом кладбище. Изя, которому

недавно исполнилось восемьдесят, плакал и говорил всем, что этот идиот просто не захотел, чтобы он, Изя, прочел над его могилкой молитву. Коллектив тоже обиделся на старика, помогали ему, кормили, никогда не обижали — и нате вам, нехорошо получается. Но мудрая тетка Полина все поставила на место. Назвав товарищей по работе своими именами, она, как утверждают, впервые в жизни разревалась, потом закурила «Беломор» и сказала, как отрезала: «Человек, можно сказать, полжизни на нашем кладбище прожил, так неужели ему нельзя хоть после смерти поменять место жительства...»

Сколько времени с тех пор прошло, а я не могу забыть его мягкое, напевное: «Скажите, вам не нужна молитва?» И мое стыдливое, еле слышное: «Нет, спасибо, не нужна». Во что же они верили, мои родители? Что даже в самые беспросветные минуты давало им силы? Правы они или нет — не знаю, но они верили в жизнь. Они исповедовали ЖИЗНЬ как великую награду, как отпущенную им милость. Все хорошее — подарок, требующий удивления и благодарности. Все горькое — неизбежное испытание, которое не разрушало, а лишь укрепляло их веру. Именно потому, что на собственном опыте слишком хорошо знали, как много горя в жизни, как вообще трудно жить — именно поэтому они так радовались, когда на их улицу, и на ту, что рядом, и на ту, что совсем далеко, приходил праздник. «В жизни всегда есть место празднику!» — повторял до самого последнего дня отец, и находил это место, и располагался в нем, затягивая в круг праздника всех, кого только можно было затянуть. С детства мы пели вместе с ним: «Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг... Ты мой друг и я твой друг...» И когда он шел после работы домой — веселый, упрямый, грудь вперед, голова назад, всегда с покупками, с цветами, с новостями — создавалось такое впечатление, что в нашем переулке слишком низкое небо, а мостовая слишком узка для его размашистого шага. Вся наша дворовая команда бежала ему навстречу. А он искал глазами меня — толстую, неповоротливую, которая всегда подбегала к нему последней. Но как же я была горда, что у меня такой отец, и как он был счастлив, что он мне нравится! И как я была посрамлена в своем неверии в его жизнестойкость, в упрямую, всем чертям назло, прямому спины и, главное, в любовь к нам, его женщинам, к которым он, после нашей долгой разлуки, не мог вернуться поверженным и униженным. Только глаза, когда вернулся, были не его — в них, теперь уже навсегда, затаилась печаль. И как бы он потом ни смеялся, а смеяться он умел, как бы ни радовался моим первым статьям, моему сыну, которого любил с такой же неистовостью и безмерностью, как и всех, кого любил, — печаль осталась.

В то утро, когда его увели от нас и казалось, что жить дальше будет невозможно, нас спасла мама. Не говоря ни слова, она достала из шкафа нарядный (для театра) шерстяной костюм, белую накрахмаленную вставочку — какие носили за неимением материала на целую блузку, — долго, с особой тщательностью одевалась, долго, дольше обычного, пудрилась, мазала губы, приглаживала и без того гладкие волосы... А я, девочка, смотрела на нее с неподдельным ужасом: как она может, ведь нет нашего папы, нашего Пипина, а она... мажется, пудрится... собирается, словно на бал. Она собиралась в школу, на урок, куда никогда не опаздывала. Не опоздала и на сей раз, хотя я не отпускала ее. Сквозь слезы я кричала: «Как ты можешь?!» Она отстранила меня: «Не могу... но смогу. И так будет всегда, иначе мы пропадем». И так было всегда. И мы не пропали. Она верила, что настанет такой день, когда мы опять будем вместе и будем жить дальше. И этот день наступил — мы жили дальше, но как же страшно, что он не бесконечен, что у него есть свой обязательный предел. Как же рано он наступил. Как быстро я их потеряла.

...Они и умерли, как жили. Отец — на пороге праздника, мама — не успев через него переступить.

...В тот вечер папа ввалился в дом с подарками — через несколько часов они должны были уезжать с мамой к родным в Киев. Была весна, канун Первомайских праздников, на Крещатике уже цвели каштаны, а в бывшем купеческом саду начинал играть симфонический оркестр...

Потом мы обнаружили на шкафу подтаявшие конфеты, коробки с тортами из кондитерской в Столешниковом... Но его уже с нами не было.

Прошло семь лет. Опять весна.

Вечером пришли гости — как часто, неожиданные и, как всегда, желанные. Уже все разошлись, а мы с мамой и люби-

мой с детства подругой до поздней ночи сидели на кухне. Обычно сдержанная, мама говорила, не останавливаясь, как будто боялась что-то забыть, что-то не оставить нам из своего прошлого. Я до сих пор помню ее молодой в ту, последнюю, ночь жизни голос, ее смех, ее иронически-грустное: «Девочки, неужели я так никогда не увижу Париж?», ее застенчиво-мечтательное: «На наших вечеринках в Киеве Нейгауз всегда играл Шопена... Я была ученицей Нейгауза, ну, вы знаете, и, конечно, влюблена в него, а он был влюблен во всех... ну и в меня... немного. А Пастернак читал стихи и тоже обязательно был в кого-то влюблен... Мы были такие счастливые, а время было таким трудным... Может, дело в климате? В Киеве тепло, а у вас здесь... всегда холодно...»

Здесь — это в Москве. Она прожила в Москве сорок лет, да так и не согрелась, а я так и не смогла купить ей шубу.

На следующий день ее не стало. Они не оставили после себя ни рукописей, ни изобретений. Разве что мамыны планы уроков да сценарии школьных вечеров, посвященных Шиллеру и Гейне. От папы остались две школьные тетрадки в клеточку, датированные пятьдесят первым — пятьдесят вторым годами, исписанные до корочки обложки чужими, любимыми стихами (записывал по памяти), и ни одной своей строчки, ни одного свидетельства своей жизни — только чужой. И еще справочники по неведомому мне деревообрабатывающему оборудованию — он всегда писал их по ночам. Справочники были для служебного пользования, но, когда они выходили, отец с удовольствием дарил их друзьям, превращая и этот день в очередной повод для праздника. На одном таком справочнике он написал мне: «Моей дочке — мой скромный труд, в котором она ничего не поймет. Но ведь ТРУД».

Они ушли из жизни в разные годы, но в одном возрасте. Когда их хоронили, прохожие спрашивали: «Кто умер-то, уж больно народу много?»

Кто умер? Нет, кто жил?

Я не люблю приходить на кладбище в воскресенье. В воскресенье и в праздничные дни. Боюсь толпы, ее демонстративного здоровья, ее показательной непричастности к смерти. Я прихожу на кладбище в будни.

...Была глубокая осень, шел колочий дождь, народу на кладбище совсем не было, Недалеко кто-то закашлял, я вздрогнула и поняла, что сижу давно, что скоро стемнеет — пора уходить... Ну вот, Лазарь... Простите, я так и не узнала вашего отчества, вот вам моя молитва. Вы бы, наверное, сказали: «Дай вам бог!» А я бы, наверное, ответила: «Я постараюсь...»

1984 год



Натан
ЗЛОТНИКОВ

Письма

Кому мои письма, где сумрачно слово, нелюбиво?
В них странное время. Но это такое не чтиво.
В них бедные люди, бараки, казармы, больницы,
Все скованы цепью вины, без вины — единицы.
И через ручей, что течет в непробудном овраге,
Проходят солдаты, властители дум и бродяги,
Проходят солдаты, провидцы судьбы и пройдохи,
Проходят солдаты, угарная ругань и вздохи.
Возможно осилить судьбу и стихи из псалтыри,
Возможно проникнуться верой, чью слабость простили,
Но сердце и память уйти не желают из плена,
Где катит ручей, а над ним — словеса, словно пена.
И письма мои опускаются, точно в копилку,
На старый манер, под надежную пробку в бутылку,
Плывут в берегах меж пологой землей и крутою.
То светом прозренья оваяны, то слепотою.
Плывут далеко, по случайной воде, безымянно —
Так можно избегнуть презрения, славы, обмана,
И пошлого грима так можно избегнуть, старая,
И тайны, что любит присяжная галантерея.
Жизнь тащит, петляя, бутылку и полем, и садом,
И дышит прозрачной звездой и промышленным смрадом,
И в гиблую тундру выносит из темного леса
Меж двух берегов, столь похожих на Бога и беса.
Как жаль,
что стандартной стеклянной флягой не стану,
Не буду спускаться, как с долгой горы, к океану!..
Он ждет терпеливо, бессмертен и независим,
Он ценит находки, читатель внимательный писем.

В самолете

Отнюдь не по синоптика программе
Открылся меж грозowych туч проем,
И ощутил себя я, словно в храме,
Пред светлым небом, как пред алтарем.
Еще простор от молнии знобило,
Еще не смолк в широких крыльях хруст,
И если не молитва, что же было
То, что шептали разом триста уст.
За чьи же души ангел с сатаною
Дрались всего мгновение тому,
И самолет носило над странною,
Где свет легко перетекает в тьму,
Где бедное мышление атеиста
Не чуждо инквизиторских корней,
Где скоро приземлится новых триста
Надежд, что общей гибели верней.

Чтение стихов

Памяти Б. А. Слуцкого

Сказал он мне: — Будет минута, прочти.
Но, впрочем, стихи не читают почти.

Сказал и ушел, седовлас да сутул,
И с книгою я опустился на стул.

Вначале мне было читать тяжело,
Как в бурю ворочать большое весло.

И волны трясли сединой на чубах,
И соль проступала на горьких зубах.

Я круто взлетал, низвергался в провал,
И с посвистом ветер весло вырывал,

Весло иль страницу — не все ли равно!
Он сдунет половику, оставит зерно.

Зерном этой книги полны закрома,
Греби его вдосталь себе задарма.

Я греб, уставая от пошлых похвал,
Когда без друзей горизонт пустовал.

Я греб, уставая от горьких обид,
Когда был унижен, оболган и бит.

Я греб, словно посуху, в мертвой воде,
Вода была всюду, а я был нигде.

Но книгу возьмешь — и обрящешь пути,
И можно себя потерять и найти.

Книга Бытия

Под крыльями стервятников и пчел
Я книгу заповедную прочел,
И грешная душа зашла в полете,
Увидел то, что видеть не умел
Не оттого, что мал был и несмел, —
Не с умыслом, с бедой одной был плоти.

Как надо было повернуть мозги,
Чтоб в ясный век не увидеть ни зги?
Тьма по российской поползла равнине,
Чумным пожаром мысль ввергая в прах,
Кромешным страхом порождая страх,
И Бог-отец не спрашивал о сыне.

Не дьявол, не интернационал
Сто языков в одну купель согнал,
А крестным наречен был вор в законе,
И зло с тех пор умножилось стократ.
Каким проклятием проклял брата брат,
Не разберешь, как в древнем Вавилоне.

С тех пор звучат похоже смех и плач,
И жертвой может сделаться палач,
Но невозможно поменять им роли.
Я все познал, был всюду и нигде:
В Кремле, в тюрьме, в прикамской слободе —
И всюду сахар был мне горше соли.

Я только искра из того костра,
Где смерть была роднее, чем сестра,
Она со мной не вынесет разлуки,
Со мной и с той уральскою избой,
Где что ни поселенец, то изгой,
И род его клеймен, сыны и внуки.

Как букровка, живу среди страниц,
Я нужен, чтоб запомнить много лиц,
Молва о них молчит тысячеусто, —
Мечтатели, строители, врачи,
Громилы, вертухаи, стукачи...
Их свято место долго ль будет пусто?

И чтобы не забыть про гнет и срам,
В стране моей построят люди храм,
Как только выпадет удобный случай,
Я там уже не буду никогда,
Где полумесяц, крест или звезда
Над алтарем из проволоки колючей.

Пастораль

Играет пастушке пастух на свирели,
Обоих волнуют сердечные ноты.
Сейчас они, видно, уже постарели,
И их обступили иные заботы.
Поблекла эмаль на саксонском фарфоре,
Но время отнюдь не разбавило цену
Бараку, где я на стене в коридоре
Впервые увидел красивую сцену.
Тарелка висела, как будто картина,
Наивный рисунок раздвинули щели
С подтеками клея, но мне пофартило:
Не тресни тарелка — ее бы проели.
Ее обменяли бы наши старухи
На ложку густого дегтярного мыла,
На краешек жмыха, на горсть затирухи,
На круг молока, что водою размыло.
Когда я выучивал правила речи
И с камского берега прыгал на льдины,
В уютной Саксонии строились печи
Не только для обжига редкостной глины.
Поэтому нынче, листая блокноты,
Где много писали, но больше стирали,
Всем сердцем приемлю сердечные ноты,
Однако терпеть не могу пасторали.

Николай Глазков в Якутии

В дом звали и стелили на ночь.
И холод становился вял
В местах, где Николай Иваныч
Веселым шагом тундру мял.
Бывало, что дойти не мог он,
Как ложку донести ко рту,
Но ждали, говорят, у окон,
Когда и ждать неумоготу.
С такою силой уставал он,
Что замертво валился с ног,
И тысячи вокруг навалом
Валялись заповедных строк.
С такою силою умел он
Кайлить, слесарить, брать улов,
Что школьники писали мелом
То, что ронял он между слов.
О камень ударял кресало,
Купался до морозных дней.
Сверкая, борода свисала,
И льдинки звякали на ней.
Однако кое-что он значил
И для меня, и для других,
Пока бродяжил и чудачил
В стране алмазов дорогих.
И что-то было в нем от кедра,
Что служит людям задарма,
От света, спрятанного в недра,
Что мы транжирим без ума.

☆☆☆

Ну вот и жизни близится итог,
А все хочу еще, еще глоток
Отравы этой приворотной, стылой.
Взор светится, но истина темна,
На дне времен сокрыты имена,
Нет сил узнать, — они владеют силой.

Кавказских рек холодный кипяток
Свергается на Запад и Восток,
Как будто нету Севера и Юга,
Я пел на круче, а внизу замолк
И откровенье запер на замок
Не от гордыни пошлой — от испуга.

Всю тяжесть воли собственным горбом
Познал, куда был ее рабом.
О как привычно расставаться с нею
В стране, где долю ищут наугад,
А вороги несут и мор, и глад,
И все ж таки свои куда страшнее.

Прогулка по бульварам

За мелкой сетью старческих морщин,
Скрывающей и женщин, и мужчин,
Прекрасные угадываю лица,
А рядом — морды монстров, крысий мох,
Змеиных жал густой чертополох,
Здесь была, и я пред нею — небылица.

Какая все же для души тоска
Знать, что из вечной глины и песка
Бог неустанно лепит то и это,
Чтоб развести потом на полюса,
Которые разделит полоса,
И в этой полосе все части света.

Одни от романтических берегов
Шагнут сквозь девять каторжных кругов
И на свои опять вернуться круги.
Их горсть... Но с ними, словно тьма из тьмы,
Служаки Соловков и Кольмы
Вернулись все. О вороги, о други!

Суворовский пройду, Тверской, Страстной...
Какие страсти стались со страной,
Больной по обе стороны закона,
Где будущее с прошлым заодно!..
Но кто-то сеет доброе зерно,
А кто-то, в ту же почву, — зуб дракона.

Не различить, кто люди, кто конвой.
Лишь небеса шуршат сухой листвою,
Где свет и тьму не примирит соседство
И даже старость, что течет пока
Все ж медленнее, чем течет река,
И, словно в океан, впадает в детство.

У дома Булгакова

То, что гонимо, лишь то и даримо, —
Сердце болит на Андреевском спуске, —
Можно утешиться: зря ли этрусски
Строили прочный фундамент для Рима?

Зря ли апостолы греческой драмы
Службу вели, как по лезвию бритвы?
Новые к новому богу молитвы
Вверх вознесли не христианские храмы.

Но почему-то чем дальше, тем ближе
Грозная эта судьба, это имя,
Так позабытые между своими,
Что меж чужими и вспомнить бесстыже.

Трудно привыкнуть и к жизни, и к хлебу,
Дело привычки всегда не в порядке,
Трудно идти по казенной брусчатке,
Что поднялась пусть не к правде, но к небу.

Трудно воскреснуть, чтоб без вести сгинуть,
Зрячей душой опираясь на прозу;
Вот и идешь, как над бездной по тросу, —
Боязно, хочется руки раскинуть...

Воздушный замок

Где Млечный Путь течет
Без выбоин и ямок,
Где звезд наперечет,
Воздушный виден замок.
Построен на песке,
Что выброшен из ада,
Стоит он вдалеке,
На расстоянье взгляда
И помнит наизусть
Весь лабиринт сближенья,
В себе тая то грусть,
То свет воображенья.
И служит наобум
За звездной кутерьмою
То местом вольных дум,
То каторжной тюрьмою.

Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Я = R

Раушенберг на Москве-реке?
Раушен брег?
Скорее уж — раушен брейк!

Художник, одетый в алую кожаную куртку, приехал в нашу Третьяковку, на Крымский мост, с гигантской выставкой. Он привез в контейнерах не только свои шедевры, но и стены с собой привез, чтобы эти шедевры развесить, и 90 галлонов белил, и осветительную арматуру, все — до гвоздей, привез и рабочих с собой, не доверяя местным умельцам. Раушенберг пишет не на холстах, он пишет на шинах и грузовиках, пишет ящиками и рентгенопленками. Он кочует со своей передвижной выставкой по миру: То-кио → Москва → Западный Берлин → и далее везде.

А мы-то горевали, что забываются классические традиции передвижников.

Пора уже.

Джон Кэйдж, классик музыкального авангарда и старший друг нашего художника, писал о его «белой живописи» 1951 года: «Белые живописи его были подобны аэропортам для светов, теней и частиц». Антиэхо черных квадратов Малевича, они напоминали, вероятно, композитору его знаменитое произведение для фортепьяно «Молчание», когда пианист сидит за роялем без движения, не производя ни звука, в течение 4 мин. 12 сек. Потом зрители высказываются, выражая свои ощущения от этой беззвучной игры, свою интерпретацию молчания. Блистательным, страстным исполнителем этого произведения Кэйджа был наш виртуоз Алексей Любимов.

«Тишина — ты лучше
из того, что слышал...» —

как писал русский лирик, а в конце жизни подытожил: «И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг...»

В своей литографии 1968 года, названной «Автобиография», где текст расположен по дактилоскопическим линиям, Роберт Раушенберг пишет, сокращая гласные: «Бл живописи (по-английски «Wht paintings») являлись открытой композицией, которая откликнулась на действие, не касаясь его».

Нарушен врмн бег?
бег в наушниках?

Что за музыку слышим мы, пробегая пространствами зала? Символично, что эта первая у нас выставка Раушенберга расположилась в новой Третьяковке через стену, плечом к плечу с первой в Москве ретроспективой Казимира Малевича. Малевича Раушенберг боготворит. Кандинского, понятно, недолюбливает. Подобно Малевичу, он предпочитает в композициях квадрат, параллелепипед, куб, доминируют вертикали и горизонталы. Он не уважает канальную диагональ.

Мы счастливы сегодня в своем несчастье. Годы запретов подарили нам уникальность спрессованного века. Наш зритель одновременно открывает для себя и первую выставку Сальвадора Дали, и первую выставку Шагала, и первую выставку Бэкона, и первую выставку Филонова, и явления

иного плана — первую выставку полного Нестерова, и первую — Корина, и первую выставку Малевича, и первую — Раушенберга. Весь не открытый многими XX век спрессовался за два каких-то года. Ведь и Бог создавал мир не эволюционным путем, а сразу, за семь дней. И нам привалило такое же везение.

Поп-арт — современник супрематистов.

Лажа на шарнирах? Параша, брех? Порошок «Шик-блеск»?

Скакалка, раскрашенный игрушечный Конь Блед?

После смерти Сальвадора Дали Раушенберг, пожалуй, крупнейшая фигура мирового визуального искусства. (Хоть он не испытывает пietetа к испанскому сюрреалисту.)

Родился он 22 октября 1925 года. Был назван Милтоном, но в Канзасском художественном институте переименовал себя в Роберта. В нем смешана кровь немцев, шведов и индейцев племени чероки. Великий шестидесятник, вечный дитя-проказник, Р. Р. вместе с артистичным Джаспером Джонсом и соломенноволосяным снобом, панически-застенчивым Энди Уорхолом явился создателем поп-арта, первого чисто американского мощного прорыва в мировое искусство. (И Поллак, и весь абстракционистский взрыв, являясь американскими, все же имели европейские корни.) Иронический бунтарь, Разин + Брехт?

Одетый в алые и изумрудные куртки, Р. Р. сам является живым и всегда неожиданным экспонатом выставки. 10 тысяч москвичей посетили его в первый день.

Особенно много на выставку приходит молодых художников. Кто восторгается, кто недоумевает. Москвичи разглядывают тотемы бунтарских 60-х годов — похотливого и священного ангорского козла («Козлы-ы-ы!.. — слышится в наушниках голос другого Боба — Гребенщикова), продетого в тугую автомобильную шину, ставшего чувственной иронической эмблемой. Муляж орла. Над композицией «Одалиска», над кубом, оклеенным титаническими «ню», репродукциями обнаженных красавиц Гойи, Мане, Энгра, Матисса (как клеят телок на щитки автомашин) с гаремным апломбом стоит натуральный петух — топчет дамочек отважный кукарек! Все это столбом вмято в восточную подушку. Плотское и машинное связала воля Раушенберга.

Рашипиль и белка?

Шаровая «молния», вышитая в ширинку?

Наш народ толпится перед композицией «Звукоизмерения». В полутьме пространства парят пустые отброшенные стулья, некоторые перевернуты. Стулья снабжены электронной, которая вибрирует звуком, когда посетитель подходит. Понют тоскливо пустые стулья — может быть, это симфония наших освобожденных бюрократов? Несколько миллионов пустых стульчиков добавить бы в эту композицию!

Ура разоружению шеренг!

Свидетели самых больших в мире гидроэлектростанций и транзисторов глядят на самые большие в мире автолитографии — в полстены! — вдохновенные поездкой художника по нашей стране. На одной из них славянская «Я» на номере ярославской автомашины кажется перевернутым «R» его инициалов. Все его вещи ищут подобия в мире, все метафоричны. Восхищенно копирует он цвета ташкентских халатов. В литографиях он — бог, такой авторской печати не знала еще мировая практика.

Свои самые первые литографии Боб создал в мастерской Татьяны Гроссман, в Лонг-Айленде. Есть такая одноэтажная студия — белый домик на берегу океана. Там русская хозяйка увлекла его, а потом и Джаспера Джонса нежным итальянским печатным камнем. Ей посвящен каталог московской выставки. С портрета глядит на давно не виданную ею Россию прозрачная, как водяной знак, женщина с тонкими губами. Печать портрета выпуклая. Портрет создан к пятнадцатилетию ее студии и издательства в 1974 году. В нем опять видна близость художника к Леонардо.

Т. Гроссман родилась в России, эмигрировала в 20-х годах. Когда Гитлер занял Европу, она из Франции, через Испанию, перебралась в Штаты. Муж ее что-то изобрел, разбогател, и все свое состояние Таня, как все звали ее, вложила



Звездные четверти. Шелкография на зеркале.

По залам выставки
Роберта РАУШЕНБЕРГА (США)
РОСИ* в Москве.
Центральный Дом художника. Февраль 1989 г.

*РОСИ — Программа зарубежных культурных обменов Р. Раушенберга.



Парк рыб. (РОКИ — Япония) 1984 г.
Коллаж. Ткань на холсте с шелкографией.



Цветная
репродукционная
съемка
и репортаж с выставки
Вадима Некрасова.



Сервис. (РОКИ — Мексика) 1985 г.
Шелкография на холсте.



в эксклюзивное издательство. Она принадлежала к породе русских муз, повлиявших на мировое искусство. С тишайшим фанатизмом она произвела маленькую революцию: ее уникальные отпечатки, книги, изданные ею, расхватались галереями и музеями мира, ими упивались снобы — автолитография вошла в моду.

Невесомая, как тень, Таня подошла ко мне после того, как я читал стихи в салоне Татьяны Яковлевой, ныне Либерман по мужу, известному художнику и скульптору, уставившему Чикаго и другие города гигантскими композициями из алых труб. Имение Либерманов расположено рядом с усадьбами Колдера, Артура Миллера, Стайронов. Потом в соавторстве с Алексом Либерманом мы сотворили в Танином издательстве метровую по формату книгу-стихотворение «Ностальгия по настоящему» в металлической обложке. Книгу-великаншу раскупили музеи и коллекционеры.

Так вот, Таня с ее деликатной магией уговорила меня самому заняться литографией. В тот год я в течение месяца находился в Смиссониевском институте в Вашингтоне. Я работал над темой «Эзра Паунд, Т. С. Элиот в сравнении с Пастернаком и Мандельштамом». По условиям приглашения всю рабочую неделю надо было проводить в кабинете института и библиотеке. Но на свободные уик-энды я летал в Лонг-Айленд, где увлекся литографией.

На том же станке, рисуя на той же неподъемной извешивающей плите, что и Раушенберг, я проделал его каторжный путь. Как трудно наносить рисунок, где левое становится правым, где все наоборот и надо проверять себя в зеркало.

Как нежно проступают оттиски на рисовой бумаге! Печатаю свой плакат о бедствии в Гайане, я оттиснул на камне клочок «Нью-Йорк таймс» с моими стихами об этой трагедии. Техника печати была столь высока, что отпечаталась прозрачность газетной страницы с проступающим шрифтом обратной полосы.

Тогда же я написал элегию «Автолитография», которую напечатал в «Юности», и, таким образом, имя Раушенберга было впервые названо в нашей прессе в неругательном контексте.

На обратной стороне Земли, как предполагают, в год Змеи, в частной типографии в Лонг-Айленде у хозяйки домика и рифа я печатал автолитографии за станком, с семя и до семя. После нанесенья изошриффа два немногословные Сизифа — вечности джипсовые связисты — уносили трехпудовый камень. Амен.

Спал я на раскладушке в мастерской, где, наверное, почивал в свое время и сам RR. Обогнув планету, из нашего полушария в окошки выплывала луна. Вечерами в гостиниой зажигали настольные лампы, переделанные из керосиновых. Гостей потчевали наливками по царским еще рецептам.

Бабушкин шербет?

Прилетел я каждую субботу. В итальянском литографском камне я врезал шрифтом наоборотно «Аз» и «Гвердь», как принято веками, верность контролируя в зеркало. «Тьма-тьма-тьма» — врезал я по овалу, «тьматьматьма» — пока не проступала «тьматьматьма» — жизнь обрела речь. После оттиска оригинала (чтобы уникальность уберечь) два Сизифа, следуя тарифу, разбивали литографский камень. Амен.

Думал ли я тогда, измотанный работой и счастьем создания, что через год, когда мой философский круг будет опубликован в альманахе «Метрополь», наши полуграматные инквизиторы Союза писателей, гогоча, будут допытываться до тайной политической крамолы в этих словопревращениях? Один мыслитель допер до многоэтажной матерщины, другой додумался, будто смысл в том, что «Родина-мать есть... тьма».

Этим заклятием «тьматьматьма» — разумом жизни — начался спектакль в Театре на Таганке «Берегите ваши лица», который был запрещен после трех представлений. Увы, тьма тогда победила.

Но вернемся в мастерскую 1977 года.

Ээйягёя я эоелтвэрпто эж отР
лннлвпН ен оятэтэд ,врфюу анТ
йннлвплпн вьдйгү веннёт
..?эявенэоТ рофү жей вьнндоа
?эним оя эоелтвэрпто эж отР
?отвеноТ мьрфюа лтвэ эадоп.лэтэР
?эявен эоелтвэрпто эж отР

(Я попросил редакцию перевернуть набор, чтобы читатель почувствовал себя в моем перевернутом мире тех дней.)

Однажды, когда я трудился у станка, некто с острыми ироническими скулами встал у притолоки и, потягивая виски из цилиндрического сосуда, долго стоял, прислонившись к плечу Джин Стайн,стройной летописи авангарда. Они следили, как русский вкальвает. Я нервничал. Потом вдруг я понял, что это и есть великий RR.

Ни одно- и ни многоэтажным я туристом не был. Я работал. Боб Раушенберг, отец поп-арта, на плечах с живой лисой захаживал, утопая в алом зоопарке. Я работал. Солнце заходило. Я мешал оранжевой в белила. Автолитографии теплели.

В соавторстве с ним родилось 6 работ. Они составляют стенку на московской выставке. Вот, например, как RR решает четверостишие:

Разве мыслимо было подумать,
что в Нью-Йорке, как некогда встарь,
разметавшись, уснем на подушке
словно русско-английский словарь.

Он смонтировал диванную расцветку с питонными разводами змея-соблазнителья, может быть, опять предвидя змеиный год. И рядом — белый эмигрирующий полет.

«Зачинайся, русский бред», — обронил классический поэт.

Рашен бред?

Прилетел он в Россию, взяв в чемодане русскую ушанку, которую одолжила ему Джин Стайн, но, увы, дороги наши развезло, в феврале шпарило солнце — художнику так и не удалось пофорсить в русских мехах.

Индийское чувство дружбы и верности неистребимо в нем. Когда в так называемые застойные годы мне было худо, когда меня сильно прижали, вдруг сквозь мировые хрипы и помехи голос Роберта Раушенберга наивно прокричал мне по радио «Голос Америки»: «Андрей, как ты, что с тобой? Нам не хватает тебя, мы о тебе думаем!» Это не помогло, но поддержало.

Аллен Гинсберг, так же наивно надеясь, тогда ходил по Нью-Йорку с плакатом на демонстрацию в мою защиту, в знак солидарности с другом-поэтом.

Так же наивно надеясь, Аллен Гинсберг ходил с плакатом к нашей миссии.

И вот кто бы мог подумать, что через немного лет у нас откроется гигантская ретроспектива RR, бунтаря, «хулигана», шарлатана, облапошивающего наивные массы миллионов путем скандалов, «шута капитализма», как характер-

зовали его у нас раньше, и «выдающегося мастера мирового искусства», как характеризуют ныне. Тысячи москвичей, размышляя над его работами, становятся как бы соавторами его. Раньше я один из нашей страны был его соавтором, теперь — тысячи.

Этой весной у нас в Москве Фонд Раушенберга открывает мастерскую-типографию, где наши молодые художники будут осваивать высокую печать на подаренных им станках. Это радовалась бы Таня Гроссман!..

Что же отпечатает прибор?
Ритм веков и порванный «Плеббой»?
Что заговорит в Раушенберге?
«Вещь да шипы и ракушек пеня?»
Не понять Америки с визитом
праздным рифмоидам назиданья,
лишь поймет сообщник созданный,
с кем преломит бутерброд с визитом
вечности усталые Сизифы,
когда в руки вьется общий камень.
Амен.

Мы пытаемся понять душу Америки, но как понять ее без Раушенберга?

Еще Шпенглер противопоставлял Культуру цивилизации. Николай Бердяев писал в книге «Смысл истории»: «В быстрое, все ускоряющееся темпе цивилизации нет настоящего и будущего, нет выхода к вечности... Культура же пыталась созерцать вечность. Это ускорение, эта исключительная устремленность к будущему созданы машиной и техникой. Жизнь организма более медлительна, темп не столь стремительный... Цивилизация есть подмена целей жизни средствами жизни, орудиями жизни».

RR пытается создать Культуру продуктами цивилизации. Повторяю, он пишет асфальтом, бейсбольными мячами, газетами. Я бы создал сейчас кастрюлю из газетных полос — так информация проникла у нас в быт, в кухни и столовые. RR идет не только от Марселя Дюшана, но и от Леонардо. Как бы символом естественного организма, биологического развития он выбрал черепаху. В его доме вместо экономки живет живая черепаха. Она помогает художнику по хозяйству. Серебряная брошка черепашки поблескивает в петличках поклонников художника — она стала эмблемой выставки. На плакатах его мировой программы, Р. О. К. И., черепаха тащит ползющего шара вместо панциря.

«Как предполагают, в год Змеи...» — предполагал ли я, написав так в 1977 году, что нынешний год Змеи, 1989-й, принесет нам ретроспективу Роберта Раушенберга в Третьяковке?

Голова Змеи нашего года удивительно напоминает голову его смысленной черепахи.

Черепашка — герб?

Аверинцев недавно напомнил нам, что в богословской традиции есть два пути познания Бога — путь утверждения, когда к Богу восходят от вещей, и путь отрицания, когда восходят через отключение всех признаков вещей.

Раушенберг познает Бога через предметы времени.

Безумный радио-век.

Говард НЕМЕРОВ

«КОГДА ХОДИШЬ ПЕШКОМ...»



В январе этого года Говард Немеров, лауреат самых престижных премий США — Пулицеровской, Национальной, Боллингенской, приехал в нашу страну по приглашению посла Соединенных Штатов Америки в СССР Джека Мэтлока.

Семь лет назад на обложке декабрьского номера журнала «Америка» был помещен портрет немолодого, коротко стриженного человека с запоминающимся иронично-лукавым взглядом. Под фотографией подпись: «Говард Немеров — настоящий писатель». К сожалению, для советского читателя многие книги Немерова пока так и остались неизвестными. Его стихи, проза, эссе, за исключением романа «Матч на своем поле» (1974 г.), на русский язык не переводились.

Свой первый день в Москве семидесятилетний писатель начал с осмотра города, а затем посетил наш журнал. В первые минуты общения мы пытались понять, что интересно гостю, о чем ему хотелось бы узнать. Почувствовав нашу озабоченность, Говард Немеров растерянно улыбнулся и, пожимая плечами, заметил:

— Мне, право, неловко, что я такой нелюбопытный, но я поэт, поэтому предпочитаю больше думать, осмысливать, чем говорить. Если хотите, могу почитать стихи, например, одно из моих любимых, посвященное картине Рене Магритта. Там на подрамнике изображено разбитое стекло, разделяющее реальный мир — скромный сельский пейзаж — с отраженным в осколках тем же пейзажем, но уже измененным нашим воображением.

И тут... мы раскрыли перед гостем первую страницу обложки двенадцатого номера «Юности» с репродукцией той самой картины, о которой рассказывал Говард. Именно это случайное совпадение стало поводом для дружеского разговора о журнале, его истории, редакторских заботах — Немеров был когда-то редактором сатирического журнала «Фурриозо». Кто-то задал вопрос:

— Правда ли, что поэты творят богов?

— Возможно, так, хотя я всегда думал иначе. — Из этого ответа стало ясно, что американский писатель привык уважать иное мнение и не навязывать свое.

Раньше Немеров никогда не был в России, но опыт его молодости частично совпал с опытом наших поэтов-фронтовиков: университетское образование в Гарварде и прямо со студенческой скамьи — фронт, участие в союзнических войсках, полеты на истребителе, освобождение Европы, воинская служба в Канаде. Но стихи о войне не стали основой творчества. Поиски веры, гармонии, сомнения в разумно-

сти существующего мира, то есть все извечные вопросы бытия, делают его поэзией близкой нам. Об эссе и критических работах Говарда Немерова американцы, любящие своего писателя, говорят, что это крайне любопытно, поскольку ирония, свойственная Говарду, в сочетании с его философскими изысканиями позволяет с интересом читать исследования даже неспециалистам.

Около двадцати лет Говард Немеров преподает в университете имени Вашингтона в городе Сент-Луисе. Профессорское звание в авторитетном учебном заведении не сделало писателя чопорным. По утрам поэт буднично шагает в университет. «Когда ходишь пешком, хорошо слагаются стихи, поэтому они и делятся на стопы». И еще одна подробность из биографии Немерова. В свое время он был консультантом в Библиотеке Конгресса. В этой должности могут состоять только известные писатели. Он член Академии литературы и искусств, в которую входит всего 50 человек — художников, писателей, композиторов, чьи произведения, по мнению американцев, останутся в их культуре.

Университетская кафедра, участие в различных литературных жюри объясняют, наверное, особенность характера Говарда Немерова: не спешить с выводами, говорить скупой, иногда довольно парадоксально. Впрочем, судите сами.

— *Какое происхождение вашей фамилии?*

— По отцовской линии я русский, мои предки из Новгорода. Других подробностей я не знаю.

— *Интересовались ли вы раньше русской культурой?*

— Я читал Достоевского, Льва Толстого, Горького. Ахматова произвела на меня большое впечатление. А вот поэзия Мандельштама — нет, может быть, из-за плохого перевода, но об этом мне трудно судить.

— *Как вы относитесь к экспериментальной поэзии?*

— Я не уверен в том, что поэзия может быть экспериментальной. В известном смысле любой поэт делает эксперимент, ему важно свои мысли облечь в определенную форму. Блейк говорил: «Когда вы смотрите на корову, вы думаете о форме или о содержании?»

— *В «Книге беллетриста», куда вы записывали фразы из незаконченного романа, есть слова: «Проза — это супружество; поэзия — супружеская измена». Чему вы сейчас отдаете предпочтение?*

— Я решил больше не писать романов, а когда не пишу стихи, пишу эссе, или ничего не пишу, что также является хорошим времяпрепровождением.

— *Как вы относитесь к своей популярности?*

— Популярности у нас нет в нашем понимании. Откуда ей взяться при тираже в восемьсот экземпляров? Потом о славе, как правило, думают молодые.

— *И все же вы лауреат многих почетных премий. Не сказывается ли известность на том, что вас приглашают преподавать?*

— Думаю, меня приглашают как хорошего лектора. Если бы я сосредоточился только на поэзии, я не смог бы написать ни строки.

— *То есть речь идет о материальных возможностях или об интеллектуальном самочувствии?*

— Один американский журнал задал мне вопрос: чему вы обязаны своим успехом? Я ответил: «Твердому заработку и моей жене». В Америке нельзя жить только на гонорар, но вполне сносно можно жить, болтая о стихах.

— *У вас есть ученики?*

— Когда мне задают этот вопрос, я удивляюсь, поскольку всегда считал, что у меня нет стиля. Меня невозможно имитировать. Хотя я стараюсь, чтобы был стиль, и еще — стремлюсь к простоте и ясности.

— *Хочу привести пушкинское выражение, часто цитируемое у нас: Поэзия должна быть глуповата.*

— Да, думаю, нам совсем несложно следовать этой заповеди.

— *Вы интересуетесь современностью? Принимаете участие в политической жизни страны?*

— Ни в коем случае. Я — поэт. Фома Кемпийский благодарил Святого Духа за то, что тот освободил его от необходимости иметь политическое мнение. Я следую за Фомой Кемпийским.

— *И последний вопрос...*

— Догадываюсь. Хочу пожелать молодым читателям «Юности» поскорее стать взрослыми. А если они найдут возможным задержаться на моих стихах, буду очень рад.

Что же, давайте обратимся к стихам, прочитанным у нас в редакции.

Анна ПУГАЧ.

Двойная реальность

В мотеле, где приказано мне ждать,
окно закрыл телеэкран.

Заметьте,
любой живущий, на каком он свете
живет, предпочитает понимать,
не то что я, съезжающий, как пьяный,
то в законный мир, то в заэкранный.

Сквозь этот снег идущий по шоссе
заснеженные мчат автомобили,
а мимо те же знаки, те же мили
мелькают на экранной полосе.
Так сон и явь нерасторжимо слиты,
но разве что на полотне Магритта.

Магритт, клише с клише, простой пейзаж,
стоящий на подрамнике, но стоит
вглядеться, как он сам в себе откроет
второй, точь-в-точь такой же, как мираж,
с ума сводящий. И уже мы знаем:
мир самого творца необитаем.

В мир этот, в эту комнату попав,
я взад-вперед хожу, заснуть не в силах.
Стемнело. Ток струится в тележиллах,
неся с собой свет фар и странный сплав
любви и злобы, чему я свидетель
в мотеле, где я жду и жду, замечьте.

На похоронах

Свеча, распятие, черная портьера,
Улыбка Будды, шутки дзена, святцы,
Звон погребальный, пенье из притвора,
Цветы, молитва, траур и сати¹,
И Воскресение, и свет Фавора,
Все это можно к одному свести:
У гроба ручки есть, у нас есть вера —
Да, слава Богу, есть за что держаться.

Американской писательской ассоциации «Кровоточащие сердца»

Как стать писателем? Дают совет:
«Страданий чашу надо пить до дна».
Я убедился через двадцать лет,
Что этому совету грош цена.

Теперь все пишут, и в любом дому
Страдают так, что потеряли сон,
И все таланты сводятся к тому,
Чтоб вздох издать или обречь стон.

Зато реалистичностью берут
(Хотя при этом дурят вновь и вновь):
Героя щедро кetchupом польют
И преспокойно выдадут за кровь.

Мне ближе и понятней тот, кто мог
О наших бедах не трубить окрест,
А намекает как бы между строк:
Нет лучше композиции, чем крест.

Сложный ход

Создатель по наивности своей
Решил, что будет сын его — еврей,
А уж затем на крест отправил Сына,
Чтоб сделать из него христианина.

Все для народа

Зачем красуются на марках короли?
Чтоб подданные им зады лизать могли.

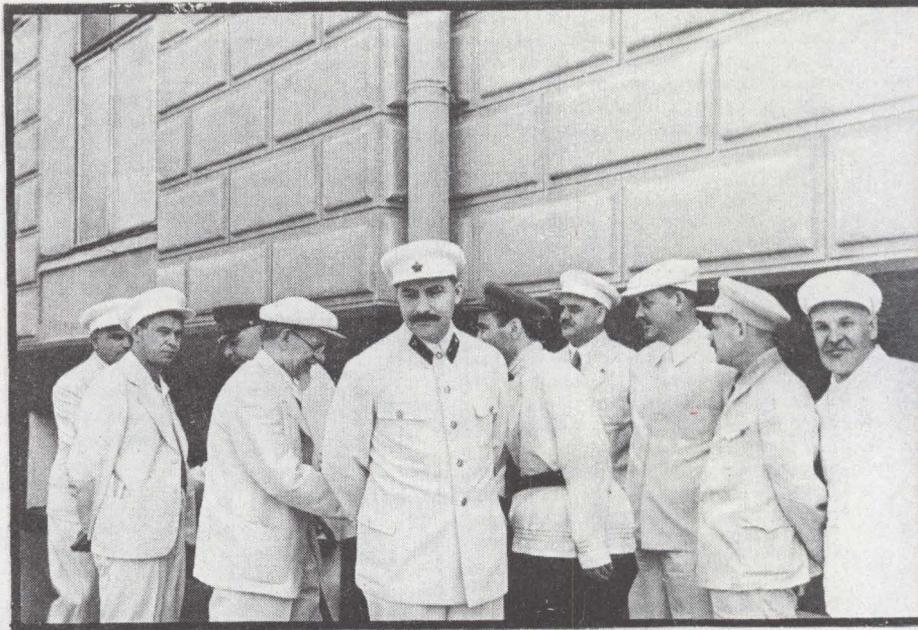
Перевод с английского Сергея Таска.

¹ Существовавший в Индии обычай саможжения вдовы вместе с трупом мужа.

Рой
МЕДВЕДЕВ

ОНИ ОКРУЖАЛИ СТАЛИНА

СУДЬБА
СТАЛИНСКОГО
НАРКОМА
ЛАЗАРЯ
КАГАНОВИЧА



В доме на Фрунзенской набережной

Старый большевик А. Е. Евстафьев, около двадцати лет проведший в тюрьмах и лагерях и вернувшийся в Москву лишь после XX съезда КПСС, должен был посетить друга, живущего на Фрунзенской набережной. По рассеянности он прошел мимо нужного ему подъезда, поднялся на лифте и позвонил в квартиру на том же этаже, что и у друга. Дверь открыл очень старый человек, в нем Евстафьев узнал Лазаря Моисеевича Кагановича, в прошлом «вождя московских большевиков» и всесильного «сталинского наркома», которого он считал прямым виновником своих несчастий. От неожиданности Евстафьев не мог произнести ни слова. Но Каганович не узнал его и, сказав: «Вы, наверное, ошиблись», — закрыл дверь. Рассказывая мне об этом, Евстафьев с удовлетворением заметил: «Каганович исключал меня из партии. Но сейчас я снова член партии, а Лазарь из нее исключен». Человеку, лишенному на двадцать лет свободы и чести, казалось, что справедливость восторжествовала.

Когда-то Каганович обладал не только большой популярностью, но и огромной властью. Московский метрополитен, которым ежедневно пользуются миллионы москвичей и гостей столицы, более двадцати лет носил имя не Ленина, как сегодня, а Кагановича. Во время праздников портреты наркома вместе с портретами других «вождей» несли через Красную площадь, где на трибуне Мавзолея всегда стоял и он сам. Его появление в любой аудитории вызывало овации.

Но теперь мало кто узнает Кагановича. Однажды он вызвал к себе врача из местной поликлиники. Молодая женщина, беседуя с пациентом, несколько раз назвала его «гражданином Казановичем». Это вызвало у последнего вспышку раздражения. «Не Казанович, а Каганович, — сказал он и добавил: — Когда-то мою фамилию хорошо знал весь Советский Союз».

Сейчас Кагановичу больше девяноста лет. Он пережил и свою жену, и приемного сына, и всех братьев. Только его дочь — Майя, которой уже за шестьдесят, почти ежедневно навещает отца, живущего в полном одиночестве. Она преданно ухаживает за этим человеком, на совести которого не меньше преступлений, чем у тех, кого повесили в 1946 году в Нюрнберге по приговору Международного трибунала.

Сапожник-революционер

Лазарь Каганович родился 10(22) ноября 1893 года в деревне Кабаны Киевской губернии. Он происходил из многодетной и бедной еврейской семьи. Бедность заставила Кагановича прервать учебу, и, изучив ремесло сапожника, Лазарь стал с четырнадцати лет работать на обувных фабриках и в сапожных мастерских. Лишенная многих прав, которыми пользовались в России не только русские, но и другие «инопородцы», еврейская молодежь была благодатной средой для революционной агитации. Все оппозиционные партии вербовали здесь своих сторонников: сионисты, бундовцы, анархисты, эсеры, меньшевики. Но молодой Каганович сделал иной выбор — он примкнул в 1911 году к большевикам. Несомненно, здесь сказалось влияние старшего брата Михаила, который вступил в партию большевиков еще в 1905 году. Он тоже был рабочим, но не сапожником, а металлистом. Большевиками стали и двое других братьев Лазаря.

Переезжая с места на место и иногда подвергаясь кратковременным арестам, Каганович по заданию партии создавал нелегальные большевистские кружки и профсоюзы кожевников и сапожников в Киеве, Мелитополе, Екатеринославе

Лето 1938 года. Лазарь Каганович среди соратников.
Фото Павла Трошкина
(из архива Карины Трошкиной-Савельевой).

Фотография взята из журнала «Эпока»,
который использовал личный архив
Светланы Аллилуевой.



Продолжение. Начало см. в № 3 за 1989 год.

и в других городах. Перед революцией он работал на обувной фабрике в Юзовке, возглавляя и здесь нелегальный союз сапожников и кожевников. В Юзовке Каганович познакомился с молодым Н. С. Хрущевым, который еще не вступил в партию большевиков, но участвовал в революционной работе. Эта связь уже не прерывалась и в более поздние годы.

Весной 1917 года Лазаря Кагановича призвали в армию. Он был направлен для военной подготовки в 42-й пехотный полк, расположенный в Саратове. Молодой солдат, у которого были уже семилетний опыт нелегальной партийной работы и хорошие данные оратора и агитатора, занял заметное место в саратовской организации большевиков. От саратовского гарнизона Каганович участвовал во Всероссийском совещании большевистских военных партийных организаций. После возвращения в Саратов Каганович был арестован, но бежал и нелегально перебрался в Гомель в прифронтовую зону. Уже через несколько недель он стал не только председателем местного профсоюза сапожников и кожевников, но и председателем Полесского комитета большевиков. В Гомеле Каганович встретил Октябрьскую революцию. Здесь под его руководством власть без кровопролития перешла в руки Советов. Гомель был тогда небольшим провинциальным городком. Но тут находилась узловая станция в прифронтовой зоне Западного фронта. Контролируя железные дороги Белоруссии, большевики могли препятствовать возможной переброске войск для подавления революционного Петрограда.

На разных постах

Во время революции большевики почти непрерывно переходили с одного поста на другой, часто в самых разных районах огромной России. Так было и с Кагановичем. При выборах в Учредительное собрание он прошел по большевистскому списку. В декабре 1917 года Каганович стал также делегатом 3-го Всероссийского съезда Советов. С этими двумя мандатами он прибыл в Петроград. На съезде Советов Каганович был избран во ВЦИК РСФСР и остался работать в Петрограде. Вместе с другими членами ВЦИК весной 1918 года он перебрался в Москву. Началась гражданская война. Некоторое время Каганович работал комиссаром организационно-агитационного отдела Всероссийской коллегии по организации Рабоче-крестьянской Красной Армии — тогда возникло множество подобных организаций с длинными названиями. Но уже летом 1918 года Каганович был направлен в Нижний Новгород, где очень быстро прошел путь от агитатора губкома до председателя губкома партии и губисполкома. Во время тяжелых осенних боев 1919 года с Деникиным Каганович был командирован на Южный фронт, где участвовал в ликвидации опасных прорывов белогвардейской конницы Мамонтова и Шкуро. После того, как Красная Армия заняла Воронеж, Кагановича назначили председателем губернского ревкома и губисполкома Воронежской губернии. Ленин, вероятно, почти ничего не слышал о Кагановиче. Не сохранилось ни одного письма или записки Ленина с упоминанием его имени. Но Сталин и Молотов уже должны были знать Кагановича, они явно выделяли его из числа местных руководителей. Осенью 1920 года Каганович был направлен по поручению ЦК в Среднюю Азию. Здесь он стал членом Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК, членом бюро ЦК РКП(б) по Туркестану (так называемое «Мусульманское бюро»). Одновременно Каганович был наркомом рабоче-крестьянской инспекции Туркестана, членом Реввоенсовета Туркестанского фронта и председателем Ташкентского горсовета. Он был избран также и в ЦИК РСФСР. Все эти назначения не могли проходить мимо Сталина, который был в это время и наркомом по делам национальностей и наркомом РКП РСФСР.

В центре партийного аппарата

Как только Сталин был избран в апреле 1922 года Генеральным секретарем ЦК РКП(б), он отозвал Кагановича из Средней Азии и поставил его во главе организационно-инструкторского, а вскоре и организационно-распределительного отдела ЦК. Это была одна из самых важных позиций в непрерывно расширявшемся аппарате ЦК. Через отдел, которым руководил Каганович, шли все основные назначения на ответственные посты в РСФСР и СССР.

Сталин был жестким и грубым шефом, который требовал безоговорочного и полного подчинения. Каганович тоже

обладал сильным и властным характером. Но он не вступал в споры со Сталиным и сразу же показал себя абсолютно лояльным работником, готовым к выполнению любого поручения. Сталин сумел оценить эту поклядистость, и Каганович вскоре стал одним из наиболее доверенных людей своеобразного «теневого кабинета», или, как выражаются на Западе, «команды» Сталина, то есть того личного аппарата власти, который Сталин стал формировать внутри ЦК РКП(б) еще до смерти Ленина. Лазарь Каганович быстро обогнал в партийной карьере своего старшего брата Михаила, который в 1922 году был секретарем уездного комитета партии в небольшом городке Выксе, а затем возглавил Нижегородский губернский совнархоз. Лазарь Каганович в 1924 году был избран не только членом ЦК РКП(б), но и секретарем. Новому секретарю ЦК было тогда всего лишь тридцать лет.

Во главе Украины

В развернувшейся после смерти Ленина острой внутрипартийной борьбе Сталину было крайне важно обеспечить себе поддержку Украины — самой крупной после РСФСР союзной республики. По рекомендации Сталина именно Каганович был избран в 1925 году Первым секретарем ЦК КП(б)У. Политическая обстановка на Украине тогда была крайне сложной. Гражданская война закончилась победой большевиков, но среди крестьянского населения республики оставались еще очень сильные пережитки петлюровского и махновского движений, то есть националистические или анархистские настроения. Большевистская партия опиралась главным образом на промышленные районы Украины, где преобладало русское население. Значительную часть кадров партия черпала и среди еврейского населения республики, которое видело в Советской власти гарантию защиты от притеснений и погромов, прокатившихся по еврейским поселкам в годы гражданской войны. Украинская культура не имела достаточной силы, чтобы стать серьезным препятствием для далеко зашедшей русификации. Не менее половины студентов украинских вузов составляла русская и еврейская молодежь.

В национальной политике на Украине были два курса: на «украинизацию», то есть поощрение украинской культуры, языка, школы, выдвижение украинцев в аппарат управления и т. п., и на борьбу с «буржуазным и мелкобуржуазным национализмом». Провести четкую границу между ними, особенно в городах и промышленных центрах, было нелегко, и Каганович явно тяготел ко второму курсу: он был безжалостен ко всему, что казалось ему украинским национализмом. У Кагановича происходили частые конфликты с председателем СНК Украины В. Я. Чубарем. Одним из наиболее активных оппонентов Кагановича был также член ЦК КП(б)У и нарком просвещения Украины А. Я. Шумский, который в 1926 году добился приема у Сталина и настаивал на отзыве Кагановича с Украины. Хотя Сталин и согласился с некоторыми доводами Шумского, но одновременно поддержал Кагановича, направив специальное письмо в украинское Политбюро.

Конечно, Каганович проделал немалую работу по восстановлению и развитию промышленности Украины. Однако в политической и культурной областях его деятельность принесла гораздо больше вреда, чем пользы. Как партийный руководитель Советской Украины Каганович являлся фактическим руководителем и небольшой компартии Западной Украины. Национальная обстановка и настроения среди населения западной части Украины существенно отличались от того, что происходило в ее восточной части. Но Каганович не разобрался в сложных проблемах этой компартии, которой приходилось действовать в условиях подполья на территории бывшего Польского государства. Огульно обвинив ЦК КПЗУ в национализме и даже предательстве, Каганович довел эту партию до раскола и добился ареста некоторых ее руководителей, которые создали свой руководящий центр на территории Советской Украины. Каганович не постеснялся дискредитировать всю КПЗУ. В ноябре 1927 года на одном из заседаний Политбюро ЦК КП(б)У он цинично заявил, что не знает, на чьей стороне в случае войны будет КПЗУ.

Уже после отъезда Кагановича в Москву Чубарь, выступая на объединенном заседании Политбюро ЦК и Президиума ЦК КП(б)У, таким образом характеризовал обстановку, созданную Кагановичем в партийном руководстве Украины: «Взаимное доверие, взаимный контроль у нас нарушались,

так что друг другу мы не могли верить... Вопросы решались за спиной Политбюро, в стороне... Эта обстановка меня угнетает».

Масштабы оппозиции Кагановича на Украине возрастали. К Сталину приезжали Г. И. Петровский и Чубарь с просьбой отозвать Кагановича с Украины. Сталин вначале сопротивлялся, обвиняя своих собеседников в антисемитизме. И все же ему пришлось в 1928 году возвратить Кагановича в Москву. Но это вовсе не свидетельствовало о недовольстве Сталина работой Кагановича. Наоборот, он снова стал секретарем ЦК ВКП(б) и вскоре был также избран членом Президиума ВЦСПС. Каганович должен был составить противовес руководству М. П. Томского в профсоюзах. В начале 1930 года Каганович стал первым секретарем Московского областного, а затем и городского комитетов партии, а также полноправным членом Политбюро ЦК ВКП(б).

Летом 1930 года перед XVI съездом партии в Москве проходили районные партийные конференции. На Бауманской конференции выступила вдова Ленина Н. К. Крупская и подвергла критике методы сталинской коллективизации, заявив, что эта коллективизация не имеет ничего общего с ленинским кооперативным планом. Крупская обвиняла ЦК партии в незнании настроений крестьянства и в отказе советоваться с народом. «Незачем валить на местные органы,— заявила Крупская,— те ошибки, которые были допущены самим ЦК».

Когда Крупская еще произносила свою речь, руководители райкома дали знать об этом Кагановичу, и он немедленно выехал на конференцию. Поднявшись на трибуну после Крупской, Каганович подверг ее речь грубому разосу. Отвергая ее критику по существу, Каганович заявил также, что она как член ЦК не имела права выносить свои критические замечания на трибуну районной партийной конференции. «Пусть не думает Н. К. Крупская,— заявил Каганович,— что если она была женой Ленина, то она обладает монополией на ленинизм».

Второй человек в руководстве партии

Начало 30-х годов было временем наибольшей власти Кагановича. Хотя «правые» лидеры: Бухарин, Томский и Рыков — были уже выведены из Политбюро, этот орган не был еще полностью послушен воле Сталина. По ряду вопросов Киров, Орджоникидзе, Рудзутак, Калинин, Куйбышев иногда возражали Сталину. Но Каганович всегда стоял на его стороне. В годы коллективизации в те районы страны, где возникали наибольшие трудности, Сталин направлял именно Кагановича, наделяя его при этом чрезвычайными полномочиями. Каганович выезжал для руководства коллективизацией на Украину, в Воронежскую область, в Западную Сибирь, а также во многие другие области. И всюду его приезд означал тотальное насилие по отношению к крестьянству, депортацию не только десятков тысяч семей «кулаков», но и многих тысяч семей так называемых «подкулачников», то есть всех тех, кто сопротивлялся коллективизации. Особенно жестокие репрессии обрушил Каганович на крестьянско-казачье население Северного Кавказа. Достаточно сказать, что под его давлением бюро Северо-Кавказского крайкома партии приняло осенью 1932 года решение выселить на Север жителей шестнадцати крупных станиц: Полтавской, Медведовской, Урупской, Башаевской и др. Следует напомнить, что казачьи станицы гораздо крупнее русских деревень, в каждой было обычно не менее тысячи дворов. Одновременно на Северный Кавказ на «освободившиеся» места переселялись крестьяне из малоземельных деревень Нечерноземья. Суровые репрессии проводились и в подведомственной Кагановичу Московской области, которая охватывала тогда территорию нескольких нынешних областей. Видимо, учитывая именно этот «аграрный опыт», Сталин назначил Кагановича заведующим вновь созданным сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б). Каганович руководил в 1933—1934 годах организацией политотделов МТС и совхозов, которым на время были подчинены все органы Советской власти в сельской местности и в задачу которых входила, в частности, чистка колхозов от «подкулачников» и «саботажников».

Каганович был жесток не только по отношению к крестьянам, но и к рабочим. Когда в 1932 году в Иваново-Вознесенске начались забастовки рабочих и работниц, вызванные тяжелым материальным положением, то именно

Каганович управлял расправой с активистами этих забастовок. Досталось от него и многим местным руководителям. Некоторые из них бойкотировали введенные тогда закрытые распределители для партийных работников и посылали своих жен и детей в общие очереди за продуктами. Каганович оценил их поведение как «антипартийный уклон».

В 1932—1934 годах письма с мест многие адресовали: «Товарищам И. В. Сталину и Л. М. Кагановичу». Каганович решал немало идеологических вопросов, так как в Москве было расположено множество учреждений, связанных с культурой и идеологией. В 1932 году комиссия под его председательством в очередной раз запретила представление пьесы Н. Р. Эрдмана «Самоубийца», которая лишь недавно, через много лет после смерти автора, была поставлена Московским театром сатиры.

Кагановичу приходилось решать и вопросы внешней политики. Как свидетельствует бывший сотрудник Наркомата иностранных дел СССР Е. А. Гнедин, основные внешнеполитические решения принимались не в Совнаркоме, а в Политбюро. «В аппарате [НКВД],— пишет Гнедин,— было известно, что существует комиссия Политбюро по внешней политике с меняющимся составом. В первой половине 30-х годов мне случилось присутствовать на ночном заседании этой комиссии. Давались директивы относительно какой-то важной внешнеполитической передовой, которую мне предстояло писать для «Известий». Был приглашен и главный редактор «Правды» Мехлис. Сначала обсуждались другие вопросы. Решения принимали Молотов и Каганович; последний председательствовал. Докладывали зам. наркомы Крестинский и Стомяков; меня поразило, что эти два серьезных деятеля, знатоки обсуждавшихся вопросов, находились в положении просителей. Их просьбы (уже не доводы) безапелляционно удовлетворялись либо отклонялись. Но надо заметить, что Каганович не без иронии реагировал на замечания Молотова».

В этот же период Каганович стал по совместительству руководителем Транспортной комиссии ЦК ВКП(б). Когда Сталин уезжал в отпуск к Черному морю, именно Каганович оставался в Москве в качестве временного главы партийного руководства. Он был одним из первых, кого наградили введенным в стране высшим знаком отличия — орденом Ленина.

Еще в 20-е годы важным оружием в укреплении власти Сталина стали чистки партии — периодически проводившиеся проверки всего ее состава, сопровождавшиеся массовым изгнанием из нее не только недостойных, но и неугодных людей. Когда в 1933 году в нашей стране началась очередная чистка партии, то именно Каганович стал Председателем Центральной комиссии по ее проведению, а после XVII съезда партии и председателем Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). Никто в нашей стране, кроме самого Сталина, не занимал в этот период столь важных постов в системе партийной власти. Именно Каганович как председатель оргкомитета по проведению XVII съезда партии организовал фальсификацию результатов тайного голосования в ЦК ВКП(б), уничтожив около трехсот бюллетеней, в которых была вычеркнута фамилия Сталина.

В середине 30-х годов в отделе науки Московского горкома партии некоторое время работал А. Кольман. В воспоминаниях об этом периоде своей жизни Кольман писал:

«Из секретарей нашим отделом руководил Каганович, а потом Хрущев, и поэтому я, имея возможность еженедельно докладывать им, ближе узнал их, не говоря уже о том, что я наблюдал их поведение на заседаниях секретариата и бюро ЦК, как и на многочисленных совещаниях. Я помню их обоих очень хорошо. Оба они перекипали жизнерадостностью и энергией, эти два таких разных человека, которых тем не менее сближало многое. Особенно у Кагановича была прямо сверхчеловеческая работоспособность. Оба восполняли (не всегда удачно) пробелы в своем образовании и общекультурном развитии интуицией, импровизацией, смекалкой, большим природным дарованием. Каганович был склонен к систематичности, даже к теоретизированию, Хрущев же к практицизму, к техницизму...

...И оба они, Каганович и Хрущев,— тогда еще не успели испортиться властью, были по-товарищески просты, допустимы, особенно Никита Сергеевич, эта «русская душа нараспашку», не стыдившийся учиться, спрашивать у меня, своего подчиненного, разъяснений непонятых им научных премудростей. Но и Каганович, более сухой в общении, был не крут, даже мягок, и уж, конечно, не позволял себе тех выходов, крика и мата, которые — по крайней

мере такая о нем пошла дурная слава — он в подражание Сталину приобрел впоследствии».

Кольман в данном случае, несомненно, приукрашивает образ Кагановича середины 30-х годов. Разумеется, Каганович совсем иначе вел себя с некоторыми ответственными работниками горкома и обкома партии, а тем более на заседаниях секретариата и бюро ЦК, чем с представителями организаций более низкого уровня. Свою грубость и безжалостность Каганович достаточно ярко показал уже во времена коллективизации, о чем упоминалось в предыдущем разделе. Старый большевик И. П. Алексахин вспоминает, что осенью 1933 года, когда в Московской области возникли трудности с хлебозаготовками, Каганович приехал в Ефремовский район (тогда входивший в Московскую область). Первым делом он отобрал партийный билет у председателя райисполкома и секретаря райкома Уткина, предупредив, что если через три дня план хлебозаготовок не будет выполнен, Уткин будет исключен из партии, снят с работы и посажен в тюрьму. На резонные доводы Уткина насчет того, что план хлебозаготовок нереален, так как урожай определялся в мае месяце на корню, а хлеба и картофеля убрано вдвое меньше, Каганович ответил площадной бранью и обвинил Уткина в правом оппортунизме. Хотя уполномоченные МК работали по деревням до глубокой осени (одним из таких уполномоченных и был Алексахин) и забрали у крестьян и колхозов даже продовольственное зерно, картошку и семена, план заготовок был выполнен по району только на 68 процентов. После такой «заготовительной» кампании почти половина населения района выехала за его пределы, забив свои избы. Сельское хозяйство района было разрушено, в течение трех лет сюда завозили семенное зерно и картофель.

Конечно, перерождение Кагановича произошло не в один день или месяц. Под воздействием Сталина и в силу разлагающего влияния неограниченной власти он становился все более и более грубым и бесчеловечным работником. К тому же Каганович боялся сам стать жертвой своего жестокого времени и предпочитал губить других людей. Постепенно и в горьком он превращался в крайне бесцеремонного и наглого человека. Уже в 1934—1935 годах своим техническим помощникам он мог бросить в лицо папку с бумагами, которые они приносили ему на подпись. Известны были даже случаи рукоприкладства.

В 1934—1935 годах Каганович враждебно встретил выдвижение Ежова, который быстро становился фаворитом Сталина, оттеснив Кагановича с некоторых позиций в партийном аппарате. Неприязненные отношения сложились у Кагановича и с молодым Маленковым, также быстро идущим в гору в недрах аппарата ЦК. Но Сталина не только устраивали подобные конфликты, он искусно поощрял и поддерживал взаимную вражду между своими ближайшими помощниками.

Каганович и реконструкция Москвы

С начала 30-х годов стала проводиться коренная реконструкция Москвы. Как «воздь» или «рулевой» московских большевиков, Каганович оказался одним из организаторов этой работы. Многие из возникавших проблем он решал единолично, но наиболее важные согласовывал со Сталиным и Политбюро. Реконструкция Москвы была, конечно, необходима. Еще при Ленине был разработан первый план такой реконструкции, который предусматривал расширение Москвы на юго-запад с сохранением исторического города. Однако, заботясь об удобствах жителей, трудно было превратить старый город в заповедник и строить новые дома только вне черты старой Москвы. Новый план предусматривал поэтому лишь сохранение исторически сложившегося плана городских магистралей и улиц, но с заменой и сносом многих обветшалых жилых зданий и малоценных деревянных строений. И тем не менее в начале реконструкции далеко не всегда проявлялась забота о сохранении ценнейших памятников русской столицы. Был взорван грандиозный храм Христа-Спасителя, на месте которого предполагалось построить Дворец Советов. А там, где был Страстной монастырь, сегодня стоит кинотеатр «Россия». Всего с ведома Кагановича, а часто и по его инициативе в Москве были разрушены десятки храмов, которые ничем не мешали реконструкции города, но составляли важный элемент исторически сложившегося архитектурного облика. Близ Красной площади снесли Иверские ворота с часовой и церковь на углу Никольской улицы (ныне улица 25 Октября). Против этих разрушений решительно возражали А. В. Луначарский,

ведущие архитекторы. Но Каганович, подводя итог обсуждения, безапелляционно сказал: «А моя эстетика требует, чтобы колонны демонстрантов шести районов Москвы одновременно вливались на Красную площадь».

Исчезла и знаменитая Сухарева башня, о восстановлении которой по сохранившимся чертежам хлопочут сегодня некоторые архитекторы. Такая же участь постигла и большую часть Китайгородской стены. Даже в самом Кремле было уничтожено несколько храмов XV—XVII веков.

Во время этой разрушительной деятельности замахнулись и на храм Василия Блаженного. Помешал этому архитектор, реставратор и историк П. Д. Барановский. Он добился встречи с Кагановичем и решительно выступил в защиту замечательного храма. Почувствовав, что Кагановича не убедили его доводы, Барановский отправил резкую телеграмму Сталину. Храм Василия Блаженного удалось отстоять, но Барановскому пришлось, явно не без помощи Кагановича, пробыть несколько лет в ссылке. Его жена рассказывала: «Петр Дмитриевич одно только и успел спросить у меня на свидании перед отправкой: «Снесли?» Я плачу, а сама головой киваю: «Целый!».

Разумеется, деятельность Кагановича состояла не только в разрушении памятников старины. В Москве с середины 30-х годов развернулось и большое строительство. Не будучи архитектором, Каганович лично указал, что новое здание Театра Красной Армии нужно строить в форме пятиугольной звезды — это было, конечно, бессмысленное решение, так как увидеть звезду можно разве что с нынешнего вертолета.

Одной из главных строек, связанных с именем Кагановича, был московский метрополитен. Кагановича не зря называли на этом строительстве Первым Прорабом или Магнитом Метростроя. Бывший репортер газеты «Вечерняя Москва» А. В. Храбровицкий вспоминает:

«Роль Кагановича в строительстве первой очереди метро была огромной. Он вникал во все детали проектирования и строительства, спускался в шахты и котлованы, пробирался, согнувшись, по мокрым штольням, беседовал с рабочими... Было известно, что Каганович инкогнито ездил в Берлин для изучения берлинского метро. Вернувшись, он говорил, что в Берлине входы в метро — дыра в земле, а у нас должны быть красивые навильоны».

Желанием Кагановича было, чтобы первая очередь метро была готова «во что бы то ни стало» (помню эти его слова) к 17-й годовщине Октября — 7 ноября 1934 года. На общемосковском субботнике 24 марта 1934 года, где Каганович сам действовал лопатой, его спросили о впечатлениях; он ответил: «Мои впечатления будут 7 ноября». Поэт А. Безыменский написал в связи с этим стихи: «То метро, что ты готовишь, силой сталинской горя, пусть Лазарь Каганович в день седьмого ноября». Сроки были передвинуты после посещения в апреле шахт метро Молотовым в сопровождении Хрущева и Булганина, в отсутствие Кагановича. Стало известно (очевидно, были серьезные сигналы) о плохом качестве работ, вызванном спешкой, грозившем неприятностями в будущем. О сроках пуска перестали писать... Рядом с Кагановичем я всегда видел Хрущева. Каганович был активен и властен, а реплики Хрущева помню только такие: «Да, Лазарь Моисеевич», «Слушаю, Лазарь Моисеевич...»

Первая очередь метро была пущена в середине мая 1935 года. Одновременно с работой по строительству метрополитена и перестройкой старой Москвы шла лихорадочная деятельность по составлению Генерального плана ее реконструкции. К этой работе, руководимой тем же Кагановичем, были привлечены сотни архитекторов, строителей и других специалистов. Кольман позднее вспоминал:

«В 1933 или 1934 году Л. М. Каганович пригласил меня — как математика — принять участие в возглавляемой им комиссией по составлению Генерального плана реконструкции города Москвы. Задачей этой многочисленной комиссии... было окончательно сверстать план, над которым уже много времени трудились сотни специалистов. Нам нужно было выработать, на основе несметной кучи материалов, компактный документ и представить его на утверждение Политбюро».

Наша комиссия работала в буквальном смысле днем и ночью. Мы заседали чаще всего до трех часов утра, а то и до рассвета, — таков был в те годы и до самой смерти Сталина стиль работы во всех партийных, советских и прочих учреждениях... Трудоспособность нашей комиссии и ее председателя была в самом деле неимоверна. На окон-

чательном этапе работы Каганович поселил пятерых из нас за городом на одной из дач МК, где мы, оторванные от отвлекающих телефонных звонков, быстро завершили работу, составили проект постановления Политбюро.

Нас пригласили на его заседание, на обсуждение плана. В громадной продолговатой комнате, за длинным столом буквой Т, сидели члены Политбюро и секретари ЦК, а мы, члены комиссии, разместились на стульях вдоль стен. В верхней, более короткой стороне буквы Т, восседал в центре только один Сталин, а сбоку его помощник Поскребишев. Собственно, там было только место Сталина, а он безостановочно, как во время доклада, так и после него прохаживался взад и вперед вдоль обеих сторон длинного стола, покуривая свою короткую трубку и изредка искоса поглядывая на сидящих за столом. На нас он не обращал внимания. Так как наш проект был заранее риздан, Каганович лишь очень сжато доложил об основных принципах плана и упомянул о большой работе, проделанной комиссией. После этого Сталин спросил, есть ли вопросы, но никаких вопросов не было. Всем было все ясно, что было удивительно, так как при громадной сложности проблем нам, членам комиссии, проработавшим не один месяц, далеко не все было ясно. «Кто желает высказаться?» — спросил Сталин. Все молчали...

Сталин все прохаживался, и мне показалось, что он ухмыляется в свои усы. Наконец он подошел к столу, взял проект постановления в красной обложке, полистал и, обращаясь к Кагановичу, спросил: «Тут предлагается ликвидировать в Москве подвальные помещения. Сколько их имеется?» Мы, понятно, были во всеоружии, и один из помощников... тут же подскочил к Кагановичу и вручил ему нужную цифру. Она оказалась внушительной, в подвалах ниже уровня тротуара теснились тысячи квартир и учреждений.

Услышав эти данные, Сталин вынул трубку из рта, остановился и изрек: «Предложение ликвидировать подвалы — это демагогия. Но в целом план, по-видимому, придется утвердить. Как вы думаете, товарищи?» После этих слов все начали высказываться сжато и одобрительно, план был принят с небольшими поправками... В заключение Каганович взял слово, чтобы извиниться за подвалы. Этот пункт, дескать, вошел в постановление по оплошности... Это была неуклюжая и лживая увертка... Ведь каждый понимал, что перед тем, как подписать столь ответственный документ, Каганович несколько раз внимательно образом перечитал его...

В 1935 году Каганович, получив новое назначение, передал руководство Московской городской и областной партийной организацией Хрущеву. Именно Каганович выдвинул Хрущева сначала на роль руководителя Бауманского и Краснопресненского райкомов партии, а затем сделал его своим заместителем по Московской организации.

Каганович в годы террора (1936—1938)

Каганович был одной из ведущих фигур той страшной террористической чистки партии и всего общества, которая проходила волна за волной в СССР в 1936—1938 годах. Именно Каганович возглавил в Москве репрессии в наркоматах путей сообщения и тяжелой промышленности, в Метрострое, а также во всей системе железных дорог и крупных промышленных предприятий. При расследовании, которое проводилось после XX съезда КПСС, были обнаружены десятки писем Кагановича в НКВД со списками множества работников, которых Каганович требовал арестовать. В ряде случаев он лично просматривал и редактировал проекты приговоров, внося в них произвольные изменения. Каганович знал, что делал. Сталин настолько доверял ему в тот период, что поделился с ним планами «великой чистки» еще в 1935 году. И не случайно, что именно Каганович выезжал для руководства этой чисткой во многие районы страны: он был во главе репрессий в Челябинской, Ярославской, Ивановской областях и в Донбассе. Так, например, не успел Каганович приехать в Иваново, как сразу дал телеграмму Сталину: «Первое ознакомление с материалами показывает, что необходимо немедленно арестовать секретаря обкома Епанчикова. Необходимо также арестовать заведующего отделом пропаганды обкома Михайлова».

Получив санкцию Сталина, Каганович организовал подлинный разгром Ивановского обкома партии. Выступая

в начале августа 1937 года на пленуме уже весьма поредевшего обкома, Каганович обвинил всю партийную организацию в попустительстве врагам народа. Сам пленум проходил в атмосфере террора и запугивания. Стоило, например, секретарю Ивановского горкома А. А. Васильеву усомниться во вражеской деятельности арестованных работников обкома, как Каганович грубо оборвал его. Тут же на пленуме Васильев был исключен из партии, а затем и арестован как враг народа. Такая же судьба постигла и члена партии с 1905 года, председателя областного Совета профсоюзов И. Н. Семагина.

Грубо и жестоко действовал Каганович и в Донбассе, куда прибыл в 1937 году для проведения чистки. Он созвал сразу же совещание областного хозяйственного актива. Выступая с докладом о вредительстве, Каганович прямо с трибуны заявил, что и в этом зале среди присутствующих руководителей есть немало врагов народа и вредителей. В тот же вечер и ту же ночь было арестовано органами НКВД около 140 руководящих работников Донецкого бассейна, директоров заводов и шахт, главных инженеров и партийных руководителей. Списки для ареста были утверждены накануне лично Кагановичем.

Сталин активно помогал Кагановичу в разгроме партийной организации Украины. На пленуме Киевского обкома партии Каганович добился смещения бюро обкома во главе с П. П. Постышевым, с мстительной активностью сводя счесть со своими оппонентами 1927—1928 годов.

Сталин поручал Кагановичу самые различные карательные акции. Так, например, Каганович имел непосредственное отношение к разгрому театра Мейерхольда, а стало быть, и к судьбе великого режиссера. По свидетельству Д. Шостаковича, Сталин ненавидел Мейерхольда, но это была, так сказать, ненависть на расстоянии, ибо Сталин никогда не видел ни одного его спектакля. Неприязнь Сталина была основана исключительно на доносах. Непосредственно перед закрытием театра одну из его постановок посетил Каганович, обладавший тогда громадной властью. От него зависело будущее театра и самого Мейерхольда. Спектакль не понравился Кагановичу. Верный соратник Сталина покинул театр, не досмотрев его и до половины. Мейерхольд, которому было уже за шестьдесят, бросился за Кагановичем на улицу. Но Каганович сел со своей свитой в машину и уехал. Мейерхольд бежал за машиной, пока не упал.

Иногда приходится встречать утверждения, что в годы террора погибли два младших брата Кагановича. Это неверно. Юлий Моисеевич Каганович был в середине 30-х годов первым секретарем Горьковского обкома и горкома ВКП(б). Вскоре он был освобожден и переведен в Москву на работу в Министерство (ранее Наркомат) внешней торговли, где числился членом коллегии, а в 40-е годы являлся торговым представителем СССР в Монголии. В начале 50-х годов он умер после продолжительной болезни.

Младший из братьев был директором универмага в Киеве, затем заведующим горторготделом. Он никогда не поднимался в верхние эшелоны власти, но по сведениям близких семье людей не был и репрессирован. В 30-е годы пострадал лишь один из двоюродных братьев Лазаря Моисеевича. Что касается его старшего брата Михаила Кагановича, то он был назначен в 1937 году наркомом оборонной промышленности.

Переход на хозяйственную работу

Если в начале 30-х годов Каганович занимал второе по значению место в партийном аппарате, то с середины 30-х годов Сталин стал перемещать его на хозяйственную работу. В 1935 году Каганович был назначен наркомом путей сообщения. Транспорт оказался слабым звеном в хозяйственной системе страны, но Каганович, действуя методами угроз и террора, сумел за короткое время заметно улучшить работу железных дорог. Уменьшилось число аварий, и поезда стали ходить по более четкому расписанию. В конце 1937 года он был назначен наркомом тяжелой промышленности. В начале 1939 года Каганович стал также наркомом топливной промышленности, а в 1940 году он возглавил наркомат нефтяной промышленности. Каганович к тому же был заместителем председателя СНК. Фактически он стал вторым человеком в Совнарком после Молотова. Советская печать постоянно рекламировала Кагановича как «сталинского наркома», способного быстро наладить любое трудное дело. В газетах и журналах нередко появлялись рассказы и статьи, повествующие о гуманности Кагановича и его

заботе о простом человеке. К сожалению, в кампанию по восхвалению Кагановича включился и такой выдающийся писатель, как Андрей Платонов. Автор «Котлована» и «Чевенгура», после прочтения которых Сталин сказал: «Талантливый писатель, но сволочь»¹, — оказавшийся в немилости и получавший теперь отказы от журналов и издательств, Платонов опубликовал в конце 1936 года рассказ «Бессмертие», который нельзя оценить иначе, как подхалимский по отношению к Кагановичу.

Центральный эпизод этого рассказа — неожиданный звонок Кагановича уже под утро начальнику дальней станции Красный Перегон Левину.

«Вы почему так скоро подошли к аппарату? Когда вы успели одеться? Вы что — не спали?.. [А Левин еще и не ложился.] Люди ложатся спать вечером, а не утром... Слушайте, Эммануил Семенович, если вы искалечите себя в Перегоне, я взыщу, как за порчу тысячи паровозов. Я проверю, когда вы спите, но не делайте из меня вашу няньку...»

— В Москве сейчас тоже, наверное, ночь, Лазарь Моисеевич, — тихо произнес Левин...

Каганович понял и засмеялся... Нарком спросил, чем ему надо помочь...

— Вы уже помогли мне, Лазарь Моисеевич...»

На следующий день Левин вернулся домой в полночь. «Он лег в постель, стараясь скорее крепко уснуть — не для наслаждения покоем, а для завтрашнего дня». Но через час его разбудил телефон. Помощник доложил, что только что звонили из Москвы и спрашивали, как здоровье Левина, начальника станции, и спит ли он или нет. Левин уже не уснул. Он «посидел немного на кровати, потом оделся и ушел на станцию. Ему пришло соображение относительно увеличения нормы нарезки вагона...»

В годы войны

Годы войны с гитлеровской Германией были трудным временем для всех советских руководителей. Каганович отвечал в первую очередь за бесперебойную работу железных дорог, на которые в условиях войны легла особая ответственность. Железные дороги, и без того перегруженные у нас в стране, должны были осуществлять теперь огромный объем военных перевозок и эвакуацию многих тысяч предприятий в восточные районы страны. Каганович не вошел в первый состав Государственного Комитета Обороны, но скоро был включен в ГКО вместе с Булганиным, Микояном и Вознесенским.

Железные дороги справились с невероятно трудными задачами военных лет, и в этом была, несомненно, заслуга Кагановича. В сентябре 1943 года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1942 году Каганович был также членом Военного Совета Северо-Кавказского фронта. Правда, он продолжал в основном работать в Москве и на фронте бывал «наездами». Когда в 1942 году немецкие войска прорвали линию фронта на юге и стали быстро наступать в направлении Кавказа и Волги, Каганович вылетел на фронт с особой миссией: ему предстояло наладить работу военной прокуратуры и военных трибуналов. В эти месяцы немало командиров и комиссаров Красной Армии поплатились жизнью за неудачи и просчеты, ответственность за которые несло в первую очередь высшее командование.

Уже в 1944 году Каганович постепенно переключается на более мирную хозяйственную работу. Оставаясь заместителем Председателя Совнаркома СССР и заместителем председателя Транспортного комитета, Каганович становится в 1946 году министром промышленности строительных материалов, это была одна из наиболее отстающих отраслей.

Каганович в опале

На Западе время от времени появляются книги о людях, составлявших ближайшее окружение Сталина. К сожалению, нередко здесь и фальшивки — о Берия, о Литвинове, о Маленкове. Не стал исключением и Каганович. Совсем недавно одно из американских издательств выпустило на книжный рынок книгу под громким названием «Волк из Кремля». Это биография Кагановича, который, если верить

автору, полностью подчинил себе Сталина, а когда Сталин попытался уменьшить могущество Кагановича, последний «убрал» Сталина и поставил у власти своего друга — Хрущева. Думаю, что книга специально написана по заказу каких-то антисемитских или, наоборот, экстремистских сионистских кругов, чтобы доказать, будто в 30—50-е годы нашей страной управлял единственный в Политбюро еврей — Каганович. К еще большему сожалению, и некоторые советские писатели и публицисты начинают порой утверждать то же самое. Так в одном из интервью газете «Книжное обозрение» писатель В. Распутин, высказывая свое нелестное мнение о романе А. Рыбакова «Дети Арбата», заметил: «Мы как-то легко ищем причину всех преступлений того времени лишь в Сталине...», «...не менее, а, быть может, более интересно бы для литературы было исследование психологии власти таких могущественных при Сталине, но теневых фигур, как Каганович».

Эти утверждения ложны. Влияние Кагановича уменьшилось еще в конце 30-х годов и продолжало меняться в течение войны. Он выполнял важные задания, но общее руководство военной экономикой по линии Совета Министров и ГКО осуществлял в первую очередь Вознесенский, а по партийной линии Маленков. Вознесенский в 1946 году нередко руководил заседаниями Совета Министров СССР. В партийно-государственной иерархии имя Кагановича стояло в 1946 году лишь на девятом месте — после Сталина, Молотова, Берия, Жданова, Маленкова, Вознесенского, Калинина и Ворошилова.

В 1947 году Каганович был направлен Сталиным на Украину в качестве первого секретаря КП(б)У. Республика не выполнила в 1946 году плана хлебозаготовок из-за тяжелой засухи, и Сталин был недоволен Хрущевым, который вот уже девятый год стоял во главе ЦК КП(б)У. Переезд в Киев был, однако, для Кагановича явным понижением, и он работал здесь без прежней энергии. К тому же Хрущев не освободил от работы в республике, он остался на посту председателя Совета Министров УССР. Если в 30-е годы в Москве Хрущев склонен был говорить: «Да, Лазарь Моисеевич, «Слушаю, Лазарь Моисеевич», — то теперь на Украине между ними часто возникали конфликты. Каганович не слишком много времени уделял сельскому хозяйству, но стал раздувать привычное кадилло борьбы с «национализмом», переставлять кадры, удаляя нередко хороших и ценных работников. Гораздо больше, чем Каганович, Украине помогли обильные весенние дожди, обеспечившие республике в 1947 году высокий урожай. Не имея на этот раз чрезвычайных полномочий, Каганович часто посылал записки Сталину, не показывая их перед этим Хрущеву. Но Сталин потребовал, чтобы и Хрущев подписывал все эти записки, что было явным выражением недоверия к Кагановичу. Вскоре стало ясно, что от пребывания Кагановича на Украине нет никакой пользы. Хрущев имел здесь гораздо большее влияние, тогда как у Кагановича была не слишком добрая слава еще с середины 20-х годов. В конце 1947 года Каганович вернулся в Москву, возобновив свою работу в Совете Министров СССР.

Но и в Москве положение Кагановича становилось все более трудным. Набирала силу пресловутая кампания против «безродных космополитов». От евреев очищали партийный и государственный аппарат, их не принимали на дипломатическую службу, в органы безопасности, сократился прием евреев в институты, готовящие кадры для военной промышленности и наиболее важных отраслей науки. Евреев перестали принимать в военные училища и академии, в партийные школы. Среди еврейской интеллигенции прошли массовые аресты.

Хотя Каганович и не был инициатором этих арестов, он не протестовал против них и никого не защищал. Бывший коминтерновец И. Бергер писал в своей книге:

«Один из моих собратьев по лагерю был близким родственником Л. М. Кагановича. В 1949 году его арестовали. Тогда его жена стала добиваться приема у Кагановича. Каганович принял ее только через 9 месяцев. Но прежде, чем она начала говорить, Каганович сказал: «Неужели Вы думаете, что если я мог что-то сделать, я бы ждал 9 месяцев? Вы должны понять — есть только одно Солнце, а остальные только мелкие звезды».

Сам Лазарь Каганович в это время нередко вел себя как антисемит, раздражаясь присутствием в своем аппарате или среди «обслуги» евреев. Удивляла мелочность Кагановича. Так, например, на государственных дачах для членов Политбюро часто устраивались просмотры иностранных кинолент.

¹ По другим данным, отзыв Сталина о Платонове был связан с его рассказом «Усомнившийся Макар».

Текст переводился кем-либо из вызванных переводчиков. Однажды на даче Кагановича переводчица оказалась еврейкой, прекрасно знавшей итальянский язык, но переводившей его на русский с незначительным еврейским акцентом. Каганович распорядился никогда больше не приглашать ее к нему.

Жертвой шпиономании стал и старший брат Кагановича Михаил Моисеевич, который еще в 1940 году был снят с поста министра авиационной промышленности, а на XVIII партийной конференции весной 1941 года выведен из состава членов ЦК ВКП(б). В первые годы после войны он был обвинен во вредительстве в области авиационной промышленности и даже в тайном сотрудничестве с гитлеровцами. Эти вздорные обвинения рассматривались на Политбюро. Докладывал Берия. Каганович не защищал своего брата. Сталин лицемерно похвалил Лазаря за принципиальность, но столь же лицемерно предложил не торопиться с арестом Михаила Моисеевича, а создать комиссию для проверки выдвинутых против него обвинений. Во главе ее поставили Микояна. Через несколько дней Михаила Кагановича пригласили в кабинет Микояна. Приехал и Берия вместе с человеком, который дал показания против бывшего министра. Тот повторил свои обвинения. «Этот человек ненормальный», — сказал Михаил. Но он понял, что означает весь этот спектакль. В кармане у него был пистолет. «Есть ли в твоём кабинете туалет?» — спросил он Микояна. Анастас Иванович показал нужную дверь. Михаил вошел в туалет, и через несколько мгновений там раздался выстрел. Его похоронили без почестей.

Сталин все реже и реже встречался с Кагановичем, он уже не приглашал его на свои вечерние трапезы. На XIX съезде КПСС Каганович был избран в состав расширенного Президиума ЦК и даже в бюро ЦК, но не вошел в отобранную лично Сталиным «пятерку» наиболее доверенных руководителей партии.

После ареста группы кремлевских врачей, в большинстве евреев, которые были объявлены вредителями и шпионами, в СССР началась новая широкая антисемитская кампания. В некоторых западных книгах и, в частности, в книге А. Авторханова «Загадка смерти Сталина», полной множества вымыслов и противоречий, можно найти версию о том, что Каганович якобы бурно протестовал против преследования евреев в СССР, что именно он предъявил Сталину ультиматум с требованием пересмотреть «дело врачей». Более того, Каганович якобы «изорвал на мелкие клочки свой членский билет Президиума ЦК КПСС и швырнул Сталину в лицо. Не успел Сталин вызвать охрану Кремля, как его поразил удар: он упал без сознания».

Авторханов ссылается на какие-то слова Ильи Эренбурга. Но я часто встречался с Эренбургом в 1964—1966 годах, мы не раз говорили о Сталине, но ничего подобного Эренбург никогда не рассказывал, да он и не мог знать подробностей смерти Сталина. Все это чистый вымысел. Каганович был не в состоянии восстать против Сталина. Он в начале 1953 года молчал и со страхом ждал развития событий. Как и многих других, и отнюдь не только евреев, Кагановича спасла смерть Сталина.

В «антипартийной» группе

После смерти Сталина влияние Кагановича на короткое время вновь возросло. В качестве одного из первых заместителей председателя Совета Министров СССР он возглавил несколько важных министерств. Каганович поддержал сговор Хрущева и Маленкова с целью ареста и устранения Берия. Еще раньше он был среди тех, кто предпринял все меры для пересмотра «дела врачей» и прекращения антисемитской кампании в стране. Был реабилитирован и его старший брат М. М. Каганович.

И тем не менее начавшиеся в 1953—1954 годах первые реабилитации ставили Кагановича во все более трудное положение. Не все жертвы террора 1937—1938 годов были расстреляны или погибли в лагерях. В Москву стали возвращаться люди, которые знали о той ведущей роли, которую играл Каганович при проведении незаконных массовых репрессий. Так, например, в 1954 году был полностью реабилитирован А. В. Снегов, которого Каганович хорошо знал еще по партийной работе на Украине в середине 20-х годов. Снегов был назначен, по предложению Хрущева, на работу в политотдел и коллегию МВД СССР. В перерыве торжественного заседания в Большом театре по случаю 38-й годовщины Октябрьской революции Каганович увидел Снегова,

идущего под руку с Петровским, когда-то возглавлявшим ЦИК Украины, а ныне все еще работающим завхозом Музея Революции. Каганович поспешил к ним с приветствиями. Но Снегов не ответил на них. «Я не буду пожимать руку, запятнанную кровью лучших людей партии», — громко, чтобы слышали все вокруг, сказал Снегов. Каганович помрачнел и вместе с дочерью быстро отошел в сторону. Но он уже не имел прежних возможностей карать и преследовать своих врагов.

Каганович решительно протестовал против намерения Хрущева доложить делегатам XX съезда КПСС о преступлениях Сталина. Когда было предложено дать слово на съезде нескольким вернувшимся из лагерей старым большевикам, Каганович воскликнул: «И эти бывшие каторжники будут нас судить?» В своей речи на съезде партии Каганович должен был все-таки мимоходом сказать несколько слов о вредности культа личности. Хрущев, однако, преодолел сопротивление и прочел в конце съезда свой знаменитый секретный доклад.

В прошлом Каганович был в очень плохих отношениях с Молотовым и Маленковым. Теперь они стали сближаться на почве общей вражды против Хрущева и его политики. Они тщательно фиксировали все ошибки Хрущева в руководстве промышленностью и сельским хозяйством. Но главное, что им не нравилось, — это проведение «десталинизации» и освобождение и реабилитация миллионов политических заключенных. Выступление антихрущевской группы закончилось полным поражением. Молотов, Каганович, Маленков и «примкнувший к ним Шепилов» были выведены из состава Политбюро и ЦК КПСС. Они сами и их выступление обсуждались на всех партийных собраниях. Это была советская «банда четырех».

После июньского Пленума Кагановича охватил страх. Он опасался ареста и боялся, что его постигнет судьба Берия. В конце концов на его совести было ненамного меньше преступлений, чем на совести Лаврентия. Каганович даже позвонил Хрущеву и униженно просил его не поступать с ним слишком жестоко. Он сослался на прежнюю дружбу с Хрущевым. Ведь именно Каганович способствовал быстрому выдвижению Хрущева в Московскую партийную организацию. Хрущев ответил Кагановичу, что никаких репрессий не будет, если члены антипартийной группы прекратят борьбу против линии партии и станут добросовестно работать на тех постах, которые им поручит теперь партия. И действительно, Кагановича вскоре направили в город Асбест Свердловской области директором крупнейшего в стране горно-обогательного комбината.

Когда в 1933 году в нашей стране проходила чистка партии, перед комиссией должны были отчитаться и все ответственные партийные работники. Хрущев проходил чистку в партийной организации завода имени Осоавиахима. Его спросили, в частности, как он в своей работе применяет социалистическое соревнование. Хрущев ответил: «С кем же мне соревноваться? Только с Лазарем Моисеевичем, но разве я могу с ним тягаться...» В 30-е годы Хрущев, конечно, не мог «тягаться» с Кагановичем. Но в 40-е годы Хрущев нередко вступал в споры и конфликты с ним. А во второй половине 50-х годов именно Хрущев нанес политическое поражение группе членов Политбюро, в которую входил и Каганович.

Четыре года в Асбесте

Каганович работал в Асбесте до конца 1961 года. Этот человек, который прежде отличался крайней жестокостью и грубостью по отношению к подчиненным, был на своем последнем руководящем посту весьма либеральным начальником. В 1957—1958 годах Каганович приезжал в Москву на сессии Верховного Совета, однако на очередных выборах в Верховный Совет его кандидатура уже не выставлялась. В ноябре 1957 года в связи с 40-летней годовщиной Октября Каганович даже дал интервью одной иностранной корреспондентке.

Известно, что на XXII съезде КПСС в октябре 1961 года Хрущев опять поднял вопрос об антипартийной группе Молотова, Кагановича и Маленкова и об их преступлениях в эпоху Сталина. При этом многие делегаты съезда говорили в первую очередь о преступлениях Кагановича, приводили документы и факты, свидетельствующие о его активном участии в незаконных репрессиях. Делегаты съезда требовали исключения Кагановича из партии. Вскоре после съезда

Каганович был снят с поста директора горно-обогатительного комбината. Он был исключен из партии на заседании бюро одного из московских райкомов КПСС.

Беспартийный пенсионер

После Асбеста никакого нового назначения Каганович не получил. Через несколько лет он вернулся в Москву, чтобы начать здесь жизнь простого пенсионера.

Кагановичу была назначена обычная гражданская пенсия в сто двадцать рублей в месяц. Это немного, но бывший «сталинский нарком» накопил достаточно средств для вполне обеспеченной жизни. Тем не менее Каганович позвонил однажды директору Института марксизма-ленинизма П. Н. Поспелову и, пожаловавшись на маленькую пенсию, попросил бесплатно присылать ему издаваемый институтом журнал «Вопросы истории КПСС». Партийные журналы стоят у нас недорого, а цена того журнала, о котором говорил Каганович, была всего сорок копеек. Ясно, что Каганович просто хотел обратить на себя внимание.

Когда был снят со своих постов Хрущев, Каганович направил в ЦК КПСС заявление с просьбой восстановить его в партии. Но Президиум ЦК отказал ему в пересмотре ранее принятого решения.

Каганович записался читателем в Историческую библиотеку. При заполнении анкеты его спросили об образовании. «Пишите, высшее», — сказал Каганович. Иногда Каганович приходил для работы и в Ленинскую библиотеку. Он, как и Молотов, стал писать мемуары. Это было заметно уже по тем книгам и журналам, которые он подбирал с помощью библиографов: о событиях в Саратове и Гомеле в 1917 году, о турецких делах 1920—1922 годов, об организационно-партийной работе в 20-е годы, об истории Московской партийной организации.

Каганович часто работал и в газетном зале Ленинской библиотеки. Мимо него в эти дни проходило множество посетителей, некоторые просто из любопытства, но он не обращал на них особого внимания.

Однажды у стойки при сдаче книг в профессорском зале Ленинской библиотеки из-за отсутствия библиотечарши образовалась маленькая очередь. Каганович подошел и встал первым. Ему спокойно заметили, что есть небольшая, но очередь. «Я — Каганович», — заявил неожиданно Лазарь Моисеевич, обиженный невниманием к своей персоне. Однако из очереди вышел ученый и встал перед Кагановичем, громко сказав при этом: «А я Рабинович». Это был очень известный физик по проблемам плазмы М. С. Рабинович.

Каганович ежегодно приобретал путевки в обычные дома отдыха. Он не избегал общения с другими отдыхающими, и пожилые люди охотно проводили время в его обществе. Кагановичу пригодились навыки агитатора да старый жизненный опыт рабочего-обувщика. Но в этих беседах он не касался темы сталинских репрессий и своего участия в них. Он также очень любил кататься по Москве-реке на речном трамвае. Когда повысили стоимость билетов, Лазарь Моисеевич был крайне недоволен. Он ворчал: «При мне этого не было...» Когда-то он отвечал и за работу московского транспорта.

Конечно, у Кагановича было немало неприятных для него встреч. Однажды его заметили на улице потомки партийных работников, погибших на Украине в годы сталинских репрессий, уже немолодые люди. Некоторые из них и сами провели немало лет в лагерях. Среди них был, например, сын Чубаря. Они окружили Кагановича и стали ругать его, называя палачом и негодяем. Лазарь сильно испугался. Он начал громко кричать: «Караул! Убивают! Милиция!» И милиция появилась. Всех участников этого инцидента задержали и препроводили в ближайшее отделение милиции. Дело кончилось лишь выявлением личности задержанных, которых после этого сразу же отпустили.

В начале 70-х годов знаменитая актриса Алиса Коонен, которой было уже за восемьдесят, пришла на Новодевичье кладбище к могиле своего мужа А. Я. Таирова. Таиров был основателем и неизменным руководителем Камерного театра. Еще в 1929 году Сталин назвал в одном из писем драматургу В. Н. Билль-Белоцерковскому театр Таирова «действительно буржуазным Камерным театром». Тогда это не имело для театра существенного значения. Но в 1949 году в Сочинениях Сталина указанное письмо было опубликовано, и популярный в Москве Камерный театр, обвиненный в формализме, был закрыт. Вскоре Таиров умер. И вот теперь

к Алисе Коонен подошел старик и стал выражать ей свое восхищение. Он действительно помнил многие ее роли: Эммы Бовари, Комиссара, Катерины из «Грозы» Островского. «Простите, с кем я имею дело?» — спросила актриса. «Я Лазарь Моисеевич Каганович», — ответил старик. — Скажите, Алиса Георгиевна, — спросил Каганович, — после того, что случилось с Таировым и с вами, ваши друзья не отвернулись от вас?» «Нет, почему же, — ответила актриса, — когда закрыли наш театр, я уже не могла встречать своих поклонников у подъезда театра после спектаклей. Но у нас много друзей и родных, и они всегда были с нами». «Да, в вашем мире все это происходит иначе, чем в нашем», — заметил Каганович. Сухо протившись с собеседником, Алиса Коонен ушла. Своим знакомым она позднее говорила: «Мне стал выражать свое восхищение Каганович, одно слово которого в 49-м году могло спасти наш театр».

Каганович отличался всегда крепким здоровьем, и ему почти не приходилось лечиться. Но сказывался возраст. В 1980 году ему была назначена обычная для стариков операция. Его положили в урологическую больницу на Басманной улице в палату, где стояло еще двадцать коек. Со всех этажей приходили десятки больных, чтобы посмотреть на бывшего «вождя». В подобного рода клиниках обычно лежат пожилые люди, и потому они хорошо помнили Кагановича. Главный врач больницы вынужден был положить Кагановича в свой кабинет и завесить стеклянную дверь занавеской. Даже персонал больницы разделился на два лагеря. Вечером старые нянечки бранились. «Опять ты положила ему четыре куса сахара, — выговаривала одна из них другой. — Хватит ему, старому хрычу, двух кусков. Клади, как всем».

Дочь Кагановича, преодолев робость, обратилась в ЦК с просьбой «облегчить» участь отца. Неожиданно ей позвонили из аппарата ЦК и сообщили, что ее отцу разрешено отныне лечение в Кремлевской больнице и возвращен «кремлевский паек», а также увеличена пенсия. Каганович был счастлив, когда дочь передала ему эту новость, но пробурчал: «Лучше бы красную книжку (то есть партийный билет. — Р. М.) вернули».

Скучая от одиночества, Каганович часто выходил в большой двор своего дома. В компании стариков он увлекся игрой в домино и скоро стал признанным чемпионом своего квартала. Игра в домино обычно кончалась с наступлением темноты. Но, пользуясь какими-то старыми связями, Каганович с помощью местных властей построил во дворе беседку и провел в нее свет. Теперь пенсионеры с Фрунзенской набережной могут играть в домино до глубокой ночи.

Каганович перенес инсульт. Но его крепкий организм выдержал и это испытание. Да и уход в Кремлевской больнице гораздо лучше, чем в обычной городской. Скоро он опять начал выходить на прогулки в тихие переулки у Фрунзенской набережной и играть в домино с другими стариками. Ближайший соратник Сталина, двадцать пять лет активно и старательно помогавший ему крутить страшную машину кровавого террора, спокойно доживает свой век в Москве.

(Продолжение следует.)

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ

КТО ПРИХОДИЛ НОЧЬЮ В ХУДОМ ОВЧИННОМ ТУЛУПЕ...

К истории одного мифа



— Что ж, теперь памятники брату крушить будем, а отцу нашему, которого судили за взятки, ставить? И если отец хотел ссыльных, этих спецпереселенцев, спасти, то зачем же он деньги брал за свои справки?

— А если бы Павлик был убежден, что отец помогает ссыльным из жалости, бескорыстно, разве бы это помешало ему сообщить об отце куда следует?

На этот вопрос мой собеседник Алексей Трофимович Морозов ответить не спешил. В его взгляде я уловил упрек: что ты, дескать, хочешь от меня — я же предупредил, что избегаю корреспондентов, а ты изловчился, втянул меня в разговор и теперь задаешь такие вопросы...

Я еще вернусь к этой встрече с братом Павлика Морозова. О том, что у Павлика есть брат Алексей, живущий ныне в Крыму, в Алушке, мало кто знал, пока в прошлом году об этом не сообщила «Пионерская правда». Сегодняшние пионеры «проходят» Павлика Морозова по книгам Виталия Губарева. Этот умелый мифотворец создал канонизированную биографию юного героя, в которой брату Павлика, Алексею, кстати, места не нашлось. Да и такого Павлика, каким его изображает Губарев, не было...

Увы, почти уже не осталось людей, которые помнят Павлика и его отца Трофима Морозова и которые могут убедительно, достоверно свидетельствовать о трагических событиях, происшедших в 1931—1932 годах в глухой североуральской деревеньке Герасимовке. Ну а газеты того времени? Я не обольщался, рассчитывая узнать из газет все, как было. Хотел обратиться лишь к истокам этого мифа и сделать некоторые сопоставления.

В тридцатом году в Герасимовке, основанной в начале века трудолюбивыми белорусами, переселившимися сюда, в уральскую тайгу, в поисках свободных земель, торжествовала, выражаясь языком тех лет, мелкобуржуазная стихия крестьянства, преграждавшая нам зримый путь в светлое будущее. Не хотели, словом, герасимовцы обобществлять свои хозяйства и пашни, каждую пядь которых они отвоевывали у болотистой тайги. Но Сталин уже затеял раскрестьянивание страны, и «презренных собственников» с Кубани везли в товарняках на Урал и «расквартировывали» в глухой тайге близ Герасимовки, а местных «кулаков-миродов» (тех, кто отвоевал у тайги лишний гектар земли) выслали на Крайний Север. Весной тридцатого года районные власти организовали в Герасимовке коммуну, но к осени незадачливые коммунары, растранив переданное им хозяйство раскулаченного земляка, разбрелись по домам.

А в начале тридцать первого года в Герасимовском сельсовете, объединявшем целый ряд переселенческих деревень, было вновь «выявлено и разорено кулацкое гнездо». В поисках кандидатуры на должность нового председателя сельсовета, которому предстояло «вырвать остатки корней кулачества», то есть критически пересмотреть списки середняков и завлечь, наконец, крестьян в колхозы, тавдинский райком партии остановил свой выбор на Трофиме Морозове. Он воевал на гражданской, был ранен. Владел грамотой. Уже дважды возглавлял сельсовет, он не извлек из этого никакой выгоды и, казалось, не знал сомнений, когда требовалось не церемониться с «классово чуждыми»... Словом, избрали Трофима и в третий раз. Был ли он членом партии? Я не смог удостовериться в этом. О его партийности упоминается в книге А. Яковлева «Пионер Павел Морозов», изданной в 1936 году, но и эта книга изобилует вымыслом.

И уж никак не ожидал я, что обнаружу взаимоисключающие свидетельства о том, где и когда вступил в пионеры старший сын Трофима Морозова — Павел. В судебном приговоре по делу об убийстве братьев Морозовых утверждается, что Павлик был принят в пионеры «за время пребывания в районной школе» (Алексей Морозов это не подтверждает — Павлик, по его словам, никуда из дома не уезжал и учился вместе с ним лишь в герасимовской школе). И в детской уральской газете «Всходы коммуны» сообщалось в ту пору (октябрь 1932 года), что «ни райком, ни бюро ДКО (Детская Коммунистическая организация.— Ю. З.) не знали Павлика». А спустя год после его гибели помощник

На снимке: памятник Павлику Морозову, установленный в Москве, на Красной Пресне (по проекту А. Рабиновича), в декабре 1948 года. Горький — вспомним! — еще на первом писательском съезде говорил, что воздвигнуть в Москве памятник Павлику Морозову — одна из первоочередных задач объединенных теперь в единый Союз советских писателей. И в декабре сорок восьмого «Вечерняя Москва» писала, что мечта Горького осуществилась...

Фото пятидесятых годов. Из архива Сергея Васина.

пионервожатого герасимовской школы Аркадий Корчаков расскажет в районной газете «Тавдинский рабочий», что лишь двое — Павлик и его друг Яша Юдин — и составляли всю пионерскую организацию Герасимовки, а после гибели Павлика и Яша из пионеров вышел. Записала же их в пионеры в 1931 году учительница-комсомолка Зоя Кабина.

Кабина приехала в Герасимовку 25 августа 1931 года. Но то ли в конце того лета, то ли в начале осени (запишется ли Павлик уже в пионеры?) Трофим Морозов откажется от должности председателя сельсовета и, мало того, сойдется с молодой Ниной Амосовой. Можно лишь гадать сегодня, что заставило Трофима Морозова разом перечеркнуть всю свою прошлую жизнь. Я разыскал, правда, в Герасимовке двоюродную сестру матери Павлика, 77-летнюю Агафью Александровну Фокину. Она говорила: «Бедно Трофим с Татьяной жили. Я к ним хлеб ходила молотить — у них каменные жернова были. Татьяна-то четырех сыновей родила, а жизнь какая была? Надо было и прясть, и ткать самой, а Татьяна не умела. Трофим же тихий, спокойный мужчина был. Не скажешь, что худой был мужчина. Пил ли Трофим? Когда он опять председателем сделался, его заставляли брать у людей последнюю корову, последний хлеб. Придет в дом, а его напоют, и он не возьмет корову. А назавтра опять идет...»

Быть может, потому и оставил свою начальственную должность Трофим Морозов, что стыдно было «последнее брать»? Чего ради тогда он с Колчаком воевал? Не исключено, что, насмотревшись, как изможденные женщины, жены спецпереселенцев, тайком приходят к ним из леса, чтобы выменять на продукты что-нибудь из оставшихся вещей, он осознал, что обрел на такую же участь семьи высланных на Крайний Север земляков. А быть может, сорокалетний Трофим не устоял перед молодой соблазнительницей и захотел, наконец, «пожить»? И о бескорыстном сострадании к ссыльным тут уж говорить не приходится...

Тут-то, когда Трофим ушел из семьи, говорила мне Агафья Александровна, Татьяне с ребятишками совсем худо пришлось, и, когда Паша к ней прибегал, она первым делом спешила его накормить. Она не уверена, кстати, что Паша бы выступил против отца, если бы тот не бросил семью.

В обвинительном заключении по делу № 347 (об убийстве братьев Морозовых), подписанном уч. уполномоченным 2-го отделения СПО ПП ОГПУ по Уралу Шевелевым и утвержденном зам. ИП ОГПУ по Уралу Тучковым, говорится, что произведенным расследованием установлено: «25 ноября 1931 г. Морозов Павел подал заявление в следственные органы о том, что его отец Морозов Трофим Сергеевич, являвшийся председателем сельсовета и будучи связан с местными кулаками, занимается подделкой документов и продажей таковых кулакам-спецпереселенцам, за что Морозов Трофим и осужден на 10 лет ссылки (лист дела 45,113)». А в судебном приговоре по этому делу отцовская история будет изложена так: «...по выходе из состава сельсовета способствовал бегству спецпереселенцев путем продажи документов, составленных на ранее заготовленных и припрятанных бланках». Брал ли Трофим деньги со спецпереселенцев (на суде он отрицал это) или действительно не брал — так ли уж важно было для Павлика, который, как представляется, был типичным сыном своего времени («У нас нет общечеловеческой морали. Мораль — классовая», — провозглашал в то лето комсомольский вожак Александр Косарев, вряд ли предполагая, что и сам станет жертвой этой классовой морали). Так что несчастные спецпереселенцы не могли вызвать у Павлика ни жалости, ни сочувствия — отец, в его понимании, перестал служить Советской власти и ушел из дома, чтобы преступно пособничать классовому врагу. Уже после осуждения отца Павлик заявил и на своего дядю Арсения Силина — выведает, что тот продал спецпереселенцам воз картошки.

В послевоенной, но еще сталинских времен поэме Степана Щипачева «Павлик Морозов» изыскан и такой «убийственный» аргумент в поддержку Павлика и против его отца:

**И, может быть, кулаки
Со справками от сельсовета,
Изъездив Россию, где-то
Калечат в цехах станки.
По справкам они бедняки.**

Но в прошлогодней «Юности» сын спецпереселенца Иван Трифионович Твардовский рассказал, как гибли на лесозаготовках, не так далеко от Герасимовки, их семья, и если бы



не удался побег... «За первый неполный год пребывания на реке Ляле, — вспоминал он, — таежное кладбище приняло в себя сотни безвременно ушедших спецпереселенцев».

И «Урал» опубликовал недавно записки Николая Мурзина — сына загнанного в те же края спецпереселенца: «Никто не рожал в поселке. Никто не женился... Народ вымирал... В замкнутом мире, в тайге, где мы жили, считалось, что здесь и есть край света». Умерла с голода уже бабушка, и тут прораб Крысов («Были же и в ту пору добрые люди, были...») предложил отцу Николая «закопать в лесу» сдохшую от заразной болезни лошадь. И эта лошадь спасла семью: «Отец ночью привез тогда лошадь домой, с матерью они ободрали ее, нарубили мяса, засолили в бочке. Долго мы ели это мясо... Потом съели и шкуру, потом истолкли кости, прокаленные в печи». А затем дед, которому удалось бежать, стал поддерживать семью посылками с мукой.

Да и Антонина Ивановна Андреева, которая заведует музеем Павлика Морозова в Герасимовке, — внучка раскулаченного (какая ирония судьбы!), хотя этот «кулак» после долгих мытарств даже в свое село возвратился.

Я не нашел ни в одной из местных газет за февраль — март 1932 года хотя бы упоминания о том, что в Герасимовке состоялся показательный процесс над Трофимом Морозовым (когда состоялся этот процесс, нигде не уточняется, известно лишь, что Трофим, арестованный после заявления сына, три месяца пребывал в тюрьме, под следствием).

Остается обратиться лишь к обвинительному заключению по делу об убийстве братьев Морозовых, где сказано, что Павлик, «выступая по делу своего отца, разоблачает его преступление и как пионер отказывается от него, прося суд о применении суровых мер в отношении отца». В приговоре же (по делу об убийстве...) уточнено, что на том процессе Павлик «по личной инициативе выступил свидетелем». Это очень существенное уточнение — значит, Павлик не захотел оставаться впрямь тайным доносчиком и открылся на суде и перед отцом, и перед родственниками — перед всем селом.

На этом любительском снимке герасимовских школьников, сделанном в 1930 году, мы видим Павлика Морозова (в центре, в фуражке), а рядом с ним — его двоюродный брат Данила, который спустя два года будет обвинен в убийстве Павлика и приговорен к расстрелу. Других снимков Павлика нет.

А отец его получил 10 лет с конфискацией имущества (Алексей Морозов говорил, что у них и конфисковывать-то нечего было, лошадь же их семье оставили) и сгинул в лагере*.

У Павлика было много родственников в Герасимовке. Его дед, Сергей Морозов, переселился на Урал с двумя сыновьями и тремя дочерьми. Старший, Иван, вторично женившись, перебрался в соседнюю деревню. В тридцать втором году он был кандидатом в члены партии. Первое время старик Морозов вел хозяйство вместе с младшим сыном, Трофимом, но тот, женившись на Татьяне, выделился. Дед Павлика недолюбливал свою невестку — считал, что это она настояла на разделе, после которого ни он, ни Трофим так и не встали на ноги. С дедом жил внук Данила, сын Ивана, на котором и держалось все хозяйство. Что же касается дочерей старика Морозова, то две из них вышли замуж за достаточно крепких мужиков — Кулуканова и Силина, а третья стала женой бедняка Потупчика. Все эти семьи и будут вовлечены в дальнейшие события.

Среди родственников Павлика лишь его двоюродный брат, двадцатилетний Иван Потупчик, который был осодмилцем, то есть состоял в обществе содействия милиции, целиком поддерживал его.

В газете «На смену» (24 сентября 1932 г.) читаем: «Помогая работе милиции, Павел сумел раскрыть кулацкую шайку, застав ее на месте прятания хлеба, имущества и других предметов». Тут важно учесть, что Павлик выслеживал то одного своего дядю — Силина, то другого — Кулуканова. При новом председателе сельсовета Кулуканов, имевший пятистенный дом, был зачислен в разряд богатеев и обложен твердым заданием, от выполнения которого он пытается увильнуть и прячет однажды ночью уже описанное зерно у старика Морозова. Но по соседству Павлик, и он не спит... Эта история еще более обостряет отношения Павлика с дедом, который не мог простить ему выступления против отца, говорил: «Съел человека, мошенник». А двоюродный брат Данила не упускает случая, чтобы побить Павлика...

И третьего сентября, когда Павлик и его восьмилетний брат Федя пошли в лес за клюквой и, возвращаясь домой, были зарезаны, подозрения сразу же пали на деда Сергея и на Данилу. Вспоминаешь Шекспира — дед, стремясь отомстить за погубленного сына, убивает внука... Но и на следствии, и на суде на первый план, естественно, были выдвинуты — дух времени! — социальные мотивы: кулак Кулуканов (он был крестным отцом Павлика) дал Даниле тридцать рублей и обещал ему, если пионер Павлик будет убит, еще горсть золота, а деда не пришлось и уговаривать... В основу приговора легли показания девятнадцатилетнего Данилы, который во всех подробностях рассказал на суде, как он зарезал и Павлика, и Федю (убрал свидетеля), и уличил своих сообщников: семидесятилетнего Арсения Кулуканова (инициатор убийства) и восьмидесятилетнего деда Сергея (главный соучастник) и бабушку Ксению (тоже соучастница — не донесла). Чтобы оценить, насколько убедителен приговор по этому делу (все четверо были приговорены к расстрелу), надо опубликовать, наконец, все следственные и судебные материалы по убийству братьев Морозовых с комментариями авторитетных юристов. Не скрою, что информация, которую я выудил из старых газет, порой озадачивает.

К примеру, в ходе процесса Кулуканов и другие обвиняемые уличались в том, что они намеренно не участвовали в поисках пропавших детей, которые вела вся деревня и которые завершились лишь на третий день, когда трупы

Павлика и Федя нашел охотник Дмитрий Шатраков. Но спустя тридцать один год С. Карташев, который участвовал в расследовании этого дела, сообщил в ирбитской газете «Восход», что трупы Павлика и Федя нашел на самом деле Данила, который рассчитывал, что это отведет он него подозрения. Ребятам уже похоронили, когда Карташев приехал в Герасимовку. «В районе об этом происшествии никто не знал, — вспоминает он. — Я в это время работал в следственных органах. Поехал в командировку. По пути заехал в Герасимовку. Здесь и узнал об убийстве... В тот же день начали следствие. Арестовали восемь человек...»

Кого же арестовали? Да всех тех, кого Павлик выслеживал и уличал в сокрытии хлеба или иного имущества (у Шатраковых, например, Павлик вывез берданку, которую они обязаны были сдать в сельсовет). 28 октября специальный корреспондент «Колхозных ребят» Виталий Губарев писал: «Убийц двое: Данила Морозов и Шатраков Ефим. Главные организаторы убийства — кулаки и подкулачники. Они учили Данилу и Ефима: убейте его, а мы заплатим золотом».

А в номере от седьмого ноября «Колхозные ребята» дали корреспонденцию из Тавды Павла Соломеина: «Начался суд над кулаками — убийцами пионера Павла Морозова. Судит выездная сессия Уральского областного суда...» Кто занял место на скамье подсудимых, Соломеин не сообщил. О том, что начался суд, в последующих номерах и этой, и других газет — ни слова. Остается предположить, что суд был прерван, ибо менялся состав подсудимых. Во всяком случае, Ефим Шатраков, признавшийся на следствии, что убивал Павлика и Федю, вдруг освобождается, и 25 ноября, когда в Тавдинском клубе имени Сталина вновь начался суд, из восьми, арестованных Карташевым, на скамье подсудимых оказались лишь пятеро (Арсений Силин будет оправдан).

Перед началом суда около клуба имени Сталина состоялся митинг пионеров и школьников, которые требовали «расстрела убийц». (В том же ноябре, когда в своей кремлевской квартире «внезапно скончалась» Надежда Сергеевна Аллилуева — «активный член партии», — никто публично не требовал хотя бы сообщить, что случилось с женой Сталина...) Обвинителей на процессе в Тавде было трое: один — государственный, два — общественных. А адвокат — один на всех подсудимых, людей, исключая Данилу, безграмотных. И от защиты Кулуканова, например, этот адвокат счел своим гражданским долгом отказаться...

Как же характеризовали подсудимых те несколько журналистов, которые присутствовали на процессе? Кулуканов, который виновным себя не признал, оценивался не иначе как коварный и хитрый классовый враг. Простодушный на вид Данила удивлял, озадачивал — уж слишком спокойно и обстоятельно рассказывал он, как убивал двоюродных братьев. Дед Сергей, рожденный в семье тюремного надзирателя (это подчеркивалось и в обвинительном заключении, и в приговоре суда), отрицал на суде, что ходил вместе с Данилой «встречать» внуков, но своей неприязни к Павлику не скрывал. Вот как выглядел дед Павлика в газетном отчете Соломеина:

«С. С. Морозов:

— Я принимаю на себя весь грех, как принял его и Иисус Христос на суде иудейском (в зале суда общий смех).

Председатель Загrevский:

— Подсудимый Морозов, я предлагаю от разговоров о святых перейти к делу и дать суду на вопросы прямые ответы. Как вы относились к Павлу?

С. С. Морозов:

— Не любил Пашку, часто мы ссорились. Он выдал моего сына Трофима — отца-то своего! Шел против церкви, не верил в бога. Больно шустрый был. Можно ли такого внука любить?»

А бабушка Ксения, с допроса которой и начался процесс, в самых первых газетных отчетах смотрелась эдакой страдалицей, изобличавшей своего мужа и в том, как жестоко он с ней всю жизнь обращался, и в том, как третировал внука Павла... Но к концу процесса, когда приговор, судя по всему, был уже очевиден, корреспондент «Тавдинского рабочего» писал так:

«...Кровожадная волчица Ксения Морозова направляет ищущих (односельчан, ищущих Павлика и Федю. — Ю. З.) в другую деревню, заранее зная, что их там нет».

Прокурор, сылаясь на выступление Молотова на 17-й партконференции, который говорил об обострении классовых борьбы в стране, потребовал «в целях защиты Советско-

* В редакцию недавно пришло письмо от Константина Федоровича Светильникова из города Енакиево, который в послевоенные годы жил, как и мать Павлика, в Алушке и, работая председателем исполкома Алушкинского горсовета, познакомился с нею. Светильников рассказывает, что относился в ту пору к Т. С. Морозовой сдержанно — его смущало, например, что она обращалась лично к Сталину с просьбой передать ей в собственность закрепленный за ней дом... Но после того, как Светильников поехал работать в Якутию, где был незаконно репрессирован, а после смерти Сталина сразу же освобожден (в 1955 году был восстановлен и в партии), он возвратился в Алушку, и вот тут-то его мнение о Т. С. Морозовой резко изменилось. Они встретились на похоронах общего знакомого...

«Мать Павлика Морозова, — вспоминает Светильников, — бросилась ко мне на шею, стала меня целовать, повторяя: «Ты наш, наш, мой родной», — и при этом громко рыдала. Когда я пришел домой, мама поведала мне: «Я ей рассказала о твоём аресте, она тогда заплакала и сказала: «Мой муж тоже так пострадал». Как позже я узнал, ее муж был председателем сельсовета...»

Союза расстрелять подсудимых». И суд, признав Кулуканова и Сергея, Ксению и Данилу Морозовых «виновными в убийстве на почве классовой мести» (ст. 58.8), приговорил их «подвергнуть высшей мере социальной защиты — расстрелять». Бабушка Павлика, как рассказывают в Герасимовке, умерла в ту же ночь — после приговора, и дед умер, не дождавшись исполнения приговора, а что касается Данилы, то в деревне бытуют слухи, что он не был расстрелян и по сей день где-то за Уралом живет.

Секретарь Уральского обкома комсомола Шац, постоянно призывавший к непримиримой борьбе «с контрреволюционным троцкизмом и гнилым либерализмом», получив по негласным каналам сведения об убийстве герасимовскими кулаками двух пионеров Морозовых (такова была первоначальная информация), мгновенно сделал все возможное, чтобы придать этому делу громкий политический резонанс. Уральская детская газета «Всходы коммуны» дала публикацию «Из постановления Президиума облбюро ДКО Уралобкома ВЛКСМ от 20 сентября 1932 года», в котором указывалось: «Отметить оппортунистическое отношение Тавдинского РК ВЛКСМ и райбюро ДКО к факту зверской расправы кулацкой шайки с пионерами-активистами Морозовыми из деревни Герасимовка, так как райком не принял нужных мер к организации политического протеста против неслыханной по злодеянию вылазки классового врага...» Обком призывал провести в свердловских школах митинги протеста.

После этого постановления Тавдинский райком комсомола и поспешил отправить в Герасимовку двух пионерских работников, Арефьева и Корчакова, которым удалось к концу сентября создать в школе, где учился Павлик, пионерский отряд уже из пяти человек. И накануне суда в Тавде пионеры районной образцовой школы обратились с открытым письмом к герасимовским пионерам, призывая их следовать примеру Павлика Морозова и помочь с выполнением плана хлебозаготовок, который никак не мог обеспечить и новый председатель сельсовета. А 16 декабря «Тавдинский рабочий» опубликовал соцдоговор пионеров герасимовской школы с родителями, в котором были такие строки: «Мы требуем не позорить нас и немедленно выполнить план хлебозаготовок».

И спустя год после гибели Павлика Морозова, о котором писали, что он погиб в борьбе с врагами колхозного строя, герасимовские крестьяне продолжали противиться насильственной коллективизации.

Я заказал в Ленинской библиотеке «Тавдинский рабочий» и за 1937 год и в номере от третьего сентября, в материалах к пятилетию гибели Павлика, обнаружил, что колхозная тема отошла уже на второй план (коллективизация к этому времени в стране завершилась, был создан колхоз и в Герасимовке, получивший имя Павлика Морозова). А Павлик теперь славился как пионер, разоблачивший отца. Приведу лишь одну цитату из передовой статьи того номера: «Четырнадцатилетний бакинский пионер Виталий Абрятян поступил так же, как Павел Морозов. Он узнал о своем отце, что он враг народа, и сообщил об этом органам НКВД».

История подлинного Павлика Морозова трагична. Он — жертва той жестокой борьбы, рушившей вековые нравственные ценности, выработанные нашим народом, — борьбы, в которой обесчеловечивание общества фарисейски именовалось скорейшим построением светлого будущего. Чтоб подкрепить иллюзии, лепились мифы. В герои одного из таких мифов и был избран убиенный Павлик Морозов.

Как же делался этот миф о «лучшем пионере» (эпитет «лучший» тогда был в ходу: Сталин — «лучший ленинец», Горький — «лучший пролетарский писатель») и кем он делался?

Когда начинающий журналист Павел Соломеин, который представлял на процессе в Тавде уральскую детскую газету «Всходы коммуны», возвратился в Свердловск, его вызвали в обком комсомола и поручили сделать книгу о Павлике Морозове. И дано ему было на это десять дней!

Соломеин отказывался — говорил, что никогда не писал книг. Но ему разъяснили, что раз поручают, то надо делать. И он принялся «делать». Комната его не отапливалась, и с едой было плохо, но он сутками не вставал из-за стола и выходил из дома лишь для того, чтобы проинформировать бюро обкома, как продвигается работа над книгой. В десять дней он не уложился, но через месяц принес рукопись в обком, где ее выправили и спешно заслали в набор. Меня занимает, кто участвовал в правке рукописи Соломеина —

может быть, и сами секретари обкома, среди которых находил человека с таинственной фамилией Икс, и уж наверняка пионерский вожак Урала А. Ломоносова, которая в своем предисловии к книге уверяет, что вчерашнюю Герасимовку не узнают: «Колхозный строй и машины передовой техникой изменяют ее лицо». Но я знаю уже, что ни колхозного строя, ни машин в 33-м году в Герасимовке еще не было, и могу представить поэтому, как «улучшала» та же Ломоносова рукопись Соломеина.

Дело в том, что Соломеин, на мой взгляд, самый совестливый биограф Павлика Морозова. Он родился в крестьянской семье, в восемь лет остался круглым сиротой, а к пятнадцати годам был уже атаманом беспризорников — имел десять приводов в милицию и восемь побегов из детдома. Он остро чувствовал несправедливость и принял писать из детдома в газеты — стал деткором, затем юнкором. Таков его путь в журналистику. 6 мая тридцать третьего года, сообщая читателям «Всходов коммуны» о выходе своей книги, Соломеин честно признавался: «Пишу я еще плохо».

Книга Соломеина называется «В кулацком гнезде», но я убежден, что название это книге дал кто-то из выправлявших ее обкомовцев. Автор бесхитростно рассказывает, как трудно жили герасимовцы, и никакого кулацкого гнезда в книге не обнаруживаешь. А к спецпереселенцам, как мне представляется, он относится с невольным сочувствием. Вот как он описывает этих «кулаков»: «Они приходили ночью с большими котомками на плечах, в рваных шубах, огромных шляпах...» Трофим Морозов же не вызывает у него симпатий хотя бы потому, что слишком жестоко начальствовал в былые годы: «Три раза был Трофим председателем Герасимовского сельсовета. Многих арестовывал он и отправлял в Тавду. А теперь сам пришел под конвоем...»

Но могу привести и целые абзацы, которые, на мой взгляд, были просто продиктованы Соломеину прямолинейными, поднаторевшими в классовых оценках советчиками из обкома комсомола. Такие «мелочи», как достоверность, психологическая убедительность, этих советчиков не занимали. Вот, например, какие мертвые слова четко произносит 13-летний деревенский мальчик (и не забудем, что деревня белорусская), обращаясь к судьям своего отца: «Я не как сын, а как пионер требую привлечь моего отца к суровой ответственности, чтобы в дальнейшем не дать поводу другим потворствовать кулакам и явно нарушать линию партии». Другой пример — показания на суде в Тавде бабушки Павлика, которая за недоносительство будет приговорена к расстрелу: «Старуха рассказала о своем жестоком муже, о хитром Кулуканове — главном вдохновителе убийства, и о тяжелой героической жизни Павла». Лихой абзац, не правда ли?

А история о том, как Павлик разоблачил своего отца, в этой книге выглядит так. Однажды ночью Павлик подсмотрел, заглянув в дверную щелку, как отец в своей горнице «дрожащими руками пересчитывал толстую пачку червонцев». Павлик решил выяснить, что это за деньги, и стал наблюдать за отцом. И вот... «Все уже спали. Трофим сидел в горнице и писал что-то, Павел не спал. В полночь он услышал, как скрипнули ворота, залаял Китай и в ограду выбежал отец. В горницу вошли двое. Павел встал и на цыпочках подошел к двери. Долго стоял на холодном полу, прислушиваясь к тому, что говорили за дверью. Так же бесшумно лег на койку, но долго не мог заснуть». А на следующий день пошел в сельсовет, когда отца там не было, и рассказал все, что высмотрел, человеку в военной форме (8 октября 1932 года, по следам событий, Соломеин, заметим, сообщал в своей газете, во «Всходах коммуны», что Паша ходил в Тавду, чтобы рассказать о проделках отца)... Трофим тут как раз оставляет семью, «но недолго пришлось жить ему с молодой женой...» Но вот что явно смущает — судом установлено было, что Трофим раздавал спасительные справки спецпереселенцам, уже уйдя из сельсовета... Недоучли, словом, товарищи Шац, Икс, а также и товарищ Ломоносова, что Соломеин, убедившись, что надо лепить миф, растеряется и обреченно согласится на любую — даже самую нелепую — правку.

Эту версию мне позволяет выстраивать письмо Соломеина к А. М. Горькому, которое хранится в Москве, в горьковском архиве (АГ, КГ — ни/а 23—58). Письмая Горькому свою книгу, он признается: «Книга написана по-смешному. Настоящие писатели, по-моему, так не пишут». И рассказывает, как делалась эта книга, как читает теперь он ее на пионерских кострах. А обратиться к Горькому его заставило вот что:

«После одного костра, где я читал, подошла ко мне девочка лет 12 и говорит:

— Почему их расстреляли?

— Кого?

— Данилку, стариков Морозов, Кулуканова?

— А что, тебе жалко их?

— Нет,— злобно сказала она.— Я бы сначала их изрезала помаленьку, маленьким ножичком, сначала бы нос, уши, губы обрезала, а потом наостре помаленьку изжарила их...

Алексей Максимович! Это значит, книга вызывает ненависть к классовым врагам? Но хорошо ли, что так сурово? А такие случаи были... несколько раз».

И вновь Соломеин, отправивший это письмо 25 августа 1933 года, оказался излишне наивен — не учел, что облаканный Сталиным Буревестник уже сложил крылья. За год до этого в стране прошли шумные торжества по случаю сорокалетия со дня опубликования в тифлисской газете «Кавказ» первого рассказа Горького «Макар Чудра». Постановлением Президиума ЦИК Горький был награжден орденом Ленина, и решено было «переименовать МХАТ в театр имени Максима Горького», а город Нижний Новгород — в город Горький и т. д. и т. п. И сам Сталин пожелал Горькому «долгих лет жизни и работы на радость всем трудящимся, на страх врагам рабочего класса».

Слишком каверзный вопрос задавал Соломеин тогдашнему Горькому, и великий пролетарский писатель и почетный пионер предпочел этот вопрос не заметить и раздраженно, резко ответил Соломеину, что книжка его — плохая: «Написана — неумело, поверхностно, непродуманно». Горький сожалел, что книга эта, которую читатель сочтет плохой выдумкой, не позволяет придать широкое социально-воспитательное значение поступку Павла Морозова в глазах пионеров. «Многие из них,— писал он,— вероятно, поняли бы, что если «кровный» родственник является врагом народа, так он уже не родственник, а просто враг и нет больше никаких причин щадить его». С каждой строкой письма Горький все более сержал: «Материал — оригинальный и новый, умный — испорчен. Это все равно, как если бы Вы из куска золота сделали крючок на дверь курятника или построили бы курятник из кедр, который идет на обжимки карандашей». После этого, правда, он счел возможным слегка утешить двадцатилетнего автора: «Люди, которые заставили Вас испортить ценный материал, конечно, виноваты более, чем Вы».

Представляю, как ошарашен был Соломеин ответом Горького, хотя, конечно, он сознавал, что слхопалот по делу. Ругал себя, очевидно, что взялся за такую работу — не устоял под нажимом комсомольских деятелей. Соломеин обещал, правда, что будет переделывать книгу, но мог ли он понять, как надо ее переделывать, читая, например, рассуждения о Павлике Морозове другого пролетарского классика — Демьяна Бедного: «В детстве я мечтал стать конокрадом. А вот Павлик мечтал о пионерстве, о социализме. Разных людей воспитывало старое время и воспитывает наше. Раньше выдумывали героев. Был такой выдуманный «герой» Иван Сусанин, который отдал за царя жизнь. Нам не надо выдумывать героев. Вот он живой герой — юный ленинец Павлик Морозов».

Лишь спустя двадцать девять лет — в 1962 году — Соломеин переиздал свою книгу, назвав ее «Павка-коммунист». В предисловии было сказано, что все эти годы автор осмыслил критические замечания Горького... Предисловие было подписано литобработчиком О. Коряковым, который утверждал, что книга «не содержит ни одного вымышленного лица или события». На самом деле ради «обогащения» книги спекулятивными домыслами и был прежде всего привлечен литобработчик, а тяжелобольной Соломеин смирился, что в книге, как и настаивал Горький, будет прежде всего усилена тема отца Павлика, как «врага народа». Обидно, что Соломеин согласился — уже после Двадцатого съезда партии! — на столь постыдную редакцию своей книги, выпущенной к 40-летию пионерской организации. Очевидно, он утешался тем, что при всем при том книга его в отличие от книг Виталия Губарева, который к тому времени уже монополизировал тему, все же не сплошной вымысел...

Какие же дополнительные улики — спустя двадцать девять лет! — изыскиваются в этой книге против отца Павлика? Павлику удается на этот раз услышать, какую цену берет отец за свои справки:

« — Не рядитесь, добрые люди, цена у меня твердая — три червонца за штуку.

За дверью бормотали:

— Ну спасибо тебе, хороший человек, выручаешь ты нашего брата. Спасибо, храни тебя господь».

Описывать ссыльных Соломеин — он помнил этих несчастных людей,— как и в первой книге, избегает. «Бородачи в лаптях и худых овчинных тулупах» — и все. Но вдруг читаешь строки, которых в первой книге не было:

«Он (Павлик.— Ю. З.) представил, как в большой прекрасный советский мир выходят из герасимовского урмана озверевшие кулаки, чтобы стрелять в коммунистов, убивать, разорять хозяйство в колхозах. И не знают их, не поймают: ведь у них есть обманные справки, выданные его отцом». Согласитесь, как синхронно мыслил литобработчик Коряков с поэтом Шипачевым.

Далее. Военный с наганом, к которому приходит Павлик, чтобы донести на отца, обретает фамилию — товарищ Кучин. Он инструктирует Павлика: «Во-первых, мы с тобой не знакомы... Я даже не знаю, что ты сын Трофима...» Если в книге «В кулацком гнезде» Трофима арестовывают в доме Кулуканова, где он гуляет с молодой Амосовой, то теперь, чтобы читатель поверил в подлинность взяток (помните сомнения Горького?), на четвертые сутки после встречи Павлика с Кучиным его отца берет дома — с поличным. Это происходит ночью. Павлик, делая вид, что спит, тем не менее видит, как отец приводит двух бородачей, продает им две справки, за тридцатку каждую, и похваляется, что может таких справок хоть сотню дать. Но один из бородачей вдруг говорит Трофиму, что за тридцать сребреников Иуда Христа продал...

«Тут они взглянули друг на друга и по команде сорвали с себя парики.

— Ты арестован, Трофим Сергеевич Морозов,— услышал Павка знакомый голос Кучина...»

Какой же книге того же автора верить: первой или второй? Свердловские издатели, думаю, рассчитывали на то, что первая книга была выпущена тиражом в десять тысяч экземпляров и уже в шестидесятые годы стала библиографической редкостью...

Надо сказать, что во второй половине тридцатых годов вышли — уже в Москве — еще две книги о Павлике Морозове, авторы которых тоже внушали читателям, что их книги — подлинный документ. Но один из них, Елизар Смирнов, который был общественным обвинителем на процессе в Тавде, утверждает, например, что Кулуканов дал Даниле (за убийство Павлика) не 30, а 16 рублей — хотел избежать, очевидно, расхожей беллетристической аналогии с тридцатью сребрениками. Пишет Смирнов и о том, что в пионерский отряд после гибели Павлика первым вступил его брат Алеша. Замечу лишь, что это не так, а историю Алеши я еще расскажу. Но вот знаменательный факт, который из всех биографов Павлика сообщает лишь Смирнов: «Помнит о нем (о Павлике.— Ю. З.) и тот, кто неустанно заботится о счастье народов — любимый вождь и отец всех ребят товарищ Сталин. Год тому назад (книга Смирнова издана в 1938 году.— Ю. З.) товарищ Сталин предложил Московскому Совету поставить у Красной площади памятник Павлику Морозову. Лучшие скульпторы, художники, а также сотни пионеров думали над проектом памятника. Теперь проект утвержден. Скоро у Александровского сада, при входе на Красную площадь, будет поставлен памятник...» Кто в те годы рискнул бы не выполнить указание Сталина? В каком закрытом архиве хранится документация, которая позволит узнать, почему же у входа на Красную площадь так и не был поставлен этот памятник?

Писатель Александр Яковлев, издавший книгу о Павлике в 1936 году, подключает к событиям в Герасимовке нового героя — товарища Самсонова (прообраз Кучина из второй книги Соломеина); а прежде чем втайне повидаться с Самсоновым, Павлик советуется со своей учительницей Зоей Александровной Кабиной, и та укрепляет его в убеждении, что если отец стал врагом, то — ничего не поделаешь — с ним надо бороться. Зоя Александровна живет сейчас в Ленинграде. Я приезжал к ней, но она была больна. Я побеседовал с ее дочерью, Галиной Ивановной, которая рассказывала, что многие из тех, кто писал в свое время о Павлике, бывали у них, и мать говорила им все, что помнила, а потом читала и удивлялась — ничего подобного она не говорила. Но ей объясняли, что так надо... И уж никакого Самсонова Зоя Александровна, естественно, не знала, и никогда Павлик не спрашивал у нее совета: надо ли сообщать в ОГПУ про отца...

А арестовывают Трофима (по Яковлеву) в доме Кулуканова, куда до этого к нему якобы приходит переодетый

в спецпереселенца милиционер, и он дает ему справку... Из этой книги узнаем также, что в лес за клюквой Павлика и Федю повела в то утро бабушка, которая знала, что ожидает ревет. Когда дед и Данила встретили их, бабушка «вотчас свернула в сторону, встала за дерево». А когда все было кончено — на обочине дороги осталась лишь рассыпанная клюква из Пашиного мешка... Нет, пересказ не даст представления о мифотворчестве Яковлева. Цитирую:

«Бабка подошла. Торопливо нагнулась, чтобы собрать ягоды в свою корзину. Но дед крикнул:

— Ты что? Очумела? Брось!

— Даром пропадут ягоды,— пробормотала бабка.

— Ничего. Тетерева склюют. Пойдем».

Прочитирую теперь — для сравнения — «Павку-коммуниста» Соломеина:

«В субботу она (Ксения Морозова.— Ю. З.) тоже ходила по ягоды на Круглый мошок, а когда вернулась поздно вечером, не узнала деда. Он осунулся и еще больше постарел.

— Куда это могли деваться Пашка с Федькой?

Морозов вскочил. Из-под лохматых бровей испытующе поглядел на жену.

— Нечего мертвых поминать,— прохрипел он.

— И Федюшку? — вздрогнула старуха.

— Ни за что пропал младенец, из-за коммуниста проклятого...

Морозиха опустила на колени перед потемневшей от времени иконой.

— Упокой, господи, душу усопшего раба твоего младенца «Федора».

Но возвратимся к Яковлеву. Он рассказывает, что когда бригада по хлебозаготовкам прибыла в Герасимовку и Павлик вместе с другими пионерами (по этой книге пионеров было 14, на самом же деле, как мы знаем,— лишь Паша да Яша) помогал заготовкам делать обыски и находить хлеб, то удалось взять хлеба в пять раз больше, чем намечалось. Если действительно так и было, то надо ли объяснять, почему Герасимовка вскоре окончательно обнищала и созданный впоследствии колхоз не вылезал из долгов...

Книги Яковлева и Смирнова сегодня забыты, Соломеин переиздавался лишь в Свердловске, и наши школьники уже много лет «проходят» Павлика Морозова по Виталию Губареву, который в 1932 году работал в «Колхозных ребятах», а позднее редактировал «Пионерскую правду». Его «Павлик», много раз переизданный, имеет миллионные тиражи.

Губарев, как и Соломеин, уже в тридцать третьем году написал повесть о Павлике Морозове, но издавать книгой ее не спешил, а напечатал лишь (в сокращенном виде) в «Колхозных ребятах». Назвав свою повесть «Один из одиннадцати» (еще один вариант численности пионерского отряда в Герасимовке), Губарев, однако, признался читателям газете, что «позволил себе сделать несколько отступлений от действительных событий, ввел ряд новых героев. Некоторые люди не указываются совсем...»

Первым делом Губарев усилил преступный образ классового врага — Кулуканова. Он разбогател, оказывается, еще в дореволюционные годы, организовав убийство и ограбление двух коровейников, которые привезли из Екатеринбург в Герасимовку и ситец, и серьги, и крепкий табак... Убийца, нанятый Кулукановым, понес наказание, а Кулуканов дал взятку начальству и вышел сухим из воды (в отдельном издании Губарев уже делает убийцей самого Кулуканова)... И деду Павлика, омолодив его попутно на двадцать лет, Губарев «ухудшил анкету» — не отец его, оказывается, а он сам служил в свое время тюремным надзирателем в Витебской губернии. А среди «новых героев» Губарев ввел зловещего хромого кулака из тех живущих недалеко от Герасимовки спецпереселенцев, которые «потихоньку в Герасимовку ходят и против колхозов всякое вранье говорят». Этот хромой и подкупает отца Павлика, обещая ему и кольца, и серьги, и царские червонцы. Разговор их Павлик подслушивает, притаившись у открытого окна, спешит к своему другу Яше Юдову, просит у него карандаш и чистую бумагу и пишет про отца в ОГПУ.

В отличие от остальных биографов Павлика Губарев не описывает суд над Трофимом — упоминает лишь, что он получил по заслугам. Приговор этого суда, как известно, повлек и конфискацию имущества Трофима Морозова, то есть имущество семьи Павлика, что труднообъяснимо, если учесть, что именно Павлик, как пионер, добивался сурового наказания отца... А что касается людей, которые автором «не указываются совсем», то это младшие братья Павли-

ка — Алексей и Роман. Это драматизирует финал повести — мать лишается единственных сыновей. А может быть, интуиция подсказала Губареву, что брат Алеша попадет со временем в такой переплет...

Как же определить жанр повести Губарева? Рассказывая реальную историю, он тем не менее не скрывает, что волю интерпретирует и судьбы конкретных людей, и факты. Очевидно, чтобы остаться в ладах с профессиональной этикой, ему следовало бы сделать еще один шаг — в сторону открытой беллетристики на злобу дня (взялся же Эйзенштейн, отталкиваясь от истории Павлика Морозова, делать фильм «Бежин луг», где действие происходило уже в тургеневских местах, а героя звали Степок). Но вот я беру одно из первых изданий губаревской книги «Павлик Морозов» (Крымиздат, 1949 г.) с предисловием Татьяны Морозовой, матери Павлика. Она утверждает, что «все происходило так, как он (Губарев.— Ю. З.) пишет». А Губарев еще больше отступает в книге от действительных событий и вводит еще одного нового героя — товарища Дымова (молодой брат Кучина и Самсонова). В предисловии Татьяны Морозовой есть и такие слова: «В годы войны я потеряла других своих сыновей...» Да, у нее на руках умер младший сын Роман, который возвратился с фронта тяжелораненым. Но Алексей был жив — он находился в заключении. Был судим военным трибуналом — якобы за попытку перелететь на самолете к немцам. В 1956 году Алексей будет полностью реабилитирован. Но как же в сорок девятом году мать, которая не верила в виновность сына, могла писать, что лишилась его? А дело в том, что, очевидно, сам Губарев писал от ее имени предисловие. Хотя он и рассказывал в своей книге, как Павлик учил мать читать, но в «Тавдинском рабочем» за 1937 год я нашел признание Татьяны Семеновны, что она по-прежнему остается неграмотной, а секретарь райкома партии тов. Беляев не заботится о том, чтобы научить ее грамоте и подготовить к вступлению в партию, хотя редактор «Колхозных ребят» тов. Наумова прислала его об этом...

Как же выглядит миф о Павлике Морозове, созданный Виталием Губаревым, в последнем, молодотвардейском (1984 г.) издании его книги?

Хромой кулак, высланный с Кубани, одаривает Данилу большими часами с серебряной цепочкой, и тот сводит его со своим дядей Трофимом Морозовым. За каждую справку хромой предлагает по тысяче (Соломеин, помните, называл тридцатку). Хромой вооружен, и в лесу ему удается ранить в голову представителя райкома Дымова. Трофим Морозов двуличен: на словах за колхоз, а на деле потворствует Кулуканову и другим богатым родственникам. Паша клеймит отца и за то, что он украл из кооператива большой кулек конфет. Но Трофим Морозов потому так ведет себя, что за его спиной секретарь райкома партии Захаркин (такого секретаря райкома в Тавде, естественно, никогда не было). Появляется раненый Дымов и сообщает, что Захаркин оказался врагом и тормозил коллективизацию (в более ранних изданиях книги этот Захаркин назывался троцкистско-бухаринским агентом). Паша тем временем проводит на лесной поляне сбор своего пионерского отряда, и они читают вслух «Мать» Горького. («У Павла горячо стучит сердце. Человека, о котором пишет Горький, тоже звали Павлом»). Придумай Соломеин такую сцену, быть может, Горький и не стал бы так топтать его книжку... Кулуканов, понимая, что от колхоза не отвертеться, вступает через Данилу в контакт с хромым кулаком с Кубани, и тот берет, купив у Трофима удостоверение, затем убить Дымова. Но затаившийся на печи Паша становится свидетелем сделки отца с хромым. Он соскальзывает с печи и стыдит отца, тот бросается на него, но неожиданно дверь распахивается и появляются люди во главе с Дымовым. У хромого вытаскивают из кармана наган, а Павлик указывает на сомканные удостоверения, проданные отцом, которые хромой бросил под лавку... И т. д. и т. п.

Читаю в январском номере журнала «Человек и закон» материал Вероники Кононенко «Посмертно... репрессировать?», в котором Владимиру Амлинскому, утверждавшему в прошлогодней «Юности», что Павлик Морозов стал «символом незаконного предательства», и другим писателям, предлагающим критически переосмыслить, наконец, образ Павлика Морозова, бросается обвинение, что они направляют «стрелы своего гнева в мертвого подростка», что это — надругательство «над реально существующим человеком

Вам
письмо!

«ГЛСНСТ?»

Уважаемая редакция! Мы, ваши читатели, склонны заподозрить вас в антисоветчине и антипартийности. Где-то даже в неблагоденствии. Что ж вы так оплошали, родные? Негоже...

Удивлены? Объясняем. В № 10 за 1988 год вашего журнала были напечатаны плакаты художников из объединения «Плацкарт»... Еще неясно? Начнем от печки...

До сих пор мы считали, что как-то должны участвовать в перестройке всей нашей жизни. Поэтому решили переменить наше отношение к праздничной демонстрации 7 ноября. Мысли такие: хватит радужных морд на плакатах, всяких призывов и краснощеких радостных рапортов о достижениях и успехах. Без радости, оно, конечно, тоже нельзя, но слишком серьезный повод задуматься: празднуем 71 годовщину, а Советской власти-то — 14 лет, по нашим подсчетам (1917—1928 и 1985—1988). Вот. Мы и задумались. И поскольку были уверены, что лозунги типа «Слава КПСС!» и «Решения... выполним!» понесут и без нас тысячами, мы решили сказать что-то свое.

Придумали, обратились в партком института, дабы утвердить наши лозунги. Сначала был отказ, затем под давлением прогрессивной части студентов и преподавателей-неконформистов партком дал добро и утвердил.

Лозунги были примерно такого порядка: «Долой монополию на истину!», «Дашь нзп: наведение элементарного порядка!», «Будущее страны и перестройки — в руках учителя!», «Бди в оба!» и т.д.

А перед самой демонстрацией сделали еще кое-что, но не успели предъявить на цензуру в партком. Это было: из уважаемого нами журнала «Юность» (упомянутого № 10) срисовали плакат М. Златковского «Глснст!», переделав только знак восклицания на знак вопрошания. Были еще два плаката, отпечатанных в гостипографии, резко направленных против культа Сталина, и еще — на черной бумаге белыми буквами слова Б. Гребенщикова:

«Может статься, что завтра стрелки часов Начнут вращаться назад. И тот, кого с плачем снимали с креста, Окажется вновь распят...»

7 ноября вышли к институту, встали в колонну. Радуюсь, что мы не как все. Поем революционные песни.

Охладили наши благие порывы члены парткома ЧГПИ во главе с секретарем Хламкиным В. А. Подошли, глянули и безапелляционно заявили, указав перстом на «Глснст?» и слова Гребенщикова: «Или вы уберете, или пойдете на демонстрацию отдельно от института». Тут-то бы нам и задуматься, покаяться да поспать грешные главы наши пеплом. Ан нет, встали за институтом, пошли...

Правда, была поддержка простого люда, кричали с тротуаров и из колонн: «Молодцы! Давай!», фотографировали нас и показывали оттопыренный вверх большой палец...

Воодушевленные, ступили мы на главную площадь града Челябинска. И тут-то, аки коршун алчущий, налетел на нас некий блюститель порядка в парадной офицерской шинели. Выхватил из рук нашего товарища «Глснст?» и с сердитым клегомом отлетел в сторону. Ответил, таким образом, на вопрос, нами начертанный: «Безгласная гласность?»

Далее, другой блюститель, с погонами старшего лейтенанта, рыская в оцеплении, кричал, чтоб мы убрали слова Гребенщикова.

Мы ж опять не вняли сему предупреждению и пронесли-таки мимо трибуны то, что осталось. Небеса не разверзлись, и гром не грянул, однако сомнениям нашим несть числа: а правильно ли мы поступаем? Ведь официально нигде не напечатали, что наказание за инициативу отменено...

Михаил ЧЕРЕНЁВ, III курс, филолог;
Алла ЦИБУЛЬСКАЯ, III курс, филолог;
(всего 10 человек) — студенты Челябинского
Государственного пединститута.

и его трагической судьбой». Кононенко упрекает писателей, что они не удосужились изучить дело № 347 (ей-то Прокуратура СССР это дело предоставила), материалы которого «значительно отличаются от того, что мы знаем о трагедии в Герасимовке». Об этих отличиях — речь впереди, но я не могу поверить, что Кононенко настолько наивна, что не сознает, какой Павлик развенчивается сегодня раскрепощенным общественным мнением. Я и сам попытался доказать, что такого Павлика, который создан выполнявшими спекулятивный социальный заказ мифотворцами, не было. Кононенко же пытается реанимировать этот миф, слегка подновив, подкрасив его. По прочтении дела № 347, доказывая, что и Кучин и Дымов — фигуры вымышленные, соблазняя ветерану Отечественной войны Кузьме Арсентьевичу Силину, который живет сегодня с репутацией лакостника Кузьки — сына «кулака» и антипода Павлика, она журит мифотворцев: «Как же ответственно надо нам, журналистам, относиться к своей работе, не гнаться за звонкой фразой и ложной занимательностью». Неужто действительно не понимает, что не ради «ложной занимательности» создавались мифические друзья и враги мифического Павлика — Лучшего Пионера, не пожалевшего родного отца, раз он оказался «врагом народа». Был главный миф — о Лучшем Ленинце, и бывший прокурор Шеховцов, который, уповая на судебные кляузы, титится отстоять этот миф, не случайно сопрягает эти два имени — Сталина и Павлика Морозова...

Но доказать, что реальный Павлик не доносил на отца, а в открытую вел борьбу за Советскую власть в Герасимовке, и стремится прежде всего Кононенко. Если допустить, что Павлик действительно мог не знать о справках, которые выдавал спецпереселенцам его отец, то тогда ставится под сомнение и многое другое в судьбе и поступках реального Павлика и всех остальных участников трагических событий в Герасимовке. (Кононенко же лишь ставит под сомнение — с сегодняшней точки зрения — излишне суровый приговор Кулуканову и бабушке Павлика.)

В подкрепление своей позиции она приводит письма первой учительницы Павлика, Л. П. Исаковой, и брата Алексея. Муж этой учительницы и был создателем коммуны в Герасимовке, и когда коммуна распалась, им пришлось бежать из деревни. Было это в тридцатом году, а Трофима Морозова вновь избрали председателем сельсовета в тридцать первом. Признаваясь, что про дальнейшую жизнь Павлика она не знает, ибо писем от ей не писал, так как не был силен в грамоте, Исакова тем не менее, негодует: «Прошли времена инквизиции, когда Илью Исакова оклеветали и уничтожили (ее муж был в тридцать седьмом репрессирован. — Ю. З.). Так почему в наши дни ученика моего предателем объявляют, репрессируют по смерти?»

Да именно потому, уважаемая Лариса Павловна, что прошли времена инквизиции, мы и спешим избавиться от залежалых мифов, а в былом герое готовы увидеть жертву.

А Алексей Трофимович клеймит своего корыстного отца — доживи он, дескать, до недавних времен, то хапал бы и золото, и бриллианты, как иные руководители, наследники которых не порывались уличить своих отцов. Павлик же, выступив против отца, не думал о выгоде: «Отец иногда хоть зарплату приносил, а как его забрали, мы по дворам с сумой начали ходить».

Алексей Трофимович и мне говорил об этом, но втянуть его в обстоятельный разговор, где правда, а где вымысел в книгах о Павлике, — мне, однако, не удалось. Мне показалось, что кто-то посоветовал Алексею Трофимовичу не говорить лишнего. Да, в конце концов он сообщил мне, что за рубежом уже вышла книга, порочащая Павлика, и автор ее, когда жил в нашей стране, успел поговорить еще со многими очевидцами и обернул теперь эти разговоры против Павлика. Об этой книге поминает и Кононенко, уличая ее автора, Ю. Дружников, в недобросовестности. Но я думаю, что пришло время, когда мы должны окончательно лишить западные издательства этого приоритета — обнародовать «белые пятна» нашей истории, спекулятивного мифотворчества.

Когда материал был уже подготовлен к печати, стало известно, что Бюро Центрального Совета ВПО имени В. И. Ленина подтвердило правильность своего решения от 1955 года о занесении в Книгу почета Всесоюзной пионерской организации пионера Павлика Морозова. Но вправе ли мы утверждать, что уже удалось отделить реального Павлика Морозова от мифического? А в детских библиотеках страны по-прежнему стоят на полках книги Виталия Губарева...



Александра
ЛАНИНА

ВСТРЕЧА

Рассказ

В городе Демине в тот майский вечер допоздна не смолкала музыка, и радостные голоса, и крики слышны были с танцплощадки. Разоренный в войну, город был отмечен высказыванием столичного писателя, которое повторялось всеми жителями как летописное упоминание.

Да и только.

В старину лежавший на перекрестке торговых путей — купеческий, белокаменный, — теперь забытый и затерянный в самой глуши района. И вот город ожил.

Весь вечер и всю ночь мать просидела на стуле в прихожей провинциальной гостиницы, то задремывая, то бормоча. Тот, кто открывал крашеную тяжелую дверь на пружине, а потом мимо окошка дежурной проходил к себе в номер, видел старую крестьянку во всем черном, со сложенными на коленях руками. Она сидела с обнаженной грудью, сморщенной и усохшей. Тихонько раскачивалась, точно старалась унять боль.

Под городом Демином, окруженным болотистыми лесами, раскопали останки неизвестных солдат. Такое случилось и раньше, но этой весной вдруг написали газеты, узнали и в области, и в столице. С тех пор вся жизнь словно перевернулась. Затемно громыхали по единственной улице грузовики, местные носились на мотоциклах, нарушая привычную тишину и выхлопами отбив пряные и теплые вечерние запахи: в мае раскидистыми деревьями, снизу доверху, здесь распускалась черемуха, на краю города у оврагов пахло осокой и тинной, и воздух дрожал от кваканья лягушек.

Теперь шли ночные заседания в райкоме, на них обсуждали ритуал торжественного захоронения; шофер гонял райкомовский «газик», радуясь необычным поручениям. И, как на пожар, поднимал с постели военкома, то срочно завхоза. Однажды спросонья завхоз в носках побежал по грязи к машине — ботинки в руке...

Солдаты из подразделения саперов, которых вызвали на раскопки, прогуливались после танцев с местными девушками и, собравшись у редких фонарей или под окнами гостиницы, хохотали, рассказывали анекдоты. В тот вечер долго не смолкал шум: вспомнив о городе, сюда приехал областной театр показывать пьесу из деревенской жизни. Где-то на улице допевали: «Моя-а дере-свня...»

А на деревянном стуле в гостинице, напротив окошка дежурной, все так же сидела мать, и ее, лишённую разума, невозможно было ни прогнать, ни заставить одеться. Мимо, хлопая дверью, с разговорами, проходили к себе в номер гости из столицы и местные почетные гости.

Мать пришла издалека. Уже две недели копали здесь по лесам, и на весеннее перепаханное поле, и на обочины дорог выносили в мокрых мешках кости и черепа и выкладывали на траве просушивать. Когда белые, вымытые дождями, когда зеленью поросшие и мхом, похожие на ветви, с которыми за долгие годы срослись, сроднились. Кто знает, почему мать вдруг подхватила и из своей дальней деревни, где остались они вдвоем с коровой, пешком, по непролазной грязи, пошла на Чипляево семь километров, а оттуда на автобусе добиралась в город. Попутчикам своим она говорила, что был у нее сон, будто она ворошит сено недалеко от дома, и обступают ее военные «усе у шинелях». А дальше путалась в рассказе, бормотала быстро, много, и в слезящихся глазах была радость, что за долгое время есть кому послушать. Попутчики менялись, а она за дорогу вспоминала и о муже, который сержантом погиб, и о сыне, который «погиб без вести», но больше всего жалела дочку — та умерла недавно в городской больнице. Потом, уже одна, шла по большой дороге мимо тех мест, где копали.

А над полем, над перевернутыми к севу непросохшими комьями, стояла еще утренняя дымка, и сизым казался лес вдаль, и оттуда, и лесной дали, куковала кукушка. Долго-долго жить этому лесу, и тяжелой весенней земле, и траве, и воздуху, застывшему в ожидании жары. И матери, и солдатам, которые копошатся у грузовиков, груженных ржавыми снарядями, все понятно и просто в просыпающемся дне...

Подставив солнцу крепкие молодые зубы и глазницы, забытые землей, лежали на траве раскопанные черепа, лежали и просушивались так, как хотелось живым. В том лесу, откуда их вынесли, все куковала кукушка.

Военком, майор Бойков, потирая красную шею — гудели вокруг болотные комары, — сошел с дороги на обочину, поднял с земли алюминиевую ложку. Повертел в руках, пальцем пощелкал.

— Вот и здесь буквы вырезаны: бэ — пэ. — Безмятежное лицо его чуть озадачилось. — Знать бы, какая дивизия оборонялась, это ж имена найти можно!

— Да я давно говорю, — отозвался шофер от райкомовского «газика»: начальство тоже приехало посмотреть на раскопки, и теперь он ожидал, попивая в тени лимонад. Пожаловался: — Комарье заело!

Майор облизал губы и улыбнулся по-детски простодушно: — Не знаю, как тут найти, — сдвинул фуражку на затылок.

Шофер поболтал оставшийся в бутылке лимонад, глянул на часы: пятнадцать минут до обеда.

— Как тут найти? — повторил военком. Вышел на асфальт, потопал ботинками, отряхивая приставшую грязь. — Но, конечно, хотелось бы!

Он и видел, и не видел, пока заводил мотоцикл, как пересмеивается с солдатами шофер «газика». Сегодня, с утра пораньше, решив доказать свою ретивость, военком разогнался на мотоцикле и врезался в кучу песка на обочине... Откуда она только взялась? Об этом уже знали все и пересказывали, смеясь, как военком полетел через руль, не получив ни одной царапины. «Не через руль, а на бок завалился», — краснея, поправлял майор и тут же, оставив смущение, неожиданно громко, простодушно хохотал.

Солнце уже стояло высоко, когда в лесу стало здорово пахнуть. Чавкал под ногами мох, кустики клюквы казались бесконечным светло-зеленым ковром, а лишайник, одинаково густо облепивший ветви елей, уводил все дальше в сказочный лес, и дурманили запахи. Иногда под сапогом что-то твердое — корень ли дерева? кость ли? Или ветка хрустнет, а думается, может, и здесь косточка.

Тут не думать, а чувствовать надо. Чувствует землю старик Мастыкин, грузный, хромой, на целине поморозивший ноги. Годами он ходит по здешним лесам, ставит опознавательные знаки и наносит их на самодельную карту. Копают сейчас в его владениях.

— Здесь, — говорит он отрывисто и зло. — Не лопатой, руками!

Солдаты охотно разрывают руками мох: Мастыкина чутье еще не подводило.

— Сами-то видите? Воронки — на каждый метр. Здесь передовая была. И наших на каждом метре положено... А! — И, махнув рукой, зловердно заканчивает: — Вы дальше

в лес не пойдете. У вас — приказ военко-ома, мол, в лес не углубляться! Знаю я...

Мастыкин уходит, унося досаду. За годы, когда никто не слушал его, а все только отсылали, скопилась в нем неимоверная гордость. Не признают его только в городе, а письма от людей идут и слава растет, потому что судьбы всех, кто лежит по этим лесам, у него в руках. Слово клубок невидимых нитей: захочет — потянет за нить. Он ходил по деревням, расспрашивал стариков, добрался и до архивов, а клубок все наматывался... Вернувшись домой поздним вечером, весь в грязи, вымокший, с лопатой и таинственным мешком за спиной, в сарайчике своем на краю города что-то разбирал, переписывал. У него теперь своя картотека! И уж эту картотеку лучше спалит, чем отдаст какому-нибудь олуху.

Мимо воронок с прозрачной водой, дно которых устлано ржавой хвоей, ходят саперы, по поясу голые, мокрые от влажной духоты. Работают они в бывшем блиндаже, руками по локоть в глинистой жиже. Облеплены комарами их спины, плечи.

Мастыкин идет мимо по лесу, грозит кому-то кулаком и обвиняет, обвиняет. Слово от него это и зависит, простить за всех тех, кто бесславно лежит подо мхом, или не простить. Он — не прощает.

Он сидит при свете маленькой лампы в сарайчике с покатою крышей, в духоте, где въедливо пахнет книгами, читает письма — дневную почту — и, выдвигая ящики картотеки, роется в фамилиях умерших. Вот они, все здесь, и жизни их только ему ведомы. Кого любили и ждали, у кого теперь внуки, правнуки, кого не ждали совсем... Потом обступают не то видения, не то сны, и он видит лица погибших с присланных фотографий и слышит их голоса, потому что коротенькие треуголки с фронта запоминаются навсегда; слышит и голоса родных. Он словно досматривает за погибших солдат их судьбы.

Мастыкин не приходил на ночные заседания в райкоме, но совсем не показаться, зная, что там будут из Москвы, не мог. Понимал, что ждут его каждый вечер и с облегчением вздыхают, расходясь по домам: и на этот раз старика не было. Усмехаясь, он решил вторгнуться где-то посередине последнего заседания, так сказать, «разворошить муравейник».

В тот день, все точно рассчитав по времени, он по дороге в райком подолгу останавливался на улице со знакомыми. С главной площади слышны были вальсы — духовой оркестр играл «В лесу прифронтовом». Под эту музыку старик узнал, что приехала в город московская кинохроника, завтрашнее траурное шествие должны снимать. Целых три самолета гражданской авиации пролетят низко-низко над толпой, разбрасывая листовки.

Добирая последнее раздражение, он смотрел, как у райисполкома человек десять школьников мели площадку, разгоняя кур и поднимая небывалую пыль; в пыли все релетировал оркестр.

За гранитной высокой стелой, закрывая от взоров неприглядные строения и свалку, солдаты соорудили забор. «Эх, лакировщики!» А на втором этаже в центральном кабинете распахнуты настежь окна, горит свет, слышны умиротворенные голоса.

Хлопнув дверью, Мастыкин вошел нарочно в ватнике, в грязных сапогах. И плюхнулся на стул у стены. Из своего угла старик с удовольствием наблюдал затянувшуюся паузу: не ждали уже... У предрика, председателя исполкома, покрабнела широкая лысина и побелел ножевой шрам. Лицо было испорчено от глаза до подбородка и солидному человеку с тяжелой крестьянской плотью придавало бандитский вид. Заерзали под столом чьи-то ноги. Друг от друга заражаясь напряжением, люди подбирались внутренне. И только военком по-прежнему широко улыбался и, словно не чувствуя грозы, легко вертел по-военному стриженой головой.

— Так где будем делать оцепление? — Сержант милиции потеребил фуражку на коленях.

— Какое еще оцепление?! — гаркнул председатель исполкома.

— От народа, — удивился сержант. Показал рукой: — Чтоб газон не потоптали.

— И как с лозунгами быть? — тихо добавила третий секретарь райкома, постукивая карандашом по столу. — Такое скопление людей... Нельзя не использовать для агитации. «Повысим надой молока», «Все на посевную!» — Поглядев на кинооператора из Москвы, объяснила: — У нас готовы лозунги «Никто не забывает...» — можно прямо на оборотной стороне написать.

Говорили они несмело, взвешивали каждое свое слово, помня о старике, который, словно ворон на суку, сидел и ждал скандала. И все же что-то необычное сегодня соединило этих людей за столом: торжественность, хотя и подавленная, чувствовалась в их взглядах. Из области сюда давненько не приезжали, а уж из Москвы — не припомнить когда. С тех пор, как одна область передала город другой, стали они «западные». В последнюю очередь рассматривались их просьбы, а то и вообще не доходили. Но вдруг прошумел Дёмин, и понаехали к ним отовсюду. Такое теперь не скоро предвидится. Да будет ли вообще?

И все-таки скандал разразился.

...— Безо всяких лозунгов! — пронзительно крикнул старик Мастыкин. — В ящиках, в мешках из-под картошки один раз хорошили. Мол, где гробы взять?! А тут сразу взялось! А знаете, что жители многие годы к этому военному обращались: пойдут в лес за клюквой, а там кости видны... Каждый мальчишка видел!

Майор Бойков почесал затылок, однако не смутился:

— Как только заявят люди — все прибрали. А как же? Оставлять тут нельзя. Недавно одна бабка целый день водила по лесу. «Вот тут, родимые, вот тут...» Заговаривается уже. Разве можно им верить?

— Ты, старик, нам праздника не порть, — вдруг решительно сказал председатель исполкома. И посмотрел на Мастыкина спокойно и строго. Слово за ночные заседания, за эти две недели почти мобилизации воспрянул он духом, как на войне. И теперь не боялся. — Не порть нам праздника, — повторил с чувством.

Солнце садилось, и прохлада пришла в город вечерняя. На площади, прибранной и пустынной, зажгли у стелы газовый факел. В отяжелевшем сумеречном воздухе легко и бесшумно горело пламя, словно окруженное глухотой: в этот час обычно вымирали улицы. Лишь две старухи в платочках стояли поодаль под почерневшим навесом автобусной остановки и, облокотившись на ее бортик, смотрели на огонь. Они называли тех, кого уже нет на свете, вспоминали ушедшее и концами платочков вытирали дряблые, морщинистые щеки.

А мать, которую оставили в гостинице только потому, что случайно заглянул и узнал ее Мастыкин, тоже сидела-вспоминала. Лет пять назад, когда жива была дочка и речь матери и память ее не пугались, старик приехал в деревню и, подивившись тому, как живет она одна, стал расспрашивать о боях. Торопясь, чтобы не задерживать (Мастыкина ждал грузовик), с неопишуемым светом в глазах мать рассказывала все, что знала. Вытащила и свои фотографии: «Посмотри, я не такая была, я была примерным человеком. А вот мой дорогой муж, погиб на третий год войны, сержантом. Вот за мужем за каким я была! Он был не простым... А сама — тридцать три года дояркой вручную, вот они, мои пальцы. Я примерным человеком была, только двадцать почетных грамот у меня, а теперь совсем первобытная, даже времени не знаю». Она кивала на стену, где висели остановившиеся ходики.

Потом почти бежала, провожая Мастыкина к машине. И все-таки упростила его свернуть с тропинки. Раздвинув палочкой бурьян, показала: здесь их дом стоял до войны, пока не сожгли немцы; вагнулась и начала руками разгребать листья, расчищая какие-то белые и желтые кафелины. «Это от походной немецкой кухни». Хотела отблагодарить старика за его приезд. И довольно была, что открыла все, чем владела: спокойно на душе стало.

У грузовика Мастыкин оглянулся: «Как ты, бабка, волков не боишься? Небось воют по ночам». — «Я не волков, а людей боюсь. Мало ли кто забредет, подумают, деньги у меня... А нету у меня денег!» С тем и уехал он, и долго еще стояла мать на дороге и смотрела ему вслед.

...Ранним утром, когда в гостинице прозвучали по радио первые позывные и мать, забывшаяся недолгим сном, встрепенулась, в пяти километрах от города на шоссе уже стояли грузовики с установленными на зеленом лапнике красными гробами. Здесь же, на шоссе, как на плацу, военком обучал саперов парадному шагу: они должны были пройти по городу торжественным маршем. Майор выделил высокого, статного парня с наивным, почти детским лицом: «Пойдешь впереди колонны». И теперь перед строем, в тяжелых сапогах изо всех сил пытаясь тянуть носок, солдат в замедленном темпе поднимал ногу и все ж таки шлепал с грохотом всей ступней, от старания чуть подпрыгивая.

Через несколько часов по обеим сторонам главной улицы собралась толпа. Выстроили на дороге первоклассников

с цветами — встречать процессию; учителя что-то взволнованно объясняли им. Отдельно стояли ветераны с орденскими планками. Торжественная, сновала тут и там секретарь райкома, на высоких каблуках, в диковато-красном костюме. А толпа все прибывала, и долгим казалось ожидание...

Медленно, под звуки траурного марша, двигались к городу грузовики, а по сторонам, соблюдая ритуал, шли молодые солдаты с винтовками. Простреленные и проеденные ржавчиной каски лежали на кумачовых гробах. Так везли перемешанные и безмянные судьбы, косточки — все, что разрывами было разбросано и под одним мхом омывалось одними водами, что высушивалось на солнце. Так везли обезличенных временем, оторванных от болота, где отдали свою плоть, перевитых общей судьбой и травой; когда-то согретых дыханием материнским, но уже давно утеревших дыхание и ко всему — даже к смерти — безразличных. Везли, чтобы предать другой земле, где слаще ли?

Саперы, вспотевшие больше от напряжения, чем от усталости, шли сквозь городскую толпу, видели матерей в черном, ловили «сыночки», обращенное то ли к ним, то ли к тем, кого везли они. Душу разъедала музыка, и то, что кругом плакали, и то, что во включенных микрофонах ухал ветер, напоминая орудийные залпы, уже провозжая павших и хороня. Под эту канонаду были речи про положение в мире и про то, что полным ходом идут полевые работы. Так начинал каждый по привычке выражать мысли и чувства не за себя, не от себя. Потом, твердо соблюдая старшинство и порядок, руководители города подходили к приготовленным еще с вечера длинным глубоким ямам и кидали комья рыжей глины. Притихшей толпе слышно было, как внизу ударяется глухо сырая тяжелая земля. Председатель исполкома вдруг попросил у одного из солдат лопату и, скинув пиджак, сам стал засыпать. Но поднялся ропот...

Уже давно, отделившись от остальных, стояли у забора старухи, одетые в черное, и ждали, чтобы их тоже кто-то позвал проститься.

— А нам-то можно подойти?.. Нам-то когда дадут команду?.. — говорили они, обращаясь друг к другу, и топтались на месте.

Но председатель не видел, увлекшись, а остановить его никто не решался. Тогда высокая старуха сама вышла вперед и сказала отчетливо:

— Я должна проститься!

За ней подходили другие матери, набирали в платочки земли, вставали на колени у края ямы; кто-то заголосил... И толпа — успокоенно и облегченно вздохнула.

Когда все было закончено и самолеты пролетели, выпустив шлейф листовок, саперы отошли в тень к пустым машинам и теперь могли, закурив, обменявшись шутками, разрядиться за весь день.

— Пять километров так отшагать! — улыбался, оглядывая остальных, тот плечистый солдат, который шел впереди колонны. — Даже в затылке гудит...

— А еще раз — слабо?

— Ну, если Родина прикажет...

Наутро они уезжали в часть.

Дивной была ночь накануне отъезда. Город приходил в себя и неспешно открывал свои тайны. Нависло небо без звезд, было тепло и безветренно: где-то в тучах накапливался дождь. В оврагах выросал белый туман и, медленно поднимаясь, окутывал пустыри, переулки, старые дома; в тумане, как под мягким пологом, ходили по городу, обнявшись, те, кого свела здесь судьба. В самом воздухе, тяжелом и теплом, в ожидании дождя таилось столько добра, любви, счастья. И мир, и счастье, что так желанны в юности, распаиваясь, изумляли впервые. Очертания деревьев сквозь туман, белыми привидениями встающая черемуха и волны ее запаха — все в эту ночь творило грезы и обещало, обещало.

И бесконечными казались их шаги в темноте, они не чувствовали ни земли, ни усталости, не ступали, а плыли. И до утра было так далеко, и не кончалась ночь, чтобы потом вспоминаться всю жизнь. В теплом густом тумане сидели, бродили они, иногда вдруг ощущая себя не собою, словно кто-то за них здесь ходит, и не было ничего радостнее той ночи, что была им подарена.

Поэзия



Генрих
КАЦ

☆☆☆

Мир умнеет. Разве это странно?
Сколько узнаем за пять минут!
Электронки к голубым экранам
Сгустки информации несут.
Космос, радиация и полюс.
Сен-Симон, Готье и Архимед.
Магнетизм, зарядка и прополис —
Панацеи от великих бед.
Словно попки, важно повторяем
Формулы былинки и дождя.
Кажется, по-крупному теряем,
Лишь крупницы знаний находя.
Знания любой откроют ларчик.
Смогут убедить наверняка
Доводы биологов, что мальчик
Должен превратиться в старика.
Убедят с позиций сопромата —
Если превратился лес в дровья,
Тонкая береза виновата,
Жесткость невысокая ее.
Отхватив от знаний только малость,
Не переварив ее пока,
Постепенно мы теряем жалость
К стенам и упрекам старика.
Плачет старость, лес ломает ветер.
Только подойдет и наш предел.
Вдруг не будет никого на свете,
Кто б нас, очень умных, пожалел?

☆☆☆

Как хочется плакать на сплаве!
Еще молоко на губах...
Толкуют в палатках о плане.
О мокрых тяжелых кубах.
Попробуй не хныкать от зуда
Разбитых ладоней и плеч
И три непохожие блюда
Из кильки в томате извлечь!
Гудели нахально и ровно,
Пикуруя с неба, шмели.
Корявыми лапами бревна
Вцепились в песок на мели,
Похожие на крокодилов,
На суше теряющих прыть.
Но вряд ли на Вишеру с Нила
Смогли б крокодилы доплыть!
На пару ребят выходило
За смену 12 кубов —
Двенадцать кубов крокодилов,
Скребущих сучками зубов.
А солнце всюю польхало.
И грустно шутили они:
Хоть губы корой обметало,
Быстрее молоко высыхало,
Поскольку под сорок в тени.

ОБЛАКО В ПРОЗЕ

Юношеские стихи
Юрия ОЛЕШИ



Думаю, нет и не будет объяснения, отчего в Одессе в начале XX века вдруг возникло это поэтическое брожение, которому позднее было дано название «Юго-Запад». Так Эдуард Багрицкий назвал свою первую книгу, так Виктор Шкловский определил это движение, которое, родившись у берегов Черного моря, затем перемещалось — в стихах, в прозе, в образе жизни — в Москву.

«Лирические стихи Юрия Олеси интересны, как запись ощущений молодого человека, который еще не умеет вспоминать и записывать прозу», — объяснял все всегда знавший Виктор Борисович Шкловский.

А были ли эти лирические стихи интересны самому Юрию Олеше?

Возможно, для него тогда это просто был единственно приемлемый способ существования. Футбол, любовь, Ришельевская гимназия, католический храм, смерть сестры — художницы Ванды, увлеченность авиацией, общий самогипноз тех дней, предшествовавших войне 1914 года, и выливались в гармоничную форму — стихи.

«Когда я был маленьким, в мире еще уделялось немало внимания фейерверкам», — позднее вспомнит Ю. К. Олеша. И его стихи тоже были фейерверками, где русские слова игриво перемежались французскими, где метафоры рождала история.

«Я не знал, что я переживаю инкубационный период болезни, и не понимал, что же происходит со мной. Почему меня вдруг начинает так знобить?..

— Облако, — говорит врач. — Тиф — это облако. Тифос — по-гречески облако. Вы в облаке.

Он говорил так со мной потому, что ненавидел меня за то, что я поэт».

Облако рождало поэзию. Море рождало стихи, высекало пушкинские ритмы, пушкинские размеры. Юрий Олеша написал целый цикл стихов, посвященных пушкинским трагедиям, он позволил себе продолжить путешествие Онегина, приведя героя романа в Одессу меж двух революций... Это еще 1917 год, это Одесса, юмористический журнал «Бомба».

«Я написал тогда цикл стихов на темы пушкинских произведений, с десятком вещей, каждая из которых являлась своего рода иллюстрацией к тому или иному произведению... Они у меня не сохранились, эти юношеские стихи; в памяти лежит только несколько обломков... Это было не совсем плохо!»

И все же пушкинские стихи Юрия Олеси уцелели, не исчезли за прошедшие 70 лет. «Пиковая дама», «Каменный гость», «Моцарт и Сальери». К ним примыкают отрывки из поэмы под названием «Пушкин». Все это отыскалось в старых одесских журналах, и вдруг вспомнилось, что Юрий Карлович когда-то провидчески утверждал: «Ничего не должно погибать из написанного».

А вообще-то стихов было у Юрия Олеси много. Можно было выпускать книгу. Но он не спешил. Почему? Много позднее он обмолвился — они были «слишком профессиональны». Для них, детей вдохновения, импровизации, профессионализм был тогда бранным словом. Приехав в Москву (а, увы, в Одессе не осталось ни издательств, ни журналов), Юрий Олеша использовал свое профессиональное умение писать стихи, чтобы в «Гудке», где собрались И. Ильф, Е. Петров, М. Булгаков, вести стихотворный фельетон под изысканным псевдонимом «Зубило». Вот эти книжицы «Зубила» из печати выходили, но поденщина не мешала тогда Юрию Олеше работать над «Завистью», над рассказами.

Он стал поэтом в своей прозе больше, чем в стихах. И его книга «Ни дня без строчки» — это поэзия горечи, поэзия отчаяния, поэзия распада. Что произошло? Почему блестящий стилист, умница, фантазер Юрий Олеша, задумавший роман «Нищий», не написал ни этого романа, ни других произведений, соразмерных «Вишневой косточке», «Любви», «Лиомпе», «Трем толстякам», «Зависти»? Вчитайтесь в его речь на I Всесоюзном съезде писателей, попробуйте представить себе его жизнь в 1936—1938 годах — и ощутите, что означало в реальной жизни столкновение поэта и колбасника...

Облако осталось в прозе, точнее, в микропрозе — во фразах. Стихи Юрий Олеша перестал писать. И остался автором — навсегда — однотомника прозы и пьес. И еще десятков стихов, написанных в молодости, тогда же напечатанных в одесских журналах, но не собранных до сего дня.

Евгений Голубовский.
г. Одесса

Кровь на памятнике

Народ покрыл красным флагом
голову памятника Екатерине

Из тьмы веков вошла тяжелым шагом
На голый пьедестал торжественная новь
И голову царицы красным флагом
Закутала... И пурпур, точно кровь,
Стекает вниз по бронзовому телу...
Какому здесь трагическому делу
Судьбой воздвигнут грозный эшафот?
За кровь пролитую бескровная расплата...
А с Запада над городом встает
Из давних снов, как призрак, тень Марата
И смотрит, как пурпурово течет
По памятнику кровь и как мелькают птицы
Над трупом обезглавленной царицы.

Апрель, 1917

Бульвар

(Из цикла «Стихов об Одессе»)

На небе догорели янтари
И вечер лег на синие панели
От сумерек, от гаснущей зари
Здесь все тона изящней акварели...
Как все красиво... Над листвою, вдали,
Театр в огнях на небе бледно-алом,
Музей весь синий. Сумерки прошли
Между колонн и реют над порталом...
Направо Дума. Целый ряд колонн
И цветники у безголовой пушки,
А дальше море, бледный небосклон
И в вышине окаменелый Пушкин...
Над морем умолкающий бульвар
Уходит вдаль зеленою дорогой.
А сбоку здания и серый тротуар
И все вокруг недостижимо строго.
Здесь тишина. И лестница в листве
Спускается к вечернему покою...
И строго все: и звезды в синеве,
И черный Дюк с протянутой рукою.

Одесса, 1917

Триолет

Любовь течет, как триолет,
Где надо, строки повторяя —
Разнообразная такая,
Любовь течет, как триолет...
У каждой множество примет —
Как сад цветя, как иней тая —
Любовь течет, как триолет,
Где надо, строки повторяя.

Одесса, 1917

Пушкин

Моя душа — последний атом
Твоей души. Ты юн, как я,
Как Фауст, мудр. В плаще крылатом,
В смешном цилиндре — тень твоя!
О смуглый мальчик! Прост и славен
Взор, поднятый от школьных книг,
И вот дряхлеющий Державин
Склонил напудренный парик.
В степи, где плугом путь воловий
Чертила скифская рука, —
Звенела в песнях южной крови
Твоя славянская тоска.
И здесь, над морем ли, за кофе ль,
Где грек считает янтари, —
Мне чудится арапский профиль
На фоне розовой зари, —
Когда я в бесконечной муке
Согреть слезами не могу
Твои слабеющие руки
На окровавленном снегу.

Одесса, (1918)

Пиковая дама

Швырнул шинель. Прошел упруго,
Блестя в паркете. Игроки.
Затянуты затылки туго
В галунные воротники.
Вошел. Слуга склоняет плечи,
В чулках и белом парике.
Струится синий дым, и свечи
Коптят амуров в потолке.
В трюме повторенный, весь в белом,
Сиятельный кавалергард.
Сукно, запачканное мелом,
Зеленое — рябит от карт.
«Здорово, Германн!» — Он поклона
Не замечает. Подошел.
И профилем Наполеона
Склонился и глядит на стол.
Столпились, кто-то звякнул шпорой,
Облокотившись на сукно,
И оглянулся тот, который
В бокалы наливал вино.
Почудились улыбки прелесть,
И плечи в бантах, взгляд — и вдруг:
Чепец, трясущая челюсть
И вены исхудалых рук.
А после тягостно и прямо
Посмотрят мертвые глаза,
И лежит пиковая дама
Взамен счастливого туза.

Одесса, <1918>

Каменный гость

В голубизне вечерних окон
Тревожны взлеты поздних птиц,
Печален взор и темный локоп
Дрожит у траурных ресниц.
О, Донна Анна! вздрогнут плечи,
И мягко изогнется стан,
И легким вздохом будет встречен
В ботфортах пыльных Дон-Жуан.
И может быть — но так не скоро —
Забудется для нежных губ
Печаль над телом Командора
И звуки похоронных труб.
Но будет слышно, как по залам
Пройдет меж слуг, упавших ниц,
Он — и протянет над бокалом
Ужаснейшую из десниц.
О, Дон-Жуан! А на погосте,
Где ивы, ирисы и тишь —
Над ликом Каменного гостя
Летучая метнетсямышь.

☆☆☆

Когда вечерний чай с вареньем в теплых булках
И крепко и душист — мне любо вспоминать,
Как было хорошо в приморских переулках
В оранжевой листве шелковицу искать...
О, детство давнее! О, краденые дыни
И капитан Майн Рид, в те дни наивных вер, —
Когда на берегу, бродя по красной глине,
Я, замирая, ждал разбойничьих галер...
И так прошли года, овеванные пылью
Да запахом садов, легки, как дальний звон,
Чтобы всплывать во сне неуловимой былью,
Из розовой страны, где яркий сбился сон.

Одесса, 1918

Публикация Е. ГОЛУБОВСКОГО

Андрей СИНЯВСКИЙ

ДИССИДЕНТСТВО КАК ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Андрей Донатович Синявский стал широко известен читающей публике в 60-е годы, когда одновременно в научных академических изданиях и литературно-критических журналах (главным образом, в «Новом мире» времен Твардовского) публиковались его статьи о советской литературе. Он был и любимцем студенческой молодежи, которая слушала его лекции — сначала в Московском университете, затем в училище МХАТа (вплоть до ареста).

В октябре 1965 г. А. Д. Синявский и его друг Юлий Даниэль были арестованы за публикацию своих произведений на Западе. В феврале 1966 г. мы стали свидетелями беспримерного судебного процесса — беспримерного не только потому, что людей судили за слово, но и потому, что обвиняемые были первыми людьми, не раскаявшимися на процессе, как этого от них требовали. Они не признали себя виновными, несмотря на давление следователей, судей, общественных обвинителей и огромного количества доброхотов, которые ничего и не читали из книг Синявского и Даниэля, но своими письмами во все инстанции требовали применения к ним самых суровых мер.

А. Д. Синявского судили за повесть «Суд идет», которой он начал свою литературную работу (1955 г.), повесть «Любимов», рассказы («Атаманы» и др.), заметки о литературе и статью «Что такое социалистический реализм?». Хотя материалы процесса не публиковались в советской прессе, ясно было, что Синявского и Даниэля судят за смелость и независимость мышления.

Отсидев в лагере без малого 6 лет, Синявский пробовал вернуться к легальной литературной работе. В Москве того времени это оказалось невозможным. Писатель был обречен на судьбу изгоя, тогда он попросил разрешения выехать с семьей на Запад (1973 г.).

Публикуемая статья «Диссидентство как личный опыт» — духовная исповедь А. Д. Синявского — была написана в 1982 г. и зачитана публично на симпозиуме в одном из американских университетов, а позже опубликована в журнале «Синтаксис»¹.

С ведома автора статья печатается с сокращениями.

Г. БЕЛАЯ, профессор МГУ

Мой опыт диссидентства сугубо индивидуален, хотя, как всякий личный опыт, он отражает в какой-то мере более широкие и общие, разветвленные процессы, а не только мой жизненный путь. Я никогда не принадлежал к какому-либо движению или диссидентскому содружеству. Инакомыслие мое проявлялось не в общественной деятельности, а исключительно в писательстве. Притом в писательстве на первых порах тайном и по стилю закрытом, темном для широкой публики, не рассчитанном ни на какой общественно-политический резонанс.

Первый период моего писательского диссидентства охватывает примерно десять лет (с 55-го года и до моего ареста). Тогда я тайными каналами преправлял за границу рукописи и, скрывая свое имя, печатался на Западе под псевдонимом Абрам Терц. Меня разыскивали как преступника, я знал об этом и понимал, что рано или поздно меня схватят, согласно пословице «сколько вору ни воровать, а тюрьмы не миновать». В результате само писательство приобрело характер довольно острого детективного сюжета, хотя детективы я не пишу и не люблю и, как человек, совсем не склонен к авантюрам. Просто я не видел иного выхода для своей литературной работы, чем этот скользкий путь, предосудительный в глазах государства и сопряженный с опасной игрой, когда на карту приходится ставить свою жизненную судьбу, свои человеческие интересы и привязанности. Тут уж ничего не поделаешь. Надо выбирать в самом себе между человеком и писателем. Тем более опыт писательских судеб в Советском Союзе дает понимание, что литература — это рискованный и подчас гибельный путь, а писатель, совмещающий литературу с жизненным благопо-

лучием, очень часто в советских условиях перестает быть настоящим писателем.

С самого начала литературной работы у меня появилось, независимо от собственной воли, своего рода раздвоение личности, которое и до сих пор продолжается. Это — раздвоение между авторским лицом Абрама Терца и моей человеческой натурой (а также научно-академическим обликом) Андрея Синявского. Как человек, я склонен к спокойной, мирной, кабинетной жизни и вполне ординарен. <...> И я был бы, наверное, до сего дня вполне благополучным сотрудником советской Академии наук и преуспевающим литературным критиком либерального направления, если бы не мой темный писательский двойник по имени Абрам Терц. Этот персонаж в отличие от Андрея Синявского склонен идти запретными путями и совершать различного рода рискованные шаги, что и навлекло на его и соответственно на мою голову массу неприятностей. Мне представляется, однако, что это «раздвоение личности» не вопрос моей индивидуальной психологии, а скорее проблема художественного стиля, которого придерживается Абрам Терц, — стиля ироничного, утрированного, с фантазиями и гротеском. Писать так, как принято или как велено, мне просто неинтересно. Если бы мне, допустим, предложили описывать обычную жизнь в обычной реалистической манере, я вообще отказался бы от писательства. И поскольку политика и социальное устройство общества — это не моя специальность, то можно сказать в виде шутки, что у меня с Советской властью вышли в основном эстетические разногласия. В итоге Абрам Терц — это диссидент главным образом по своему стилистическому признаку. Но диссидент наглый, неисправимый, возбуждающий негодование и отвращение в консервативном и конформистском обществе.

Здесь уместно немного отвлечься и напомнить, что всякая настоящая литература в новой истории — это чаще всего отступление от правил «хорошего тона». Литература по своей природе — это инакомыслие (в широком смысле слова) по отношению к господствующей точке зрения на вещи. Всякий писатель — это инакомыслящий элемент в обществе людей, которые думают одинаково или, во всяком случае, согласованно. Всякий писатель — это отщепенец, это выродок, это не вполне законный на земле человек. Ибо он мыслит и пишет вопреки мнению большинства. Хотя бы вопреки устоявшемуся стилю и сложившемуся уже, апробированному направлению в литературе.

Может быть, писателя в принципе надо убивать. Уже за одно то, что, пока все люди живут как люди, он пишет. Само писательство — это инакомыслие по отношению к жизни. <...> Мне говорили в тюрьме по поводу моих сочинений: «Лучше бы ты человека убил!» Хотя в этих сочинениях я не писал ничего ужасного и не призывал к свержению Советской власти. Достаточно уже одного того, что ты как-то другому мыслишь и по-другому, по-своему ставишь слова, вступая в противоречие с общегосударственным стилем, с казенной фразой, которая всем управляет. Для таких авторов, так же как для диссидентов вообще, в Советском Союзе существует специальный юридический термин: «особо опасные государственные преступники». Лично я принадлежал к этой категории. <...>

Между тем я не был с самого начала таким плохим человеком. Мое детство и отрочество, которые падают на 30-е годы, протекали в здоровой советской атмосфере, в нормальной советской семье. Отец мой, правда, не был большевиком, а был в прошлом левым эсером. Порвав с дворянской средой, он ушел в революцию еще в 1909 году. Но к власти большевиков, сколько она его ни преследовала за прежнюю революционную деятельность, он относился в высшей степени лояльно. И соответственно я воспитывался в лучших традициях русской революции или, точнее сказать, в традициях революционного идеализма, о чем, кстати, сейчас не столько не сожалею. Не сожалею потому, что в детстве перенял от отца представление о том, что нельзя жить узкими, эгоистическими, «буржуазными» интересами, а необходимо иметь какой-то «высший смысл» в жизни. Впоследствии таким «высшим смыслом» для меня стало искусство. Но в 15 лет, накануне войны, я был истовым коммунистом-марксистом, для которого нет ничего прекраснее мировой революции и будущего всемирного, общечеловеческого братства.

Хочу попутно отметить, что это довольно типичный случай для биографии советского диссидента вообще (доколе мы говорим о диссидентстве как о конкретном историческом явлении). Диссиденты в своем прошлом — это чаще всего

¹ «Париж», № 15, 1985 г.

очень идейные советские люди, то есть люди с высокими убеждениями, с принципами, с революционными идеалами. В целом диссиденты — это порождение самого советского общества послесталинской поры, а не какие-то чужеродные в этом обществе элементы и не остатки какой-то старой, разбитой оппозиции. На всем протяжении советской истории существовали противники Советской власти, люди, ею недовольные или от нее пострадавшие, ее критикующие, которых тем не менее невозможно причислить к диссидентам. Мы также не можем назвать диссидентами, например, Пастернака, Мандельштама или Ахматову, хотя они были еретиками в советской литературе. Своим инакомыслием они предварили диссидентство, они помогли и помогают этому позднейшему процессу. Но диссидентами их назвать нельзя по той простой причине, что своими корнями они связаны с прошлым, с дореволюционными традициями русской культуры. А диссиденты — это явление принципиально новое и возникшее непосредственно на почве советской действительности. Это люди, выросшие в советском обществе, это дети советской системы, пришедшие в противоречие с идеологией и психологией отцов.<...> Их нельзя обвинить в чужеклассовом происхождении или в том, что они не принимают революции как люди, от нее потерпевшие. И это не политическая оппозиция, которая борется за власть. Характерно, что политический акцент в диссидентстве вообще притушен и на первый план выдвигаются интеллектуальные и нравственные задачи. Этим, в частности, они заметно отличаются от русских революционеров прошлого. И если производить какую-то, условно назовем, «революцию», то в виде переоценки ценностей, с которой и начинается диссидентство. У каждого диссидента этот процесс переоценки ценностей происходит индивидуально, под воздействием тех или иных жизненных противоречий. У каждого нашелся свой камень преткновения. Для очень многих диссидентов, мы знаем, таким камнем преткновения был XX съезд партии в 56-м году. Не потому, что только тогда у них открылись глаза на колоссальные преступления прошлого. А потому, что, раскрыв какую-то часть этих преступлений, XX съезд и вся последующая советская идеология не дали и не могут дать этому никакого, сколько-нибудь серьезного, исторического объяснения. И хотя режим относительно смягчился после Сталина, это не привело к либерализации и демократизации государственной системы как таковой, что послужило бы хоть какой-то гарантией человеческих прав и человеческой свободы. В итоге XX съезда советским людям было просто предложено, как встарь, во всем доверяться партии и государству. Но эта вера слишком уж дорого стоила в недавнем прошлом и чересчур далеко завела. И вот у диссидентов партийная или детская вера в справедливость коммунизма уступает место индивидуальному разуму и голосу собственной совести. Поэтому диссидентство — это прежде всего, на мой взгляд, движение интеллектуальное, это процесс самостоятельного и бесстрашного думания. И вместе с тем эти интеллектуальные или духовные запросы связаны с чувством моральной ответственности, которая лежит на человеке и заставляет его независимо мыслить, говорить и писать, без оглядки на стандарты и подсказки государства.

Лично у меня этот «общедиссидентский» процесс протекал несколько по-иному. Временем переоценки ценностей и формирования моих индивидуальных взглядов была эпоха второй половины 40-х — начала 50-х годов. Эта эпоха позднего, зрелого и цветущего сталинизма совпала с моей студенческой юностью, когда после войны я начал учиться на филологическом факультете Московского университета. А главным камнем преткновения, который привел к обвалу революционных идеалов, послужили проблемы литературы и искусства, которые с особой остротой встали в этот период. Ведь как раз тогда проводились ужасающие чистки в области советской культуры. На мою беду, в искусстве я любил модернизм и все, что тогда подвергалось истреблению. Эти чистки я воспринял как гибель культуры и всякой оригинальной мысли в России. Во внутреннем споре между политикой и искусством я выбрал искусство и отверг политику. А вместе с тем стал присматриваться вообще к природе советского государства — в свете произведенных им опустошений в жизни и в культуре. В результате смерть Сталина я уже встретил с восторгом... И потому, начав писать «что-то свое, художественное», заранее понимал, что этому нет и не может быть места в советской литературе. И никогда не пытался и не мечтал это напечатать в своей стране, и рукописи с самого начала пересылал за границу. Это было просто выпадением из существующей литературной системы и лите-

ратурной среды. Пересылка же произведений на Запад служила наилучшим способом «сохранить текст», а не являлась политической акцией или формой протеста.

Поэтому, когда меня арестовали и когда начался второй период моей писательской жизни, я не признал себя виновным в политических преступлениях. Это было естественным поведением, а не какой-то хитростью с моей стороны. Вообще человек, попав в тюрьму, должен вести себя естественно, и только это помогает. Писателю, в частности, естественно утверждать, что литература неподсудна и не является политической агитацией и пропагандой, как это утверждает советское правительство, ведущее, кстати говоря, свободно и неподсудно политическую агитацию на Западе... Таким образом, мне и моему другу Юлию Даниэлю удалось остаться на позиции «непризнания себя виновными», вопреки давлению суда и органов госбезопасности. Это довольно тяжелое давление, связанное с твоей жизнью и жизнью твоей семьи. И наше «непризнание» сыграло определенную роль в развитии диссидентского или, как его называют, демократического движения, хотя мы прямо с этим движением никак не были связаны, а действовали в одиночку. Дело в том, что раньше на всех публичных политических процессах в Советском Союзе «преступники» (в кавычках и без кавычек) признавали себя виновными и каялись, и публично унижались перед советским судом. На этом и строилось советское политическое правосудие. Конечно, и раньше находились люди, не раскаявшиеся и не признавшие себя виновными. Но об этом никто не знал. Они погибли в неизвестности. А внешне все обстояло гладко: «враги народа» сами признавали себя «врагами народа» и просили, чтобы их расстреляли или, еще лучше, чтобы их не расстреливали, потому что они исправятся и, испутив свою вину перед Родиной, станут хорошими, честными советскими людьми. Со стороны властей это было приведением родины к единому знаменателю, к «морально-политическому единству советского народа и партии». Нам, диссидентам, удалось эту традицию нарушить. Нам повезло остаться самими собою, вне советского «единства». И в нашем с Юлием Даниэлем судебном эпизоде произошло так, что это получило огласку и поддержку в стране и на Западе, в виде «общественного мнения». Все это случилось помимо нашей воли. Находясь в тюрьме и стоя перед судом, мы не предполагали, что вокруг нашего процесса начнется какой-то другой процесс. Мы были изолированы и не могли думать, что это вызовет какие-то «протесты» в стране и за рубежом и поведет к какой-то цепной реакции. Мы просто были писателями и стояли на своем.<...>

Теперь я обращаюсь к третьему и последнему периоду моего диссидентского опыта, который относится к эмиграции, к сегодняшнему дню. На этом материале я хочу несколько задержаться, поскольку он особенно сложен и, на мой взгляд, драматичен. При этом я почти не буду касаться собственно Запада. Меня интересуют в данном случае диссидентско-эмигрантская среда и печать, в которую мне довелось окунуться достаточно глубоко и вынести оттуда весьма неутешительный личный опыт.

То, что в самое последнее время происходит с диссидентами, приехавшими на Запад, я бы обозначил понятием «диссидентский нэп». Это понятие я употребляю не как научный термин, а скорее, как образ по аналогии с тем колоритным периодом советской истории, который начался в 20-е годы, после гражданской войны, и продолжался лет пять или семь.<...> Как известно, это сравнительно мирный и благополучный период, позволивший народу вздохнуть относительно свободнее и немного откорчиться. Вместе с тем это время разгрома всяческих оппозиций и создания мощной сталинской консолидации, время перерождения революции как бы в собственную противоположность, в консервативное, мещанско-бюрократическое устройство. Достоин удивления факт, что в годы нэпа многие герои революции и гражданской войны проявили себя как трусы, приспосабливцы, покорные исполнители новой государственности, как обыватели и конформисты. Значит ли это, что они в недавнем прошлом не были подлинными героями? Нет, безусловно, они были героями, они шли на смерть и ничего не боялись. Но изменился исторический климат, и они попали как будто в другую среду, требующую от человека других качеств, а вместе с тем — как будто в свою среду победившей революции. И вот вчерашние герои если не погибают, то превращаются в заурядных чиновников.

Теперь переведем некоторые черты нэпа на наш диссидентский опыт. Попав на Запад, мы оказались не только

в ином обществе, но в ином историческом климате, в ином периоде своего развития. Это мирный и сравнительно благополучный период в нашей собственной истории. Нам приходится выдерживать испытание — благополучием. А также испытание — демократией и свободой, о которых мы так мечтали. В диссидентском плане нам ничто не угрожает, кроме собственного перерождения. Ведь быть диссидентом на Западе (диссидентом по отношению к советской системе) очень легко. То, что в Советском Союзе нам угрожало тюрьмой, здесь, при известном старании, сулит нам престиж и материальный достаток. Только само понятие «диссидент» здесь как-то обесцвечивается и теряет свой героический, свой романтический, свой нравственный ореол. Мы ничему, в сущности, не противопоставим и ничем не рискуем, а как будто машем кулаками в воздухе, думая, что ведем борьбу за права человека. Разумеется, при этом мы искренне желаем помочь и порою действительно помогаем тем, кого преследуют в Советском Союзе, и это надо делать, и надо помнить о тех, кто там находится в тюрьме. Только с нашей-то стороны (и об этом тоже стоит помнить) все это уже никакая не борьба, не жертва и не подвиг, а скорее благотворительность, филантропия. А даже заработок, средство собственного прокормления, а иногда, к сожалению, и доходное предприятие. Вот это последнее обстоятельство вносит порою не совсем благородный привкус в диссидентское дело на Западе.

Я не называю никаких имен, потому что дело не в именах, а в тенденциях. А тенденция состоит, к сожалению, в том, что бывают случаи, когда диссидент, оказавшись на Западе, теряет главное свое преимущество — независимость и смелость мысли и идет в услужение какой-то диссидентско-эмигрантской корпорации или какому-то диссидентскому босу-идеологу. И говорит уже не то, что думает, а то, что от него требуется. И свое приспособление мотивирует словами: «А здесь иначе не проживешь!» Причем это говорит человек, который вчера еще рисковал жизнью за свои убеждения. Что же получается? В Советском Союзе, в тюрьме, он был внутренне свободным человеком и мог жить по-своему, по-другому, чем большинство, не поддаваясь никакому давлению и никакому подкупу? А здесь, в ситуации свободы, он приспосабливается к обстановке, потому что вдруг выясняется, «здесь иначе не проживешь»? Свобода, выходит, для него, для диссидента, психологически опаснее, чем тюрьма? Дайте нам свободу, и мы станем рабами? Или прав Великий Инквизитор Достоевского, сказавший, что люди не любят свободы и ее боятся, а ищут какую-то опору в жизни, в виде хлеба, авторитета и чуда? Люди ищут перед кем бы преклониться и «чтобы непременно все вместе», ищут «общности преклонения» перед каким-то авторитетом, которому они и отдают свою свободу... Однако мы здесь занимаемся не проблемами человеческой истории и психологии вообще, а конкретным явлением — диссидентством. Так вот применительно к диссидентам на Западе главная опасность приспособленчества или конформизма состоит, мне кажется, в потребности общего, непременно общего, совместного преклонения перед чем-то или перед кем-то.

Здесь следует учитывать специфику эмигрантской жизни. Ведь, приезжая на Запад, мы оказываемся очень одинокими и страдаем от своего одиночества. И это особенно касается русских людей, которые привыкли к более тесному дружескому общению, чем это мы наблюдаем в западном образе жизни. Естественно, мы ищем своих людей, свою среду и таковую находим в виде диссидентско-эмигрантского сообщества. И легко идем на уступки этой среде и ее авторитетам, поскольку боимся ее потерять, а выбор весьма и весьма ограничен. Единомыслие, которое возникает в этой среде, узость этой среды и ее замкнутость, а порою ее консервативность и подчиненность одному авторитетному лицу, иногда даже материальная зависимость от этого лица и от этой среды — все это и создает благоприятную почву для развития конформизма. При этом мы сами не всегда замечаем, как из диссидентов мы становимся конформистами. Ведь мы не совершаем предательства, не переходим из одного лагеря в другой лагерь. Мы только слегка приспосабливаемся. Но точно так же не замечали своего перерождения герои революции в период нэпа. Ведь они не изменяли идеалам коммунизма. А только из революционеров становились послушными партийными функционерами. Вот почему я боюсь, что мы в эмиграции, под теплым крылом демократического Запада, сами того не желая и не сознавая, воспроизводим в миниатюре прообраз советской власти. Только с другим, антисоветским знаком. Да еще существенное различие: у нас нет своей полиции и нет своих тюрем. Но своя цензура уже

есть. И свои доносчики тоже уже есть. Только опять-таки западная полиция почему-то не принимает наши доносы. Ах, да, мы забыли: ведь здесь же демократия!

Для стороннего зрителя, который интересуется нашими проблемами, не всегда понятно, о чем и почему так горячо спорят между собою советские диссиденты, выехавшие на Запад. И почему у нас нет единства взглядов: ведь все же мы — диссиденты. Лично я считаю, что у нас единства больше, чем достаточно. Даже с излишком, в ущерб нашему диссидентству. Ведь диссиденты по своей природе это не какая-то политическая партия и даже не идеология. Отказ от советской идеологии предполагает не только инакомыслие по отношению к этой идеологии, но также разномыслие внутри инакомыслия. Если мы еретики, то ересей должно быть много. И в этом, мне представляется, ценность диссидентства, которое в идеале не зачаток новой церкви или нового, единого антисоветского государства, но плюралистическое общество, хотя бы на бумаге. Я говорил уже, что советские диссиденты по своей природе это интеллектуальное, духовное и нравственное сопротивление. Спрашивается теперь: сопротивление чему? Не просто ведь советскому строю вообще. Но — сопротивление унификации мысли и ее омертвлению в советском обществе. И если мы хотим, чтобы вольная русская мысль, вольное русское слово и культура развивались, нам необходимо разномыслие. Это важнейшее условие развития русской культуры. Почему на Западе возможно разномыслие, а у нас, у диссидентов, не может быть и не должно быть разномыслия? Мы такие же, между прочим, люди. С зачатками разума, правосознания...

Помимо того, в диссидентском движении (в особенности на эмигрантской почве) в последнее время происходит очевидный раскол. Это раскол на два крыла или направления, которые условно можно обозначить как «авторитарно-националистическое» крыло, во-первых, и «либерально-демократическое», во-вторых. По природе своей диссидентство либерально и демократично, и с этого оно начиналось. И потому были и остаются синонимами: «советские диссиденты» — или «демократическое движение». «Национально-авторитарное» крыло выявилось позднее и вступило в противоречие, как мне кажется, с основными посылками диссидентства. Понятно, в результате и в процессе этого раскола, который еще не закончился, вспыхивают сейчас серьезные и принципиальные разногласия. Они-то и составляют основу наших споров.

Сам я принадлежу к либерально-демократическому крылу. Не потому, что я верю в скорую победу свободы и демократии в России. Напротив, в такую победу я совсем не верю. Во всяком случае, я не вижу такой перспективы в ближайшем, обозримом будущем. Но в условиях советского деспотизма русскому интеллигенту подобает, на мой взгляд, быть либералом и демократом, а не предлагать какой-то иной вариант нового деспотизма. Пускай, допустим, у демократии как социально-государственного устройства нет никакого будущего в России. Все равно наше призвание оставаться сторонниками свободы. Ибо «свобода», как и некоторые другие «бесполезные» категории — например, искусство, добро, человеческая мысль, — самоценна и не зависит от исторической или политической конъюнктуры.

Вот почему я не могу согласиться с теми диссидентами, которые предлагают сменить коммунистический деспотизм другой разновидностью деспотизма — под национально-религиозным флагом, пускай, может быть, подобные перемены исторически осуществимы. И хотя сам я принадлежу к православному вероисповеданию и очень люблю древнерусскую культуру, а также многих писателей и мыслителей славянофильского круга, mei я в современном русском национализме весьмастораживает и охлаждает идеализация государственных и социальных порядков России в ее прошлом. Я против смешения ценностей духовных и земных, религиозных и политических. Скажем, многие современные русофилы склонны упрекать Запад за формализованный образ жизни, за то, что здесь господствуют юридические и рационалистические категории «закона» и «права», тогда как, дескать, России изначально присущи понятия христианской «любви» и «милости». И «милость» выше «закона»... Да, согласен. Божественная милость и любовь выше и больше всех человеческих, установленных на земле законов. Но в применении к государственному устройству мне эта теория представляется опасной и оскорбительной. Опасной — для человека, оскорбительной — для религии. Ведь деспотическим государством (при всех его религиозных склонностях) в действительности управляет не Бог, не Христос, а царь или

вождь, который, к сожалению, нередко больше похож не на Бога, а на черта, даже если это православный царь. Конечно, этот царь имеет возможность проявлять «милость» в обход «закона». Но сама эта «милость», для того чтобы проявиться, нуждается в невероятной, бесконтрольной, самодержавной власти. А такая власть на практике оборачивается не любовью и не милостью, а казнями. Точнее говоря, много-много казней и немножко милости. Так что уж лучше, на мой вкус, формализованный и реалистический «закон», чем царская «милость».

Русские диссиденты, попав на Запад, подчас побаиваются здешней демократии. Им кажется, Запад вот-вот развалится под напором монолитной, тоталитарной системы Советского Союза. И предлагают Западу перестроиться на более авторитарных началах. Да и будущей России соответственно желают не демократии, а более прочной авторитарно-теократической системы управления. В итоге люди, которых западная демократия, можно сказать, спасла от гибели, теперь, ею спасенные, хотели бы ее ограничить. Отсюда же нравоучительные и учительские сентенции Западу со стороны некоторой части советских диссидентов, которые этот Запад впервые видят и плохо знают.

Наверное, нам следует быть скромнее и, передавая Западу свой печальный опыт, остерегаться учить его, как жить и строить свое фундаментальное западное общество. Своё общество мы уже построили в образе коммунистического государства, от которого не знаем куда деваться... Новые русские националисты, правда, на это возражают, что все наши российские беды пришли с Запада. С Запада явился марксизм. С Запада пришел либерализм, подточивший самодержавно-патриархальные устои России. С Запада проникли инородцы (поляки, евреи, латыши, венгры), которые и произвели Октябрьскую революцию. Все это поиски виновного где-то на стороне. Не мы виноваты, а кто-то чужой. (Запад, мировой заговор, евреи...) По существу, это отчуждение собственных грехов и оплошностей. Мы-то хорошие на самом деле, мы — чистые, мы — самые несчастные. Потому что мы — русские. А это «черт» вмешался в нашу историю...

То, что я говорю здесь, — это кощунство, с точки зрения националистов. За подобные настроения русские националисты называют русских либералов (и меня, в частности) — русофобами. Мы, дескать, так же как прогнанный, либеральный, атеистический Запад, вкупе с коммунистами, ненавидим русский народ и Россию. От этого обвинения трудно защититься. Ведь не кричать же в голос, что ты любишь Россию? Смешно... По моим-то наблюдениям, русофобов не так уж много за Западе. Подобного же типа «русофильская» позиция содержит неуважение к русскому народу. Если Россию завоевала кучка инородцев, то какова же цена этой великой нации? И если России противопоказана демократия, то не значит ли, что сам народ в такой трактовке склонен к рабству? К стати говоря, эта боязнь демократии применительно к русскому народу имела горькие прецеденты в нашей истории. «Русские патриоты» так долго не решались отменить крепостное право в России — из опасения: как же дать свободу русскому мужику? Ведь без помещичьей опеки он сразу бросит работать и сопьется!.. <...>

Как это ни странно, в нашей среде на Западе большим успехом и влиянием пользуется авторитарно-националистическое крыло, нежели демократическое. Это связано с тем, что по самому психологическому складу авторитарное направление более партийно, дисциплинированно, прямолинейно, более повинует авторитету «вождя», нежели демократы, которым по природе свойственны терпимость, плюрализм, разномыслие. Кроме того, основная масса старой эмиграции, составляющая большинство русской публики, или, так сказать, здешняя российская почва поддерживает национализм и сторонников авторитарной системы в силу своей застарелой, еще монархической консервативности. Для старых эмигрантов дореволюционная Россия — это непререкаемый идеал, к которому, по их представлениям, только и мечтает вернуться нынешняя народная Россия, оккупированная большевиками. Одна милая пожилая дама в Париже, узнав, что я недавно из Москвы, спросила, бывал ли я когда-нибудь в московских церквях и встречал ли там «наших». «Каких наших?» — прощтал я испуганно. Она ответила: «Белых!» На этом уровне понимания диссиденты-демократы, приезжающие на Запад, что-то вроде «советских бесов», специально засланных сюда большевиками для того, чтобы «разоружить» последний оплот Отечества.

<...>Интересно, однако, что и западные круги порою

склоняются в пользу русских националистов и авторитарников, хотя диссиденты-демократы им психологически ближе. Логика здесь такая: свобода и демократия хороши для Запада, а для России нужно что-нибудь попроще и пореакционнее. Как для дикарей.

Сошлюсь, в виде иллюстрации, на частный разговор, который был у меня недавно с одним очень умным и тонким западным советологом. По своим убеждениям и вкусам он либерал и демократ, но политическую ставку делает на русский авторитаризм и национализм. Как человека культурного, его шокирует грубость этого направления, и, будь он русский, он никогда бы к нему не примкнул. Но оно ему представляется более перспективным и выгодным для Запада движением, нежели русские демократы. Я его спрашиваю: «А вы не боитесь, что в результате на смену советскому режиму или скорее всего в виде какого-то с ним альянса в России просто-напросто восторжествует откровенный фашизм?» Оказалось, это его несколько не смущает. В русском фашизме он видит реальную альтернативу советскому коммунизму и надеется, что русский фашизм, занявшись своими национальными делами, спасет Запад от коммунизма. Я не столь оптимистичен. Кроме того, на мой взгляд, от коммунизма Запад должен спасаться собственными силами, а не с помощью чьих-то фашизмов. Но главное разноречие состоит в том опять-таки, что для русской культуры нужна свобода, а для моего западного собеседника русская культура — дело третьестепенное и вообще необязательное. Ему важно спасти мир от катастрофы. За такие большие задачи, как спасение мира, лично я не берусь. У меня узкая специальность: писатель.

В заключение мне остается лишь подтвердить мое «диссидентство». Под обвалом ругани это нетрудно. В эмиграции я начал понимать, что я не только враг Советской власти, но я вообще враг. Враг как таковой. Метафизически, изначально. Не то чтобы я сперва был кому-то другом, а потом стал врагом. Я вообще никому не друг, а только враг... Разумеется, Запад на эти «русские штучки» только радостно улыбается: экзотика. Ведь Запад не читает русскую прессу по ту и по другую сторону океана. А я — читаю. И вижу. И вот какой вывод: там, в Советском Союзе, я был «агентом империализма», здесь, в эмиграции, я «агент Москвы». Между тем я не менял позиции, а говорил одно и то же: искусство выше действительности. Грозное возмездие настаивает меня оттуда и отсюда. За одни и те же книги, за одни и те же высказывания, за один и тот же стиль. За одно и то же преступление.

Психологически это немного похоже на страшный сон во сне, который не может окончиться. Знаете, как бывает во сне: вроде бы проснулся, а это только еще худшее, еще более глубокое продолжение твоего сна. Куда ни кинься — ты враг народа. Нет, еще хуже, еще страшнее: ты Дантес, который убил Пушкина. И Гоголя ты тоже убил. Ты ненавидишь культуру. Ты ненавидишь «все русское» (раньше, в первом сне, это звучало «ты ненавидишь все советское», а впрочем, «все русское» я уже тогда тоже ненавидел). Ты ненавидишь собственную мать (уже покойную). Ты антисемит. Ты человеконенавистник. Ты Иуда, который предал Христа в виде нового, коммунистического, национально-религиозно-Возрождения в России. Сам-то я, в уме, думаю, что я, при всех недостатках с Христом, а не с Антихристом. Но мало ли что я думаю... Все это субъективно. Объективно же, то есть общественно, публично, я враг всему прекрасному на свете. И более того, всему доброму, всему человеческому... Хватаюсь за голову. Спрашиваю себя: как я мог дойти до таких степеней падения? А ведь был когда-то хороший мальчик. Как все люди. Но, видимо, общество лучше меня знает, кто я такой. После советского суда — пожалуйста — эмигрантский суд. И те же улики. Конечно, не посадят в лагерь. Но ведь лагерь — это не самое страшное. Там даже хорошо по сравнению с эмиграцией, где скажут, что ты вообще ни в каком лагере не сидел, а послан «по заданию» — разрушить русскую культуру...

Один вопрос меня сейчас занимает. Почему советский суд и антисоветский, эмигрантский суд совпали (дословно совпали) в обвинениях мне, русскому диссиденту! Всего вероятнее, оба эти суда справедливы и потому похожи один на другой. Кому нужна свобода? Свобода — это опасность. Свобода — это безответственность перед авторитарным коллективом. Бойтесь — свободы!

Но проснешься, наконец, утром после всех этих снов и криво усмехнешься самому себе: ты же этого хотел? Да, все правильно. Свобода! Писательство — это свобода.

Елена
СЕСЛАВИНА

БЕЗ РОЗОВЫХ ОЧКОВ

Стереотипы возникают быстро и могут прекрасно заменять собственные мысли. Вот очередная московская публикация по «национальному вопросу», и опять не обошлось без трогательных авторских признаний в том, что на эту тему недавно не то что не говорили, но и думать-то не думали... А может, не хотели задумываться?

«...Если остальные проблемы в большей или меньшей мере публично обсуждались, то, как нам кажется, конфликты, возникающие на национальной почве, до сих пор истолковывались только как хулиганство. Поэтому в нашем письме внимание уделено прежде всего национальному аспекту социальных конфликтов». Это написано в Эстонии — не нынешней, пережившей прошлой осенью учредительный съезд Народного фронта. Написано в то время, когда в представлении человека со стороны эта республика связывалась преимущественно с хорошо отреставрированным старым Таллинном, вкусными молочными продуктами, «европейским» уровнем культуры (и даже сферы обслуживания), сдержанностью и корректностью как чертами национального характера. В то время, когда эстонские писатели создали интеллектуальную «лабораторную» прозу, которая позволяла сказать все, не называя ничего спрятать боль за иронией, объективизацией... 28 октября 1980 года сорок эстонских интеллигентов обратились в газеты «Правда», «Рахва Хяэль», «Советская Эстония» — они с тревогой писали о перекосах демографической политики (в результате ввоза рабочих для развития подчиненных «центру» предприятий); о сужении сферы употребления родного языка, о нарушении экологического равновесия... Как легко догадаться, тогда письмо не увидело света, а его авторы надолго лишились возможности печататься. Читатели смогли ознакомиться с письмом только в июле 1988-го на страницах журнала «Радуга».

Почему именно «Радуга»?

В этом есть своя логика. Двухязычный молодежный журнал «Викеркаар» — «Радуга»¹ начал выходить в июле 1986-го. Конечно, дата рождения не заслуга, но во многом определяет судьбу, в том числе и судьбу издания. В данном случае эта дата означает, что в соевем недавнем прошлом нет привычки к умолчанию, обходным маневрам; нечего стыдиться, скажем, панегириков идеологам стагнации и т. п. За год, предшествовавший появлению «Радуги», в нашей жизни многое изменилось. Казавшиеся на первых порах почти безумными выступления «нового» «Огонька», «Московских новостей» показали возможности гласности. Выступили — сначала по конкретным поводам, потом и с более серьезными, концептуальными материалами — «Известия» и «Советская культура»; в ход пошла тяжелая артиллерия «толстых» журналов... Читатель отложил детективы и фантастику ради возвращенных произведений и статей на «внутренние» темы. Мирно (смирно) описательная журналистика на глазах сменилась иной, ставящей перед собой целью изменять окружающее. Ключевой проблемой для любого издания стала позиция: скажи мне, что ты читаешь...

В республиках не торопились за москвичами, присматривались: нет ли знаков того, что все вернется на круги своя? Знаки были, но местного, частного происхождения (глас Нины Андреевой раздался позже и звучал во всю мощь, к счастью, недолго).

В республике изменилась прежде всего эстоноязычная печать. Тартуская газета «Эдази» начала публиковать материалы о «белых пятнах» недавней истории. Впервые было сказано о депортациях, массовых высылках коренного населения за Урал до войны и в послевоенные годы. В печати и на телевидении появились материалы о начавшейся разработке залежей фосфоритов в городе Раквере, расположенном как раз в центре северной Эстонии — между Нарвой и Таллинном; реализация этого проекта дала бы, помимо желаемого народнохозяйственного эффекта в виде удобрений, еще и другой — исчезновение питьевой воды в регионе... Словом, как только появилась возможность говорить о наблевшем, появилась эстонская публицистика (а еще в начале 1985 года, помнится, писатель Леннарт Мери, один из самых ярких сегодня «экологистов», мягко и равнодушно убеждал меня в бесполезности этого жанра). Но, пока публицистика расцветала на эстонском языке, русскоязычная печать помалкивала, продолжая сохранять «хорошую мину». Из-за разницы в информированности русскоязычных и эстонских читателей образовалось как бы два круга общественного мнения, почти не пересекавшихся.

Конец этому положил двухязычный журнал «Радуга». В издании, целый год строившемся на публикациях, так сказать, гуманитарно-просветительского характера (представление о них могут дать рубрики: «Блокнот философа», «Школа читателя», «Краткий курс поэтики»), появилась статья лингвиста Мати Хинта «Двухязычие: взгляд без розовых очков». Она и стала «точкой пересечения». Хинт подверг пересмотру положения о языке, казавшиеся аксиоматическими. Он усомнился в беспорности того, что взаимодействие «языка межнационального общения», русского и языка коренного населения всегда благотворно. Двухязычие есть способность индивидуума пользоваться двумя языками в равной или приблизительно равной степени. Но с лингвистической точки зрения, писал М. Хинт, иностранным является любой не родной язык.

О благотворных сторонах двухязычия — это облегчение ведения общего хозяйства, возможность приобщаться к мировой культуре — написано чрезвычайно много, отрицательные последствия двухязычия даже не исследуются. Автор писал, что и для языка большого народа смешение не проходит бесследно: на территориях, где в быту используется один язык, а в делопроизводстве — другой, он освоен поверхностно. Вместо великого и могучего, прекрас-



¹ «Vikerkaat» по содержанию совпадает с «Радугой» примерно на семьдесят процентов.

ного русского языка лезет, как сорняк, его упрощенный вариант. Вывод: «Интегрирующие процессы приводят к образованию редуцированной, а не единой и обогащенной культуры». Основным стимулом для изучения языка другого народа, утверждал автор, должно быть прежде всего внутреннее побуждение, но никак не администрирование.

Написанная подчеркнуто корректно, статья настолько отличалась от трактатов о «взаимовлиянии» и в особенности «взаимообогащении», что, можно уверенно сказать, не оставила равнодушным ни одного читателя. Она восхитила одних и возмутила других. Ее перепечатавали и пересылали друг другу; в Риге, Тбилиси, Минске взялись за перья писатели и ученые, которых тревожили те же проблемы. Откликнулись и академический мир в лице сотрудников Института этнографии АН СССР — М. Хинта обвинили в некомпетентности. О «резонансе» говорит и то, что, выступая в январе 1988 года на бюро ЦК КП Эстонии с отчетом по руководству перестройкой в республиканской партийной организации, бывший первый секретарь ЦК КП Эстонии К. Г. Вайно дал статье такую характеристику: «...журнал ЦК Комсомола и Союза писателей «Викеркаар» — «Радуга»... Многие публикации этого издания можно расценить как политические спекуляции... Не случайно именно на его страницах была опубликована статья, в корне искажающая проблему двуязычия в нашей республике».

Не касаясь чисто научного аспекта выкладок М. Хинта, легко заметить, что «в корне искажающая» лингвистическая статья не вызвала бы, очевидно, столь бурной реакции. Ее сила (и уязвимость) была в том, что впервые с такой прямотой было сказано многое о положении коренного населения республики, поднят вопрос о миграциях населения. В «Радуге» опубликована статистика: за последние тридцать лет доля коренного населения в Эстонии уменьшилась с 75 до примерно 60 процентов. Волею ведомств с прямым подчинением Москве (а им принадлежит более 90 процентов предприятий на территории республики) усилился приток людей из других регионов; естественно, стал распространяться и русский язык. Видимо, это не превратилось бы в столь острую проблему, если бы приезжие проявляли больше интереса к культуре, традициям коренного населения, хотя бы пытались овладеть эстонским языком. Но многим новоселам, очевидно, даже в голову не приходило, что само отношение к земле, на которой живешь, может кого-то всерьез волновать. А волнует — ответ готов: «националистов». Страшный ярлык, в сталинские годы им щедро злоупотребляли, это проще, чем считаться с ростом национального самосознания. Вмешательство прессы оказалось полезным хотя бы потому, что поставило все с головы на ноги, приезжие начали осознавать — «горе в чужой стране безъязыкому», как сказано у В. И. Даля. Публикации «за» и «против» появились на страницах практически всех изданий; начинал двигаться и организационное «колесо» — думают над совершенствованием преподавания языка в школах, открываются кружки эстонского языка... Словом, идет поиск общего языка для решения общих проблем.

Кстати, «Радуга» принимает в этом посильное участие — начиная с августа прошлого года здесь ведется рубрика в помощь изучающим эстонский.

Шум вокруг статьи Хинта — знамение времени — не обернулся организационными мерами. По итогам года статья «Двуязычие: взгляд без розовых очков» получила премию журнала, а ее автор вошел в одну из рабочих групп, созданных по решению Верховного Совета ЭССР, — группу по разработке статуса эстонского языка. В январе этого года после серьезного обсуждения принят Закон ЭССР о языке.

Я так подробно остановилась на этой публикации, потому что тема двуязычия открыта журналом, о котором идет разговор, и, пусть не покажется это слово громким, выстрадана. Именно через призму «национального вопроса» удалось, не повторяя центральных изданий, выйти на прямой разговор с читателями и о социальных вопросах, и об экономике. Появился цикл глубоких, оснащенных статистическими данными выступлений Эдгара Сависсаара «Национальные отношения в Эстонии в 70—80-е годы». Даже перечислить все публикации, заслуживающие внимания, нет возможности, но еще одну все же назову: «Двуязычие и бюрократизм»¹ — автор белорусский публицист, кандидат искусствоведения Зенон Позняк. Его статья об извращении ленинских принципов национальной политики в сталинское время и последующие годы. Автор связал это искажение с ростом

бюрократического аппарата, захватившего власть и от имени народов подвергнувшего все и вся сильной унификации. «Существование и свободное развитие национальных культур создает демократическую обстановку в обществе и само является результатом этой обстановки, зависимо от уровня демократизации. Управлять такой страной (тем более бюрократическими методами) сложно. Она стремится к упрощению...» Отсюда и положение с языком, который «бюрократия рассматривает только с точки зрения его коммуникативной функции связи, но отнюдь не как средство культуры». Позняк тревожит положение в Белоруссии: на земле, где 80 процентов населения составляют белорусы, почти нет городских школ на родном языке.

Импульс, данный публикацией Хинта, оказался столь мощным, что поток писем-статей, писем-исследований не иссякал, и год спустя (!) редакция открыла рубрику, по меньшей мере необычную для республиканского журнала: «Интеррадуга». «Мозаика» материалов из Литвы, Чувашии, читательских откликов из разных регионов постепенно складывается в целостную картину, позволяющую определить «болевы точки» межнациональных отношений в стране.

Разумеется, освещается и происходящее в республике: читатели информируют о деятельности Народного фронта; в декабрьском номере напечатаны основные документы, принятые Форумом народов Эстонии.

Пишу и ловлю себя на том, что завтрашний читатель вполне может считать эту проблематику приевшейся, банальной, вопросы — малоактуальными. Есть основания надеяться на их решение — готовится Пленум ЦК КПСС, посвященный межнациональным отношениям. «Устарение» статей — минимальная потеря, которую мы можем понести, да и не потеря это — желанная цель, ради того эти работы пишутся, чтобы явления, их породившие, поскорее ушли в прошлое.

Одна тема, пусть ключевая, не может составить содержание целого журнала, но она — тот ствол, от которого ответвляются другие темы: национальная история, национальная культура. Все об этом — и публицистика, и проза, и поэзия, и даже юмор. В «Радуге» публиковались статьи о природе культуры личности, о сложном процессе присоединения Эстонии к СССР (практическое руководство которым, кстати, осуществлял А. А. Жданов); появилась статья о сталинских депортациях населения — в 1941 году было выслано более 10 тысяч человек, в 1949-м «врагов» оказалось почти вдвое больше. Художественная литература (о которой в коротком обзоре-представлении говорить подробно не немислимо), пожалуй, не являлась самоцелью для журнала, да и технические возможности не слишком велики, для публикации крупных произведений просто нет объемов. И рассказ Р. Салури «5. III. 53» (дата смерти Сталина), и отрывки из романа А. Вахеметса, действие которого происходит в 1916 году, «Дневник приговоренного к смерти юноши» о профессиональном эстонском революционере, и фрагменты романа Арво Валтона «Отчаяние и надежда», и рассказы Даниила Хармса, и опальное сочинение Осипа Мандельштама «Четвертая проза», написанное зимой 1929/30 года, — все эти произведения образуют линию, может быть, пунктирную, но явственную. Молодому человеку, читателю преподавателю горькую реальную историю страны, в которой он живет, — когда-то еще напишутся учебники! Да и не вместишь все в учебники...

Я уже упоминала, что с первого номера «Викеркаар» — «Радуга» ведет линию гуманитарного просветительства. Заявление главного редактора, сорокалетнего критика Рейна Вейдеманна при открытии журнала: «Мы исходим из принципа, что культуры никогда не бывает слишком много и что она подобна луне или любви: если не растет, то убывает», — определило ориентацию нового издания на интеллигенцию, точнее, поскольку журнал молодежный, того, кто хочет его стать. Рубрики «Блокнот философа», которую ведет Юло Казватс, «Школа читателя» Айна Каалса, «Краткий курс поэтики» Михаила Лотмана, «Антология современного искусства» своими публикациями, быть может, чуть перенасыщенными специальной лексикой, должны помочь состояться людям, не «занимающимся умственным трудом», но умеющим думать.

Есть в журнале и научные публикации. Самая, на мой взгляд, примечательная в прошлом году — отрывки из книги Льва Николаевича Гумилева «Этногенез и биосфера Земли». Появление этой работы, проблематика которой — теория развития этносов, этнические контакты, — вызвало споры в научном мире. Около десяти лет она существовала

¹ «Радуга» № 4, 1988 г.

официальным тиражом в один экземпляр, с нее разрешалось снимать копии, которых сделано около двадцати тысяч. В 1989 году книгу планируется выпустить в издательстве ЛГУ, «Радуга» сделала доброе дело, познакомив с концепцией Гумилева широкие слои читателей.

Издание для молодежи (о том, что журнал не только писательский, но и ЦК ЛКСМ Эстонии, ежемесячное напоминание на обложке). И тем поразительнее почти полное отсутствие на его страницах традиционно «молодежной» проблематики. Ни дебатов о рок-музыке, ни споров о том, во что одеваться и как стричься, ни строчки признаний на тему «А если это любовь?». Вряд ли здесь сказались пренебрежение редакцией этими проблемами. Наверное, и такие статьи нужны, но — при весьма ограниченном объеме и определенности избранной цели — от чего-то приходится отказываться. «Радуга» выбирает отношение к молодежи как к части общества, гражданам. «Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздим их умом, и жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели...» Так могло бы сказать о себе поколение, вступившее в жизнь в 70-х, успешнее соотнося высокие слова и «альтернативную» социальную практику. Легко ли быть?.. Боюсь, мы не всегда отдаем себе отчет, сколько циников сформировано этим временем, сколько искушенных знатоков правил игры, сколько людей «XXI века» (ведь так!), способных в лучшем случае самоустраниться, не высовываться, не рисковать. Не случайно я упомянула возраст главного редактора «Радуги» — он, как и большинство сотрудников журнала, из поколения, входившего в сознательный возраст в шестидесятых, успешного воспринять опыт независимости мысли; этому они учат младших.

Опору ищут и в истории развития национальной культуры. Пласт профессиональной эстонской литературы невелик, одна из группировок, определивших дальнейшее самобытное ее развитие, — «Noog Eesti», «Молодая Эстония» (1905—1915), позже — «Сиуру» (мифологическая птица из эпоса «Калевипоэг»). «Антология эстонской поэзии» ведется Тоомасом Лийвом, из номера в номер он рассказывает русскоязычному читателю о судьбах и творчестве Фридеберта Тугласа, Марие Ундер, Хенрика Виснапуу, Йоханнеса Семпера — поэтов, которые страстно любили свою землю, «страну ветра», как назвал ее Густав Суйтс, основатель «Молодой Эстонии».

**Я слышал зовы ветреной погоды,
бессилья жуть изведаль молодым;
в грязи лежали борозды свободы.**

(Перевод А. Левина)

...Моя попытка представить широкому читателю журнал «Радуга» (который, кстати, с 1988 года можно выписать в любой точке страны) грешит, по меньшей мере, двумя упущениями: неполнотой и комплиментарностью. Первое знакомство, увы, не дает возможности всерьез поговорить о литературной части журнала.

Что касается второго, на страницах «Радуги» можно найти материалы, написанные — или переведенные — безликим, невыразительным слогом; есть публикации вторичные, попадают декларативные или, наоборот, манерные — от желания соригинальничать. Но со всеми их недостатками они искренни, и спорные суждения выносятся на общий суд ради приближения к правде.

В майском номере 1988 года опубликовано юмористическое сочинение Т. Калля — к выходу в свет небывалого журнала, органа цензуры. Это пародия на интервью по случаю открытия нового издания, главный редактор которого Василий Каупмеес (в переводе с эстонского смысл фамилии — человек-товар, продажный) говорит: «Мы намеренно выбрали своими первыми друзьями по переписке лишь писателей, журналистов и комментаторов-международников — то есть людей, которые уже в процессе работы вынуждены время от времени окидывать ее цензорским оком, а то и постоянно творящих как бы под присмотром двух пар глаз, — их мы и попросили коротко описать, как внутренний цензор помогает им дисциплинировать мысль. Ответы в основном искренние, примеры — внушающие доверие: изначальная мысль отличается от окончательно сформулированной как день и ночь».

Вот уж поистине какими вы не будете, ведь — цитирую Хемингуэя по тому же номеру «Радуги» — «как никогда не умрет земля, так никогда не вернется в рабство тот, кто был свободен».

Мнение читателя

ОБ «ОФИЦЕРИКЕ ДА ГОЛУБЧИКЕ»

Прошу позволить мне выразить на страницах Вашего журнала свои возражения по поводу несправедливых обвинений в адрес Сергея Есенина, прозвучавших в полемических заметках В. Воздвиженского «Бедствие среднего вкуса» («Юность» № 11, 1988 г.).

Используя весьма некорректную игру слов, автор заметок пытается убедить читателей в «небезупречности морального права» С. Есенина на его поэтическую формулу «...Не расстреливал несчастных по темницам».

В своем комментарии к этой строке В. Воздвиженский высказывает предположение о том, что в более раннем восьмистишии С. Есенина отразился «восторг расправы», который якобы поэт переживал, наблюдая расстрелы в период знакомства с чекистом Блюмкиным в 1918 году.

Не хочу повторять толкования В. Воздвиженским воспоминаний В. Ходасевича, на котором он основывает свое предположение. Оно не может не вызвать возмущения своей предвзятостью и психологической поверхностью.

Обращусь к анализу стихов С. Есенина, в стилистике которых В. Воздвиженский видит подтверждение своей выдумки.

**«Офицерики
Да голубчики
Прикопишили
Вчера в Губчека.**

**Гаркнул «яблочко»
Молодой матрос.
«Мы не так еще
Подотрем вам нос».**

«Офицерики да голубчики» С. Есенин явно жалеет, создавая образ страдающего человека, скорее всего молодого, характеризует его уменьшительно-ласкательными формами слов; здесь нет образа опасного и сильного врага, уничтожение которого было бы оправдано необходимостью.

«Прикопишили» — авторская оценка совершенной акции Губчека: слово, взятое из вульгарного жаргона, сочетает оттенки заурядности и произвола.

Картина разнузданного торжества молодого матроса вызывает содрогание.

Это и было задачей автора.

Как мог В. Воздвиженский отождествить позицию поэта и «молодого матроса», уму непостижимо!

Смысл этих стихов С. Есенина сопоставим с идеей рассказа Исаака Бабеля (1923 год, опубликован в журнале «Огонек» № 3, 1989 год), которая выражена в последних его словах: «...Я ужаснулся множеству панихид, предстоящих мне». Есенинские стихи — вероятно, одна из первых таких панихид.

**Н. В. МОЛЧАНОВА,
г. Москва**

Многие читатели откликнулись на статью В. Воздвиженского. Высказываются самые разные мнения — одни категорически возражают автору, другие разделяют его позицию, согласны с его доводами. Мы публикуем одно из поступивших писем.

Вячеслав ПОЛЕЙКО
Валерий ЧУДОДЕЕВ

ЗАВОД ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Мы тут как-то с мужиками в обед «козла» в красном уголке забивали. И кто-то телевизор включил. А там японский завод показывают. Ну, я вам скажу! У них там так все налажено, так все отрегулировано, что аж зло берет! Витька с расстройством даже сам себе дупель шестерочный отрубил. Как хрястнет им по столу: «Ну почему у них там все как у людей, а у нас как у человеческих факторов?»

Мы говорим: «Так они ж там как работают!»

А он: «Да ладно вам! Мы, что ли, так работать не можем? Да где ты еще таких рабочих найдешь, как у нас? Чтоб работали не за деньги, а за одну зарплату! Не-е-е... Тут не в рабочих дело, а в руководстве. У них японцы руководят, поэтому у них и продукция японская. А у нас кто руководит? Сами знаете, кто. Поэтому и пор-та-чим. Вот если бы у нас директором завода японец был, а не наш бугор, японский бог, Фомич! То и у нас был бы не завод, а вообще просто мицубись!»

Сергея возьми да и ляпни: «А чего нам мешает-то? Найдем японца, выберем его директором и заживем так, что за нами ни одна сузука японская не угонится!»

И что вы думаете?.. Скинулись мы и послали двоих ребят, покрепче, в Москву. Там как раз была выставка достижений японского хозяйства. И привозят они нам оттуда японца. Не знаю, как они его уговорили, но только на собрание к нам он пришел совершенно косо! Но по-русски чешет так, как будто у них там давно уже Японская Советская Социалистическая Республика.

— Я, — говорит, — с детства мечтал жить и работать в России. Потому что я другой такой страны не знаю, где так много лесов, полей и рек. И только мы, — говорит, — японцы, мозгом сделать васи ископаемые полезными.

Короче, выбрали мы его директором. На следующее утро, до работы, собирает он нас всех перед заводской Доской почета, поворачивается к ней, складывает ручки и начинает кланяться.

«Вот, — говорит, — теперь каздый рабочий день мы будем начинать здесь, у этой брацкой могилы героев труда».

Мы говорим: «Ты чего, Никамура-сан? Они ж все живые!»

У него глаза аж квадратными стали: «Нада зе?! Никогда бы не подумал, что у живых людей могут быть такие лица. Но все равно, — гово-

рит, — здесь мы казкое утро будем петь наса Гимна. Запевай, позалуй-ста!»

Ну, мы и грянули, кто во что горазд! Кто — «Союз нерушимый...», кто — «Вставай, проклятем заклейменный...».

Японец кричит: «Нет, нет! Наса Гимна, заводская!»

Выяснилось, что он еще с вечера дал задание редактору нашей многотиражки сочинить песню про то, как мы свой завод любим. Ну, тот и запел:

**Завод нерушимый, дошедший до ручки,
Глядеть на тебя нам великая грусть.
Да здравствует гласность, аванс
и полудчка!**

А план с госприемкой провалится пусть!

Директор руками замахал: «Хватит, хватит! Лучше я другие слова заказу. Сергею Михалкову».

И пошли мы по цехам. А нам уже навстречу толпа несется. Бухгалтеры, плановики, а впереди заместитель директора по кадрам пузом наглядную агитацию сшибает. И все бумажками какими-то размахивают. Тормознули мы их. В чем дело? Оказывается, пришли они на рабочие места, а там конверты японские лежат. Они думают: вот это да! Еще работать не начали, а уже аванс! Раскрыли конверты, а там — «Уважаемый товарищ-сан. Благодарим вас за труд. Наша фирма в ваших услугах больше не нуждается».

Они — в профком. А никакого профкома уже нет. Вместо него уже японский сад камней. Для успокоения нервной системы!

Но это еще что! На следующий день японец начал цеха благоустраивать. Чего наш завод не видел со времен фабриканта Демидова. В литейке автоматов с газировкой поставил. Японских. Тут тебе — «Фанта», тут — «Пепси-кола», а тут — вообще не поймешь что, но тоже не оторвешься, хоть и без градусов. И все это бесплатно!

Ну, мужики, конечно, тут же подсуетились и уже на следующий день трубу за территорию вывели. Организовали кооператив прохладительных напитков «Халхин-Гол». Дня через три директор спохватился. Что такое? Одна бригада за три дня осушила четыре цистерны! Пошел посмотреть. Ну и хана бы нам! Но тут, на наше счастье, у Витьки рука дрогнула. После вчерашнего. Он ковшик чугуна на пол и опрокинул. Хорошо еще, что не большой, а маленький — всего на 4 тонны. Директор дверь открывает, а у нас тут, как после извержения Фудзиямы! Все кипит

и булькает, а мы на автоматы японские позалезали и из шлангов все это «Фантой» и «Пепси» заливаем.

— Спасибо, — говорим, — Никамура-сан! Если бы не ваша газировка, была бы у нас тут вторая Хиросима!

Японец совершенно обалдел: «Это что такое?»

Мы говорим, что обычное дело. Это у нас технология такая. «Непрерывная разливка» называется. Благодаря ей мы и занимаем первое место в мире по количеству чугуна на душу населения.

Не знаю, что он понял, что нет. Но технологию, говорит, будем менять. «И вообще, будем менять, — говорит, — все васе старое оборудование на насе новое».

Ну, меняй, меняй — думаем.

Сунулся он в министерство, а ему говорят:

— А зачем вам именно японское? Что, у нас в СЭВе своего импортного оборудования мало? Выбирай любое — чешские ластики, вьетнамские циновки и даже румынские калькуляторы на монгольских батарейках! Правда, вот батареек пока нет, потому что наши киргизы нашим монголам кумыс недопоставили, но этот вопрос вот-вот будет решен, как только наши киргизы получат из Эфиопии их конскую сыворотку, которую мы у них закупаем в обмен на нашего калмыцкого соболя, который в этом году весь ушел в тайгу, но мы ее всю вот-вот вырубим!..

Послушал, послушал наш японец, плюнул и закупил все в Японии на свои кровные. Хотя мы его и предупреджали, что, Никамур Саньч, не дури! Все равно всю твою японскую электронику через два дня сопрут! Он говорит: «Да кто же сопрет-то? Мы же все свои!» Вот мы, говорим, и сопрем!

Он никак понять не может.

— Это как же так, — кричит, — это же все для вас, для васега благополучия!

— Это-то мы как раз понимаем, что для благополучия. Для него и сопрем. Мы же иначе не можем. Это у нас в крови! Чтоб наш человек не воровал, надо ему сначала сделать полное переливание крови. Нашей на японскую.

Но японец упрямый попался. Все дырки в заборах замуравал, на проходной милицию поставил и все завез.

Ну?.. На следующий день всю его электронику как ветром сдуло! Потому что нам все едино — что милиция, что японский городской. Да хоть самураев ставь! Никому же из них даже в голову не придет считать: сколько женщин пришло утром на работу нормальными и сколько их вечером вышло с завода беременными!

Но японец все не унимается. «Я, — говорит, — и на старом оборудовании науцу вас выпускать качественную продукцию. Но при одном условии: от смежников бракованные заготовки не принимать!»

А мы ему: «Ну, это уж ты, Никамурыч, брось! Не в Японии. Это, может, у вас там все нужно проверять, а у нас и проверять нечего.

Все заготовки одна в одну — сплошной брак. Тут как-то пришла одна нормальная, так ее сразу — раз, и на ВДНХ!»

«Очень хорошо, — говорит, — тогда я вообще завод остановлю». И что вы думаете?.. Остановил. Гад.

Ну, неделю мы кайфовали. Вторую балдели. А на третью нервничать начали. Что же мы в зарплату получим? Октябрьские на носу, а отмечать их не на что. Мужики подстраховались и накатали на него «телегу» в райком. Только отвезли, возвращаются, а тут деньги дают. Мы прямо обалдели! За что зарплата-то? А оказывается, это не зарплата, а премия за экономию сырья и материалов. Вдвое больше, чем зарплата. Да к ней еще по полсотни за экономию электроэнергии. Да еще по тридцатнику от Советского фонда охраны окружающей среды от отходов нашего предприятия. И сверх всего — еще Красное знамя горкома профсоюзов за отсутствие производственного травматизма.

Мужики кричат: «Качать Никамуру!» Хватились, а его уже в райком вызвали. Мы — туда. Поздно! Никамуричка нашего уже на бюро райкома валтузят по партийной линии, хоть он и беспартийный.

«Ты почему, — кричат, — завод остановил, Никамурин сын?!»

А он им вежливо так: «А это, между прочим, не ваше дело. Меня народа выбирала, я перед ней и отвечаю!»

А они ему: «Ты народом не прикрывайся! Не в Японии. У нас народ и партия едины. Как скажем, так и сделают. Понял?»

Но японец наш стоит насмерть, как камикадзе.

«Делайте со мной, что хотите, я все равно бракованную продукцию выпускать не буду!»

А они ему: «У нас сейчас есть дела поважнее, чем твою продукцию. Для оформления праздничной колонны демонстрантов твой завод должен изготовить действующую модель крейсера «Аврора» в натуральную величину».

Но японец, видать, уже совсем не соображает, где находится.

«Пока, — говорит, — я директор, моя завода металлической посуды никаких военно-морских сил выпускать не будет!»

Райкомовских тут аж затрясло.

«Ах так, — говорят, — тогда тебя самого понесут на демонстрацию вперед ногами! И учти, такими вещами у нас не шутят!»

Ну, тут в нашем японце самурайская кровь и зыграла. Схватил он со стола у Первого чернильницу в виде статуи Родины-Матери на Мамаевом кургане с мечом в руке, размахнулся и как заорет по-японски: «Банза-а-ай!»

И прямо на глазах у всего бюро сделал себе хакари.

Вот так вот. Глупо, конечно. Но что поделаешь, если у них, японцев, так принято на критику реагировать. Поэтому у них, наверное, и райкомов нету.

В общем, на следующий день собрали мы трудовой коллектив и решили: Никамуричка нашего хоронить прямо на 7 ноября. Да так, чтоб до 1 Мая запомнили! Сварганили мы за ночь «Аврору» из экономленных материалов, установили гроб на лафете кормового орудия и двинули крейсер на демонстрацию. С песней «Последний парад наступают!..». Поравнялись с трибуной и из штильдомки Авроровой — шарр-рах! Холостыми, конечно. Отсалютовали.

Но начальство наше районное все равно так перетрухало, что сигануло с трибуны в общую колонну и смешалось с народом.

Они нам потом за нашу самодеятельность хотели вмазать, но мы им сказали, что ведь вы же сами это ему предсказывали — вперед ногами на демонстрации. А слово партии для нас — закон. Они и умылись.

А всю премию мы на поминках грохнули. И там же решили, что следующий директор у нас все равно будет японец! Их там, правда, меньше, чем нас, но нам на перестройку должно хватить.

Александр ДУДОЛАДОВ ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

В Президиум
Верховного Совета.

Копия в редакции всех газет.
Копия в «Зеленый портфель».

Товарищи!

В сегодняшней газете опять напечатано важное решение, которое принято без всякого обсуждения с народом! Я имею в виду таблицу денежно-вещевой лотереи пятого созыва.

Кто ее предварительно обсуждал? Кто спросил совета у народа? Опять, значит, все по-старому?

В связи с этим требую признать публикацию опечаткой и вынести ее на всенародное обсуждение.

От себя лично хочу внести следующие предложения по изменению ее текста:

1. В строке 26, столбце 2 после слов «108642 серия 010» читать не «10 рублей», а «150 рублей».

2. В строке 12, столбце 3 после тире читать не «серия 001 — гитара» (на хрена сдалась мне эта музыка!), а «серия 002 — холодильник».

Глубоко уверен, что подобные изменения послужат делу дальнейшего укрепления демократии и материального благосостояния наших людей.

В целях гласности прошу опубликовать мое письмо во всех газетах и показать по телевидению. В противном случае буду считать противное.

С уважением Матвей Плюхин, активист и инвалид денежно-вещевых лотерей.

В НОМЕРЕ:

Проза

Юрий ПОЛЯКОВ. «Апофегей». Повесть (11)

Филип К. ДИК. Помутнение. Роман. Продолжение (37)

Алла ГЕРБЕР. Мама и папа. Повесть (51)

Александра ЛАНИНА. Встреча. Рассказ (83)

Поэзия

Евгений БЛАЖЕЕВСКИЙ (9), Сергей БЕЛОРУСЕЦ (36), Натан ЗЛОТНИКОВ (62), Генрих КАЦ (85)

Поэты мира

Говард НЕМЕРОВ. «Когда ходишь пешком...» (66)

Наследие

Облако в прозе. Юношеские стихи Юрия Олеши (86)

Публицистика

Рой МЕДВЕДЕВ. «Они окружали Сталина». Глава вторая: Судьба сталинского наркома Лазаря Кагановича (68)

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Кто приходил ночью в худом овчинном тулупе... (76)

Культура и искусство

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Я = R (о выставке Раушенберга в Москве) (64)

Критика

Андрей СИНЯВСКИЙ. Диссидентство как личный опыт (88)

Елена СЕСЛАВИНА. Без розовых очков (92)

Почта «Юности»

«ГЛСНСТ?» (82)

Об «офицерке да голубчике». Мнение читателя (94)

Наука и техника

Иван КУНИЦЫН, Алексей НИКОЛАЕВ. Во славу чего Вавилонская башня? (2)

Зеленый портфель

Вячеслав ПОЛЕЙКО, Валерий ЧУДОДЕЕВ. Завод восходящего солнца (95)
Александр ДУДОЛАДОВ. Всем! Всем! Всем! (96)

Оформление обложки А. Сальникова
Главный художник О. Кожин
Художник Ю. Цишевский
Технический редактор О. Трепенюк

Сдано в набор 15.02.89. Подп. к печ. 30.03.89. А-04747.
Формат 84×60%. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.
Тираж 3 100 000 экз. Заказ № 234.
Цена 70 коп.

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва,
К-6, ул. Горького, д. 32/1.
Телефон для справок — 251-31-22.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда»,
«Юность», 1989 г.

АКВАРЕЛИ МИХАИЛА РОЙТЕРА

«Немного странно было узнать, что художник, имя которого часто связывают с журналом «Юность», принадлежит к числу ветеранов», — писала одна из газет по поводу проходившей в этом году выставки произведений Михаила Ройтера. Да, М. Ройтер — ветеран МОСХа, но его можно считать и ветераном «Юности», так как репродукции его работ нередко публиковались на вкладках журнала, да и сам он всегда стоял рядом с молодыми. С теми молодыми, кто связал свой творческий путь с журналом. Многие из них, ставшие ныне маститыми, нередко вспоминают добрым словом его участие в организации традиционных молодежных выставок «Юности», его бескомпромиссные критические выступления на обсуждениях.

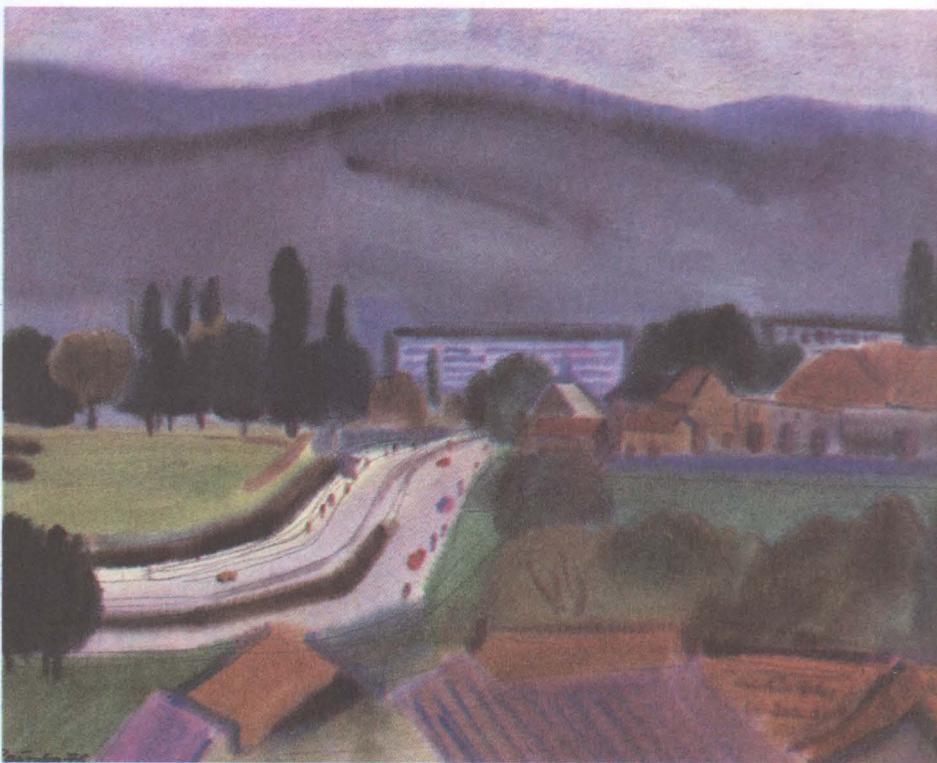
Мне приходилось неоднократно бывать в мастерской Михаила Ройтера, наблюдать его за работой, и каждый раз я поражался его аскетической строгости и взыскательности по отношению к самому себе, его постоянному стремлению быть всегда современным художником. В этом проявляется его бойцовский характер, сходный с характером спортсмена, стремящегося преодолеть наивысшую планку. Недаром у него так много работ, посвященных спортивной теме.

Ройтера можно назвать реалистом, но реалистом, не слепо копирующим природу, а ищущим в натуре типичное и главное для заданного сюжета, упорно добивающегося простоты, конструктивности, свежести. Эти качества художника раскрыла и его последняя персональная выставка. Тематика работ, представленных на ней, была весьма обширна: осенний Ленинград — места, где жил Ф. М. Достоевский, пейзажи Старой Ладogi, Переславля-Залесского, зимние крыши Москвы, этюды, привезенные из зарубежных поездок, сюжеты на спортивные и военные темы...

Юрий ЦИШЕВСКИЙ



Последний снег. Москва.



г. Баня-Лука. Югославия.

Юность. 1989 № 5, 1 — 96.
Индекс 71120
70 коп.

